НОВЕЙШАЯ ХРЕСТОМАТИЯ

по литературе

7 класс

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

В средней школе продолжается изучение русской и зарубежной литературы, при этом круг чтения учащихся значительно расширяется. Обновляются и школьные программы – в них включаются многие произведения, которые еще 10–15 лет назад не изучались в школе.

Новейшая хрестоматия составлена в полном соответствии с современными требованиями стандарта образования и может быть использована со всеми основными учебниками, рекомендованными Министерством образования и науки РФ. В нее вошли памятники древнерусской литературы, произведения русских классиков XIX и XX веков и современных отечественных авторов, шедевры мировой литературы – все тексты, необходимые семиклассникам для подготовки к урокам литературы дома.

2-е издание, исправленное и переработанное.

- Новейшая хрестоматия по литературе. 7 класс
  -
  - Древнерусская литература
    - Добрыня и Змей
    - Повесть о Петре и Февронии
    - Слово о полку Игореве[1]
      - Поход
      - Первая битва
      - Кровавая сеча
      - Горе Русской земли
      - Золотое слово Святослава
      - Усобицы
      - Плач Ярославны
      - Побег
      - Слава
  - Литература XVIII и XIX вв.
    - Гавриил Романович Державин
    - Михайло Васильевич Ломоносов
      - Надпись к статуе Петра Великого
      - Ода на день восшествия на всероссийский престол ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года
    - Яков Петрович Полонский
      - Дорога
      - Зимний путь

- Александр Сергеевич Пушкин
  -
  - К портрету Жуковского
  - Медный всадник
  - Моя эпитафия
  - Полтава
  - Элегия
  - Повести покойного Ивана Петровича Белкина
    - От издателя
    - Выстрел
    - Метель
    - Станционный смотритель
    - Барышня-крестьянка
- Михаил Юрьевич Лермонтов
  - Мцыри[53]
  - Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова
  - Романс
  - Смерть Поэта
  - Элегия
- Николай Семенович Лесков
  - Тупейный художник
    - Глава первая
    - Глава вторая
    - Глава третья
    - Глава четвертая
    - Глава пятая
    - Глава шестая
    - Глава седьмая
    - Глава восьмая
    - Глава девятая
    - Глава десятая
    - Глава одиннадцатая
    - Глава двенадцатая
    - Глава тринадцатая
    - Глава четырнадцатая
    - Глава пятнадцатая
    - Глава шестнадцатая
    - Глава семнадцатая
    - Глава восемнадцатая
    - Глава девятнадцатая
- Николай Алексеевич Некрасов

- Зеленый шум[56]
- Калистрат
- Орина, мать солдатская
- Перед дождем
- Саша
- С работы
- Тройка

- Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин
  - Дикий помещик
- Иван Сергеевич Тургенев
  - Бирюк
  - Певцы
  - Стихотворения в прозе
    - Воробей
    - Восточная легенда
    - Голуби
    - Деревня
    - Дрозд
    - Морское плавание
    - Посещение
    - Роза
    - Русский язык
- Федор Иванович Тютчев
  - Весенняя гроза
  - «Умом Россию не понять…»
- Афанасий Афанасьевич Фет
  - Вечер
  - Мотылек мальчику
  - Осенняя роза
  - Сосны
  - «Это утро, радость эта…»

○ Русская литература XX века

- Константин Дмитриевич Бальмонт
  -
  - Грусть
- Валерий Яковлевич Брюсов
  - Труд
  - Хвала человеку
- Александр Александрович Блок
  - «Я никогда не понимал…»
- Иван Алексеевич Бунин
  - Изгнание
  - Лапти
  - Листопад

- «Ночь и даль седая…»
- Огонь
- Родина
- Слово
- «У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…»
- Цифры
- «Шумели листья, облетая…»

- Сергей Александрович Есенин
  - «Ах, как много на свете кошек…»
  - «Все живое особой метой…»
  - В хате
  - Мой путь
  - «Нивы сжаты, рощи голы…»
  - «Отговорила роща золотая…»
  - Песнь о собаке
  - Письмо матери
- Александр Иванович Куприн
  - Изумруд
- Владимир Владимирович Маяковский
  - Гимн обеду
  - О дряни
  - «Послушайте!..»
- Игорь Северянин
  - В парке плакала девочка
  - Выйди в сад
  - Запевка
  - Классические розы
  - «Не завидуй другу, если друг богаче…»
  - Ты не шла…
  - Фиалка
- Леонид Николаевич Андреев
  - Баргамот и Гараська
  - Кусака
- Максим Горький
  - Песня о соколе
  - Старуха Изергиль
- Михаил Михайлович Зощенко
  - Баня
  - Беда
  - Жертва революции
- Константин Георгиевич Паустовский
  - Драгоценная пыль
  - Исаак Левитан
  - Рождение рассказа

- Зарубежная литература
  - Проспер Мериме
    - Маттео Фальконе
  - Эдгар Аллан По
    - Аннабель Ли
  - Уильям Шекспир
    - Сонеты

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36

- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68

Новейшая хрестоматия по литературе. 7 класс

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2015

* * *

Древнерусская литература

Добрыня и Змей

Добрынюшке-то матушка говаривала,
Да Никитичу-то матушка наказывала:
«Ты не езди-ка далече во чисто поле,
На ту на гору да Сорочинскую,
Не топчи-ка ты младыих змеенышей,
Ты не выручай-ка по́лонов да русскиих,
Не куплись, Добрыня, во Пучай-реке –
Пучай-река очень свирепая,
Середняя-то струйка как огонь сечет».
Добрыня своей матушки не слушался,
Как он едет далече во чисто поле
На ту на гору на Сорочинскую.
Потоптал он младыих змеенышей,
Повыручал он полонов да русскиих.
Богатырско его сердце распотелося,
Распотелося сердце, нажаделося.
Он приправил своего добра́ коня,
Он добра коня, да ко Пучай-реке.
Он слезал, Добрыня, со добра коня,
Да снимал Добрыня платье цветное,
Он забрел за струечку за первую,
Да забрел за струечку за среднюю,
Говорил сам да таково слово:
«Мне, Добрынюшке, матушка говаривала,
Мне, Никитичу, маменька наказывала:
Что не езди-ка далече во чисто поле,
На ту на гору на Сорочинскую,
Не топчи-ка младыих змеенышей,
Не выручай полонов да русскиих
И не куплись, Добрыня, во Пучай-реке, –
Пучай-река очень свирепая,
Середняя струйка как огонь сечет.
А Пучай-река она кротка-смирна,
Она будто лужа-то дожде́вая!»

Не успел Добрыня словца смолвити –
Ветра нет, да тучу наднесло,
Тучи нет, да будто дождь дождит,
А дождя-то нет, да только гром гремит,
Гром гремит да свищет молния.
Как летит змеище Горынище

О тыех двенадцати о хоботах.
Добрыня той Змеи не приужахнется,
Говорит Змея ему проклятая:
«Ты теперь, Добрыня, во моих руках!
Захочу – тебя, Добрыню, теперь по́топлю,
Захочу – тебя, Добрыню, теперь съем-сожру,
Захочу – тебя, Добрыню, в хобота возьму,
В хобота возьму, Добрыню во нору́ снесу».
Припадает Змея ко быстрой реке,
А Добрынюшка плавать горазд ведь был:
Он нырнет на бережок на тамошний,
Он нырнет на бережок на здешний.
Нет у Добрынюшки добра коня,
Да нет у Добрыни платьев цветныих, –
Только лежит один пухов колпак,
Пухов колпак да земли Греческой,
По весу тот колпак да целых три пуда.
Как ухватил он колпак земли Греческой,
Да шибнет во Змею во проклятую,
Он отшиб Змее двенадцать хоботов.
Тут упала Змея да во ковыль-траву.
Добрынюшка на ножку поверток был,
Скочит он на змеиные да груди белые.

На кресте у Добрыни был булатный нож,
Хочет он распластать ей груди белые,
А Змея ему, Добрыне, взмолится:
«Ой ты Добрыня сын Никитинич!
Мы положим с тобой заповедь великую:
Тебе не ездити далече во чисто поле,
На ту на гору на Сорочинскую,
Не топтать больше младыих змеенышей,
Не выручать полонов да русскиих,
Не купаться тебе, Добрыня, во Пучай-реке
И мне не летать да на Святую Русь,
Не носить людей мне больше русскиих,
Не копить мне полонов да русскиих».

Он повыпустил Змею как с-под колен своих,
Поднялась Змея да вверх под облаку.
Случилось ей лететь да мимо Киев-града,
Увидала он Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Путятичну,
Идучи́сь по улице по ши́рокой.

Тут припала Змея да ко сырой земле,
Захватила она Князеву племянницу,
Унесла во нору во глубокую.
Тогда солнышко Владимир стольнокиевский
По три дня да тут билич кликал,
А билич кликал да славных рыцарей,
Кто бы мог съездить далече во чисто поле
На ту на гору на Сорочинскую,
Сходить во нору да во глубокую
Достать его, Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Путятичну.
Говорил Алешенька Левонтьевич:
«Ах ты солнышко Владимир стольнокиевский!
Ты накинь-ка эту службу да великую
На того Добрыню на Никитича:
У него ведь со Змеею заповедь положена,
Что ей не летать на Святую Русь,
А ему не ездить далече во чисто поле,
Не топтать-то мла́дыих змеенышей
Да не выручать полонов русскиих, –
Так возьмет он Князеву племянницу
Молоду Забаву дочь Путятичну
Без бою, без драки-кроволития».
Тут солнышко Владимир стольнокиевский
Как накинул ату службу да великую
На того Добрыню Никитича –
Ему съездить далече во чисто́ поле
И достать ему Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Путятичну.
Он пошел домой, Добрыня, закручинился,
Закручинился Добрыня, запечалился.
Встречает его да родна матушка,
Честна вдова Ефимья Александровна:
«Ой ты рожоно мое дитятко,
Молодой Добрыня сын Никитинич!
Ты что с пиру невесел идешь?
Знать, место было тебе не по́ чину,
Знать, чарой на пиру тебя прио́бнесли,
Аль дурак над тобой насмеялся-де?»
Говорил Добрыня сын Никитинич:
«Ой ты государыня родна матушка,
Ты честна вдова Ефимья Александровна!
Место было мне да по чину,
Чарой на пиру меня не о́бнесли,

Дурак-то надо мной не насмеялся ведь:
А накинул службу да великую
Солнышко Владимир стольнокиевский,
Что съездить далече во чисто поле,
На ту на гору да на высокую,
Мне сходить во нору во глубокую,
Мне достать-то Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Путятичну».
Говорит Добрыне родна матушка,
Честна вдова Ефимья Александровна:
«Ложись-ка спать да рано с вечера […],
Мудренее утро будет вечера».
Он вставал по утречку ранешенько,
Умывался да он белешенько,
Снаряжался он хорошохонько,
Да идет на конюшню на стоялую.
А берет в руки узду он да тесмяную,
А берет он дедушкова да ведь добра коня,
Он поил Бурка питьем медвяным,
Он кормил пшеной да белояровой,
Седлал Бурка в седлышко черкасское,
Он потнички да клал на потнички,
Он на потнички да клал войлочки,
Клал на войлочки черкасское седлышко,
Всё подтягивал двенадцать тугих подпругов.
Он тринадцатый клал да ради крепости,
Чтобы добрый конь с-под седла не выскочил,
Добра молодца в чистом поле не вырутил.
Подпруги были шелко́вые,
А шпеньки у подпруг все булатные,
Пряжки у седла да красна золота.
Тот шелк не рвется, булат не трется,
Красно золото не ржавеет,
Молодец на коне сидит, да сам не стареет.
Поезжал Добрыня сын Никитинич.
На прощанье ему матушка плетку по́дала,
Сама говорила таково слово:
«Как будешь дале́че во чисто́м поле,
На той на горе да на высокия,
Потопчешь младыих змеенышей,
Повыручишь полонов да русскиих,
Как тыи-то младые змееныши
Подточат у Бурка они щеточки,
Что не может больше Бурушко доскакивать,

А змеенышей от ног да он отряхивать, –
Ты возьми-ка эту плеточку шелковую,
А ты бей Бурка да промежу́ ноги,
Промежу ноги, да промежу уши,
Промежу ноги да межу задние.

Станет твой Бурушко поскакивать,
Змеенышей от ног да он отряхивать,
Ты притопчешь всех до единого».
Как будет – он далече во чистом поле,
На той на горе да на высокой,
Потоптал он младыих змеенышей.
Как те ли младые змееныши
Подточили у Бурка они щеточки,
Что не может больше Бурушко поскакивать,
Змеенышей от ног да он – отряхивать.
Тут молодой Добрыня сын Никитинич
Берет он плеточку шелковую,
Он бьет Бурка да промежу уши,
Промежу уши, да промежу ноги,
Промежу ноги, да между задние.
Тут стал его Бурушко поскакивать,
А змеенышей от ног да он отряхивать,
Притоптал он всех до единого.
Выходила Змея она проклятая
Из той из норы из глубокой,
Сама говорила таково слово:
«Ах ты эй, Добрынюшка Никитинич!
Ты, знать, порушил свою заповедь.
Зачем стоптал младыих змеенышей,
Почто выручал полоны да русские?»
Говорил Добрыня сын Никитинич:
«Ах ты эй, Змея да ты проклятая!
Черт ли тя нес – да через Киев-град!
Ты зачем взяла Князеву племянницу,
Молоду Забаву дочь Путятичну?
Ты отдай же мне Князеву племянницу:
Без бою, без драки-кроволития!»
Тогда Змея она проклятая
Говорила-то Добрыне да Никитичу:
«Не отдам я тебе князевой племянницы
Без бою, без драки-кроволития!»
Заводила она бой-драку великую.
Они дрались трои суточки,

Но не мог Добрыня Змею перебить.
Хочет тут Добрыня от Змеи отстать,
Как с небес Добрыне глас гласит:
«Молодой Добрыня сын Никитинич!
Дрался со Змеей ты трои суточки,
Подерись со Змеею еще три часа:
Ты побьешь Змею да ту проклятую!»
Он подрался со Змеею еще три часа,
Он побил Змею да ту проклятую.
Та Змея она кровью пошла.
Стоял у Змеи он трои суточки,
Не мог Добрыня крови переждать.
Хотел Добрыня от крови́ отстать,
С небес Добрыне опять глас гласит:
«Ах ты эй, Добрыня сын Никитинич!
Стоял у крови ты трои суточки,
Постой у крови да еще три часа.
Бери свое копье да бурзамецкое
И бей копьем да во сыру землю,
Сам копью да проговаривай:
Расступись-ка, матушка сыра земля,
На четыре расступись да ты на четверти!
Ты пожри-ка эту кровь да всю змеиную!»
Расступилась тогда матушка сыра земля,
Пожрала она кровь да всю змеиную.
Тогда Добрыня во нору пошел,
Во те во норы да во глубокие.
Там сидят сорок царей, сорок царевичей,
Сорок королей да королевичей,
А простой-то силы той и смету нет.
Тогда Добрынюшка Никитинич
Говорил-то он царям да он царевичам
И тем королям да королевичам:
«Вы идите нынь туда, откель принéсены.
А ты, молода Забава дочь Путятична,
Для тебя я эдак теперь странствовал,
Ты поедем-ка ко граду ко Киеву,
Ай ко ласковому князю ко Владимиру».

Повесть о Петре и Февронии

Есть в Русской земле город, называемый Муром. Рассказали мне, что правил им когда-то добрый князь по имени Павел. Ненавидя всякое добро в роде человеческом, дьявол наслал в терем княгини Павловой летучего змея – обольщать ее на блуд. Когда находило на нее это наваждение, она видела его таким, каков он есть, а всем, кто входил в это время к княгине, представлялось, что это князь сидит со своею женою. Прошло немало времени, и жена князя Павла не утаила, рассказала мужу все, что было с нею, потому что змей тот уже насиловал ее.

Князь задумался, что сделать со змеем, и не мог придумать. Потом сказал жене:

– Сколько ни думаю, не могу придумать, как мне справиться с этим нечистым духом. Я той смерти не знаю, какую ему можно учинить. Вот как мы сделаем. Когда будет он с тобою говорить, спроси-ка ты хитро и лукаво его самого об этом, не знает ли этот оборотень-змей, от чего ему смерть суждена. Если ты это узнаешь и нам поведаешь, то не только избавишься от его гнусного дыхания и осквернения, о котором мерзко и говорить, но и в будущей жизни умилостивишь к себе неподкупного судию – Христа!

Княгиня обрадовалась словам своего мужа и подумала: «Хорошо, когда б это сбылось».

Вот прилетел к ней оборотень-змей, она заговорила с ним о том, о другом льстиво и лукаво, храня в памяти своей добрый умысел, и, когда он расхвастался, спросила смиренно и почтительно, восхваляя его:

– Ты ведь все знаешь, наверное, и то знаешь, какова и от чего суждена тебе кончина?

И тут великий обманщик сам был обманут лестью красивой женщины, – и сам не заметил, как выдал свою тайну:

– Смерть мне суждена от Петрова плеча, от Агрикова меча!

Княгиня, услышав эту загадку, твердо запомнила ее, когда змей улетел, пересказала мужу, как он ей ответил. Князь выслушал и задумался, что это значит: «Смерть от Петрова плеча, от Агрикова меча?»

Был у него родной брат, князь, по имени Петр. Призвал он его в ближайшие дни и рассказал о змее и его загадке. Князь Петр, услышав, что змей назвал его именем того, кто с ним покончит, мужественно решился одолеть его. Но смущала его мысль, что ничего не знает об Агрикове мече.

Он любил молиться в малолюдных церквах. Пришел он как-

то один в загородную церковь Воздвижения, что в женском монастыре. Тут подошел к нему подросток, служка церковный, и сказал:

– Князь! Хочешь, покажу тебе Агриков меч?

Тотчас вспомнил князь о своем решении и поспешил за служкой:

– Где он, дай взгляну!

Служка повел его в алтарь и показал щель в алтарной стене между кирпичами: в глубине щели лежал меч. Доблестный князь Петр достал этот меч и вернулся в княжий двор. Рассказал он брату, что теперь он уже готов, и с того дня ждал удобного времени – убить летучего змея.

Он каждый день приходил спросить о здравии брата своего и заходил потом к снохе по тому же чину.

Раз побывал он у брата и сразу от него пошел на княгинину половину. Вошел и видит: сидит с княгинею брат, князь Павел. Вышел он от нее и повстречал одного из свиты князя:

– Скажи мне, что за чудо такое: вышел я от брата к снохе моей, оставил его в своей светлице и нигде не задержался, а вхожу к княгине, он там сидит; изумился я, как же он раньше меня успел туда?

Приближенный князя отвечает:

– Не может этого быть, господин мой! Никуда не отлучался князь Павел из покоев своих, когда ты ушел от него!

Тогда князь Петр понял, что это колдовство лукавого змея. Пошел опять к старшему брату и спрашивает:

– Когда ты вернулся сюда? Я от тебя вот только что ходил в покой княгини твоей, нигде ни на минуту не задерживался и, когда вошел туда, увидел тебя рядом с нею. Я был изумлен, как ты мог оказаться там раньше меня. Оттуда сразу же пошел я сюда, а ты опять, не понимаю, как опередил меня и раньше меня здесь оказался.

Тот же говорит:

– Никуда я из горницы своей не выходил, когда ты ушел к княгине, и сам у нее не был.

Тогда князь Петр объяснил:

– Это чары лукавого змея: он передо мною принимает твой образ, чтобы я не подумал убить его, почитая тебя, своего брата. Теперь уж ты отсюда никуда не выходи, а я пойду туда биться со змеем, и если бог поможет, так и убью лукавого змея.

Взял он заветный Агриков меч и пошел в покои своей снохи, опять увидел возле нее змея в образе брата, но теперь он был уже твердо уверен, что это не брат, а оборотень-змей, и поразил его мечом. В тот же миг змей принял свой настоящий вид, забился

в предсмертных судорогах и издох. Но струи крови чудовища обрызгали тело князя Петра, и от этой поганой крови он покрылся струпьями, потом язвами и тяжело заболел. Он призывал всех врачей своего княжества, чтобы исцелили его, но ни один не мог его вылечить.

Прослышал он, что в Рязанской земле много лекарей, и велел отвезти себя туда, потому что болезнь его очень усилилась и он не мог уже сидеть на коне. Привезли его в Рязанскую землю, и разослал он свою дружину во все концы искать лекарей.

Один из его дружинников завернул в деревню Ласково. Подъехал он к воротам какого-то дома, – никого не видно; взошел на крыльцо, – словно никто и не слышит; открыл дверь и глазам не верит: сидит за ткацким станом девушка, одна в доме, а перед нею скачет-играет заяц. И молвит девушка:

– Плохо, когда двор без ушей, а дом без глаз!

Молодой дружинник не понял ее слов и говорит:

– Где же хозяин этого дома?

Девушка отвечает:

– Отец и мать пошли взаймы плакать, а брат ушел сквозь ноги смерти в глаза глядеть.

Юноша опять не понял, о чем она говорит, удивился и тому, что увидел, и тому, что услышал:

– Ну скажи ты, что за чудеса! Вошел я к тебе, – вижу, работаешь за станом, а перед тобой заяц пляшет. Заговорила ты, – и странных речей твоих я никак не пойму. Сперва ты сказала: «Плохо, когда двор без ушей, а дом без глаз!» Про отца и мать своих сказала: «Пошли взаймы плакать», а про брата: «сквозь ноги смерти в глаза глядеть», и ни единого слова я тут не понял.

Улыбнулась девушка и сказала:

– Ну чего уж тут не понять! Подъехал ты ко двору и в дом вошел, а я сижу неприбранная, гостя не встречаю. Был бы пес во дворе, почуял бы тебя издали, лаял бы: вот и были бы у двора уши. А кабы в доме моем было дитя, увидело бы тебя, как ты через двор шел, и мне бы сказало: вот был бы и дом с глазами. Отец и мать пошли на похороны и там плачут, а когда они помрут, другие над ними плакать будут: значит, сейчас они свои слезы взаймы проливают. Сказала я, что брат мой (как и отец) – бортник, в лесу они собирают по деревьям мед диких пчел. Вот и сейчас брат ушел бортничать, залезет на дерево как можно повыше и вниз поглядывает, как бы не сорваться, ведь кто сорвался, тому конец! Потому я и сказала: «Сквозь ноги смерти в глаза глядеть».

– Вижу, мудрая ты девица, – говорит юноша, – а как же звать тебя?

– Зовут меня Феврония.

– А я из дружины муромского князя Петра. Тяжело болеет наш князь – весь в язвах. Он своей рукой убил оборотня, змея летучего, и где обрызгала его кровь змеиная, там и струпья явились. Искал он лекаря в своем княжестве, многие его лечили, никто не вылечил. Приказал сюда себя привезти, говорят, здесь много искусных целителей. Да не знаем мы, как их звать и где они живут, вот и ходим, спрашиваем о них!

Феврония подумала и говорит:

– Только тот может князя твоего вылечить, кто себе его потребует.

Дружинник спрашивает:

– Как это говоришь, кто себе потребует князя моего? Для того, кто его вылечит, князь Петр не пожалеет никаких богатств. Ты скажи мне имя его, кто он и где живет.

– Приведи князя твоего сюда. Если он добросердечен и не высокомерен, то будет здоров! – ответила Феврония.

Вернулся дружинник к князю и все ему подробно рассказал, что видел и слышал. Князь Петр приказал отвезти его к этой мудрой девушке.

Привезли его к дому Февронии. Князь послал к ней слугу своего спросить:

– Скажи, девушка, кто это хочет меня вылечить? Пусть исцелит меня от язв – и получит богатую мзду.

А она прямо и говорит:

– Я сама буду лечить князя, но богатств от него никаких не требую. Скажи ему от меня так: если не буду его супругой, не надо мне и лечить его.

Вернулся слуга и доложил князю все, что сказала девушка. Князь Петр не принял всерьез ее слов, он подумал: «Как это мне, князю, жениться на дочери бортника?» И послал к ней сказать: «В чем же тайна врачевства твоего, начинай лечить. А если вылечишь, возьму тебя в жены!»

Посланный передал ей слова князя, она взяла небольшую плошку, зачерпнула из дежи хлебной закваски, дунула на нее и говорит:

– Истопите вашему князю баню, а после бани пусть мажет по всему телу свои язвы и струпья, но один струп пусть оставит непомазанным. И будет здоров!

И принесли князю эту мазь. И велел он истопить баню, но, прежде чем довериться ее снадобью, решил князь испытать ее мудрость хитрыми задачами. Запомнились ему ее мудрые речи, которые передал первый его слуга. Послал ей малый пучок льну и велел передать: «Коли хочет эта девушка супругой моей стать,

пусть покажет нам мудрость свою. Если она и вправду мудрая, пусть из этого льна сделает мне рубаху, портки и полотенце за то время, пока я буду в бане париться».

Слуга принес ей пучок льну и передал княжий наказ. Она велела слуге:

– Заберись-ка на эту печь, сними с грядки сухое поленце, принеси сюда!

Слуга послушно достал ей полено. Отмерила она одну пядь и говорит:

– Отсеки этот кусок от поленца.

Он отрубил. Тогда она говорит:

– Возьми эту чурочку, отнеси князю своему и скажи от меня: «За то время, пока я пучок льну очешу, пусть князь из этой чурочки сделает мне ткацкий стан и все снаряды, чтобы выткать полотно ему на белье».

Слуга отнес князю чурочку и пересказал речи девушки. Князь посмеялся и послал его назад:

– Иди, скажи девушке, что нельзя из такой малой чурки в такое малое время столько изделий приготовить!

Слуга передал слова князя. Феврония только того и ждала.

– Ну, спроси тогда его, разве можно из такого пучочка льну взрослому мужчине за то время, пока он в бане попарится, выделать и рубашку, и портки, и полотенце?

Слуга пошел и передал ответ князю. Выслушал князь и подивился: ловко ответила.

После этого сделал он, как велела девушка: помылся в бане и помазал все язвы и струпья ее мазью, а один струп оставил непомазанным. Вышел из бани – и болезни не чувствует, а наутро глядит – все тело чисто и здорово, только один струп остался, что он не помазал, как велела девушка. Изумился он быстрому исцелению. Однако не захотел взять ее в жены из-за низкого ее рода и послал ей богатые дары. Она даров не приняла.

Уехал князь Петр в свою вотчину, в город Муром, совсем здоровым. Но оставался на теле у него один струп, оттого что не помазал его целебной мазью, как наказывала девушка. Вот от этого-то струпа и пошли по всему телу новые струпья и язвы с того самого дня, как уехал он от Февронии. И опять тяжело заболел князь, как и в первый раз.

Пришлось вернуться к девушке за испытанным лечением. Добрались до ее дому, и как ни стыдно князю было, послал к ней опять просить исцеления.

Она, нимало не гневаясь, говорит:

– Если станет князь моим супругом, то будет совсем исцелен.

Тут уж он твердое слово дал, что возьмет ее в жены.

Она, как и прежде, дала ему закваски и велела выполнить то же самое лечение. Князь совсем вылечился и женился на ней. Таким-то чином стала Феврония княгиней.

Приехали они в отчину князя, в город Муром, и жили благочестиво, блюдя божие заповеди.

Когда же умер в скором времени князь Павел, стал князь Петр самодержавным правителем в своем городе.

Бояре муромские не любили Февронию, поддавшись наущению жен своих, а те ее ненавидели за низкий род. Но славилась она в народе добрыми делами своими.

Раз пришел один ближний боярин к князю Петру, чтоб поссорить его с женой, и сказал:

– Ведь она из-за стола княжеского каждый раз не по чину выходит. Перед тем как встать, всегда собирает она со скатерти крошки, как голодная!

Захотел князь Петр проверить это и приказал раз накрыть ей стол рядом с собой. Когда обед подошел к концу, она, как с детства привыкла, смахнула крошки в горсть. Князь взял ее за руку, велел раскрыть кулачок и видит: на ладони у нее благоуханная смирна и фимиам. С того дня он больше уже ее не испытывал.

Прошло еще время, и пришли к нему бояре, гневные и мятежные:

– Мы хотим, князь Петр, праведно тебе служить, как нашему самодержцу, но не хотим, чтобы Феврония была княгиней над нашими женами. Если хочешь остаться у нас на княжом столе, возьми другую княгиню, а Феврония, получив изрядное богатство, пусть идет от нас, куда хочет!

Князь Петр всегда был спокойного нрава, и без гнева и ярости ответил им:

– Скажите-ка сами об этом княгине Февронии, послушаем, что она вам на это скажет!

Мятежные бояре, потеряв всякий стыд, устроили пиршество, и, когда хорошо выпили, развязались у них языки, и начали они о княгине говорить нелепо и поносно, как псы лаялись, отрицали ее чудесный дар исцеления, которым бог наградил ее не только при жизни, но и по смерти. Под конец пира собрались они возле князя с княгинею и говорят:

– Госпожа княгиня Феврония! От всего города и от боярства говорим тебе: дай нам то, о чем мы тебя попросим!

Она ответила:

– Возьмите чего просите!

Тогда бояре в один голос закричали:

– Мы все хотим, чтоб князь Петр был владыкой над нами,

а наши жены не хотят, чтоб ты правила ими. Возьми богатства, сколько хочешь, и уезжай, куда тебе угодно!

Она им и говорит:

– Я обещала вам, что получите то, чего просите! А теперь обещайте вы дать мне то, чего я у вас попрошу.

Бояре же недогадливые обрадовались, думая, что легко от нее откупятся, и поклялись:

– Что ни попросишь, сразу же беспрекословно отдадим тебе!

Княгиня и говорит:

– Ничего мне от вас не надо, только супруга моего, князя Петра.

Подумали бояре и говорят:

– Если князь Петр сам того захочет, ни слова перечить не будем!

Злобные их души озарились дьявольской мыслью, что вместо князя Петра, если он уйдет с Февронией, можно поставить другого самодержца, и каждый из них втайне надеялся стать этим самодержцем.

Князь Петр не мог нарушить заповедь божию ради самодержавства. Ведь сказано: «Кто прогонит жену, не обвиненную в прелюбодеянии, и женится на другой, тот сам станет прелюбодеем». Поэтому князь Петр решил отказаться от княжества.

Бояре приготовили им большие суда, потому что под Муромом протекает река Ока, и уплыли князь Петр с супругою своею на этих судах.

Среди приближенных был с ними на судне один человек со своей женой. Соблазняемый бесом, этот человек не мог наглядеться на княгиню Февронию, и смущали его дурные помыслы. Она угадала его мысли и говорит как-то ему:

– Зачерпни-ка воды с этой стороны судна и испей ее!

Он сделал это.

– Теперь зачерпни с другой стороны и испей!

Испил он опять.

– Ну как? Одинакова на вкус или одна слаще другой?

– Вода как вода, и с той стороны и с этой!

– И женское естество одинаково. Почему же, забывая свою жену, ты о чужой помышляешь?

И понял боярин, что она читает чужие мысли, не посмел больше предаваться грешным помыслам.

Плыли они весь день до вечера, и пришла пора причалить к берегу на ночлег. Вышел князь Петр на берег, ходит по берегу и размышляет.

«Что теперь с нами будет, не напрасно ли я сам лишил себя

самодержавства?»

Прозорливая же Феврония, угадывая его мысли, говорит ему:

– Не печалься, князь, милостивый бог и жизни наши строит, он не оставит нас в унижении!

Тут же на берегу слуги готовили княжеский ужин. Срубили несколько деревьев, и повар повесил на двух суковатых рассошках свои котлы. После ужина проходила княгиня Феврония по берегу мимо этих рассошек, благословила их и говорит:

– Пусть вырастут из них наутро деревья с ветками и листвой!

Так и сбылось. Встали утром, а на месте рассошек – большие деревья шумят листвой. И только хотели люди собирать шатры и утварь, чтобы переносить их на суда, прискакало посольство из города Мурома челом бить князю:

– Господин наш, князь! Мы пришли к тебе от города, не оставь нас, сирот твоих, вернись в свою вотчину. Мятежные вельможи муромские друг друга перебили, каждый хотел стать самодержцем, и все от меча погибли. А остальные вельможи и весь народ молят тебя: «Князь, господин наш, прости, что прогневали мы тебя! Говорили тебе лихие бояре, что не хотят, чтоб княгиня Феврония правила женами нашими, но теперь нет уж их, все мы однодушно тебя с Февронией хотим, и любим, и молим, не покидайте рабов своих!»

И вернулись князь Петр и княгиня Феврония в Муром. Правили они в городе своем по законам божиим и были милостивы к своим людям, как чадолюбивые отец и мать. Со всеми были равно сердечны, не любили только спесивых и грабительствующих, не жадны были к земным богатствам, но для вечной жизни богатели. Истинными пастырями города они были, не яростью и страхом правили, а истиной и справедливостью. Странствующих принимали, голодных кормили, нищих одевали, несчастных от гонений избавляли.

Когда приблизилась их кончина, они молили бога, чтобы в один час переселиться в лучший мир. И завещали, чтобы похоронили их в одной большой каменной гробнице с перегородкой посредине. В одно время облачились они в иноческие одежды и приняли монашество. Князя Петра назвали в иночестве Давидом, а Февронию – Евфросинией.

Перед самой кончиной княгиня Феврония вышивала покров с ликами святых на престольную чашу для собора. Приняв иночество, князь Петр, названный теперь Давидом, послал сказать ей: «О сестра Евфросиния! Близка моя кончина, но жду тебя, чтобы вместе покинуть этот мир».

Она ответила: «Подожди, господин мой, сейчас дошью покров для святой церкви».

И во второй раз прислал князь сказать: «Недолго могу ждать тебя!»

И в третий раз послал: «Отхожу из этого мира, не могу больше ждать!»

Княгиня-инокиня в это время вышивала последний покров, уже вышила лик святого и руку, а одежды его еще не вышила и, услышав зов супруга своего, воткнула иглу, замотала вокруг нее нитку и послала сказать князю Петру – в иночестве Давиду, – что и она готова.

В пятницу, 20 июня, отдали они оба душу богу.

После их кончины церковнослужители решили положить тело князя Петра в соборной церкви пречистой Богородицы в Муроме, а тело княгини Февронии – в загородном женском монастыре, в церкви Воздвижения животворящего креста, так как нельзя, дескать, мужа и жену положить в одном гробе, раз они стали иноками. Сделали для них отдельные гробницы и похоронили святого Петра в городском соборе, а святую Февронию в другой гробнице в загородной Воздвиженской церкви. А ту двойную каменную гробницу, что они велели сделать себе еще при жизни, оставили пустою в том же городском соборе.

Но на другой день утром увидели, что отдельные их гробницы пусты, а святые тела князя и княгини покоятся в той общей гробнице, которую они велели сделать для себя перед смертью. И те же неразумные люди, что пытались при жизни разлучить их, нарушили их покой после смерти: они снова перенесли святые тела в особые гробницы. И на третье утро увидели опять тела князя и княгини в общей гробнице. После этого больше уже не смели трогать их святые тела, и так и остались они в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы, где сами велели себя похоронить.

Мощи их даровал бог городу Мурому во спасение: всякий, кто с верою приходит к гробнице с их мощами, получает исцеление.

Слово о полку Игореве[1]

Поход

Не начать ли нам, братья, повесть о трудной рати, печальном походе Игоря-свет Святославича? Слово наше по нынешним былям, по-своему скажем, не станем петь по преданьям, в подражанье Бояну.

А мудрый Боян, говорят, если песню затеет, то деревом песня его зеленеет, серого волка она обгоняет, сизым орлом в облака улетает. Многое помнил Боян. Пел он о старом седом Ярославе. О храбром Мстиславе, что князя касогов Редедю перед его же полками сразил в поединке на поле брани. Пел о прекрасном князе Романе. Пальцы его лебедями по струнам летали. Послушные струны в руках оживали и славу князьям рокотали.

Начнем.

Начнем свою повесть об Игоре-князе. Ум его ясен, а сердце отвагой горит. Он храброе войско с собою ведет. Он биться за Русскую землю идет на Дон, в Половецкое поле.

Но что это? Светлое солнце тьмою закрылось. Ясное утро ночью сменилось. И воины укрыты пологом мрака.

Не убоялся князь Игорь тревожного знака.

– Братья! Дружина! – сказал он. – Лучше нам в битве убитыми быть, чем под половцем поганым ходить. Так сядем на быстрых коней и к синему Дону поскачем скорей! Там, на краю Половецкого поля, стрелам и копьям нашим раздолье. Либо нам головы буйны сложить, либо шеломом из Дону испить.

О Боян, прежних дней соловей, как не хватает нам песни твоей! Деревом песня твоя вырастает. Серого волка она обгоняет. Сизым орлом в облака залетает. Старое время с новым свивает. Так бы, наверное, песня твоя начиналась:

> То не буря в полях разгулялась,
> Галок несметная стая слеталась
> К великому Дону.

А может, ты спел бы совсем по-иному:

> Кони ржут за Сулою-рекой.
> В Нове-граде трубы протрубили.
> Киев славой громкою гремит.
> Стяги развиваются в Путивле…

А Игорь с тревогой глядит на дорогу – милого брата ждет на подмогу. Вот и Всеволод-князь подоспел. Могучий, как тур, и силен он и смел.

– Брат мой, – сказал он, – свет-светлый мой Игорь! Мы, Святославичи, гордое племя. Вступи в золотое узорное стремя. Ждет нас у Курска дружина моя. Куряне бывалые славные воины, громкой брани сыны – они под трубой боевой рождены, под шлемами вспоены, с конца копья вскормлены. Им все дороги отворены, сабли навострены. В поле рвутся не для забавы – себе ищут чести, а князю славы.

Игорь в стремя вступил золотое и выехал в чистое поле. Тьма наступила, путь заступила. Стонет, стенает гроза ночная, птиц пробуждая. Суслики свищут зловеще в ночи. Взвился на дерево Див. Кличет. И клич окаянный летит до незнаемых стран – до Волги, Посулья, Поморья, Сурожа, Корсуни и до тебя долетает, идол поганый, Тмутороканский болван!

И вот уже степью неведомой, дикою мчатся половцы к Дону великому. Скрип по степи раздается тележный, словно бы крик лебединый тревожный.

Игорь дружины к Дону ведет. Беда его ждет, поджидает. В дремучих дубравах птицы взлетают. В глубоких оврагах подстерегают волчьи голодные стаи. Клекот орлиный летит с высоты – зверье на добычу сзывает. Брешут лисицы из темных кустов на алые отблески русских щитов.

О Русская земля! Ты уже за холмом!

Первая битва

Долгая ночь постепенно редеет. Над полем заря сквозь туман пробивается, рдеет. Щёкот затих соловьиный, и пробудился галочий грай. Русичи поле из края в край щитами алыми перегородили.

Пришли они в поле не для забавы – себе ищут чести, а князю славы.

В пятницу рано, еще не светало, половцев русская рать потоптала. Откатились полки их назад. Стрелами русичи следом летят. Нет поганым пощады. Поле усеяно покрывалами их и плащами. Убегают они болотами, топями. В грязь дорогие наряды втоптаны. Оказалась добыча легка – девы красные, бархат, атласы, шелка. И стяг половецкий с конским хвостом на поле пустом остался. Он храброму князю достался.

Дремлют спокойно усталые русские воины. Далеко,

в Половецкое поле заманила их злая доля. Не кречет их завлекал и не сокол, что летает высоко, а ты, черный ворон поганый, ворог наш окаянный!

Дремлют спокойно храбрые воины. Но вот уж бежит серым волком хан половецкий Гзак. Путь ему кажет к Дону Кончак.

Зори кровавые утро ведут. Черные тучи с моря идут. Солнце закрыли зловеще. Синие молнии в них трепещут. Быть великому грому! Идти дождю стрелами с великого Дону! И копью преломиться, и мечу притупиться тут, где дружины русские стали, на реке на Каяле.

О Русская земля! За холмами ты, далеко!

Кровавая сеча

Воют ветры, Стрибожьи внуки. Веют с моря. Сеют каленые стрелы. Земля загудела. В реках вода помутнела. Катят по полю клубы пыли. Стяги бьют на ветру, не унять. Половцы полем от Дона идут и от моря – с разных сторон обступили русскую рать. Поле криками дикими перегородили. А русичи храбро щиты к ним поворотили.

Ярый тур Всеволод! Битвы ты ищешь, стрелами прыщешь, мечом булатным о шлемы гремишь. Куда ни поскачешь, шлемом поблескивая, – там катятся головы половецкие. Где просвищет меч твой каленый – там шлем заморский лежит расщепленный. Ярый тур Всеволод! Раны тебе не страшны. Кровавая битва тебе заслонила и лик твоей Глебовны, милой жены, и отчий престол золотой, и город Чернигов родной!

От рассвета до вечера и с вечера снова до света каленые стрелы свистят, мечи о шлемы стучат, крепкие копья трещат – сече жестокой раздолье на Половецком поле. Черна земля копытами вспахана, костьми засеяна, кровью полита. В дальнем поле том всходы взошли горем для Русской земли!

Но слышу я, слышу звон отдаленный и гул. Игорь дружины свои повернул. Игорь на помощь брату спешит – земля под ногами коней дрожит.

Бились день и другой. А на третий, к полудню, когда день еще светел, Игоря стяги пали! Так разлучились братья на быстрой реке Каяле. А дружины русские храбрые на кровавом пиру алой кровью своей напоили гостей, да самим им вина не достало – полегли вдали от Русской земли.

Никнет от жалости в поле трава, и с тоскою склонились к земле дерева.

Горе Русской земли

Войско русское пало. Невеселое время настало. Побежала беда по земле, лебединым крылом синий Дон расплескала. А князья не с погаными бьются – меж собою дерутся. Раздоры в земле своей множат. Брату брат говорит: «Это мое и то мое тоже». Ослабела земля наша Русская, поднялся на ней стон. А половцы, волками рыская, крадутся со всех сторон.

О, далёко залетел ты, сокол, птиц побивая, – до чужого края, до моря! А вместо тебя прилетело к нам горе. Скорбью полнится наша земля. Божьей карой черные Карна и Жля проскакали по тропам-дорогам, смерть возвещая огненным рогом.

Плачут русские жены, мужей призывают. Слезы горючие льют, причитают:

Думою горькою вас не достать.
Мыслью быстрою к вам не слетать.
И глазам нашим вас не видать.
И даров дорогих нам от вас не принять.
Нет нам без вас отрады,
Милые лады!

Киев стольный от горя стонет. И в напасти Чернигов тонет. Рыщут в Русской земле половчане, ищут в каждом дворе себе дани.

Игорь и Всеволод, храбрые Святославичи, вы это зло пробудили, славы себе желаючи. Усыпил было это зло киевский князь Святослав. И мечом он его усмирил и копьем. Потоптал Половецкую землю своими полками. Шел и реками он, и оврагами, и болотами, и холмами, а поганого Кобяка достала его рука. За железной стеной половецких щитов был проклятый укрыться готов. Вырвал князь Кобяка из толпы убегающей вражьей. Пал поганый Кобяк в граде Киеве, в гриднице княжьей.

И отныне по праву громкую славу великому князю поют немцы, греки, венецианцы, моравы. Только Игорю славы они не споют – бед натворил он немало. Потопил свою честь на дне окаянной Каялы. Князь оставил седло золотое, пересел поневоле в чужое – уведен в половецкий полон.

Золотое слово Святослава

А в Киеве князь Святослав смущен – видел он непонятный сон:

– Снилось мне, будто черным меня полотном укрывали. Будто синим вином угощали, синим вином пополам с печалью.

Будто жемчуг на голову мне из поганых колчанов пустых вытрясали. Будто терем мой златоверхий с конька разбирали. Будто воронов черных бесовские стаи надо мною всю ночь летали. Будто змеи со всей земли по оврагам к краю моря ползли.

И бояре ему отвечали:

– Полна твоя дума печали. Два твоих сокола улетели из дома, чтобы в земле поганой у города Тмуторокани испить шеломом из Дона. Но саблями острыми крылья им подсекли, железными путами их оплели. На реке на Каяле тьма свет прикрыла. Вот что было.

И уже, словно гепардов стая, половцы Русскую землю терзают. Потоптана наша земля святая. На поруганье она отдана. Славу нашу позором покрыли. Разор и насилье свободу сменили. Див поганый над нами кычет, горе на головы наши кличет. Половцы в золото жен своих нарядили. А мы про веселье и думать забыли.

И сказал Святослав слово свое золотое, горькой слезой политое:

– О князья молодые, Игорь и Всеволод! Рано, рано вы подняли меч на поганых. Славы себе искали – без чести пали. Знаю, вы оба, два брата отвагой полны и крепче булата сердца ваши в битвах закалены. Но почему не пожалели вы моей седины?

Где брат мой, черниговский князь Ярослав? Из разных краев дружину собрав, стал он и сильный и войском обильный. Были в могучей дружине его татраны, ревуги, топчаки, могуты, ольберы, шельбиры. Ножи засапожные меч им в бою заменяли. Кликом грозным они полки разгоняли. И дедовской славы нигде никогда не роняли.

Но вы захотели сами, своими мечами новую славу добыть и славу отцов поделить. А разве мы, старые, не могли бы помолодеть, шлем и кольчугу надеть? Силу соколу множат года. Он в обиду не даст своего гнезда.

Но вот беда: кто же мне на подмогу придет сюда? У Римова города люди кричат под саблями половчан. В Переяславле Владимир стонет от ран. Горе ему и тоска!

Великий князь Всеволод! Может быть, ты издалека прилетишь за отчий дом постоять? Ты ведь Волгу можешь веслом расплескать, а шеломом вычерпать Дон. И летят с тобой копья живые – Глебовичи удалые.

А вы, буйный Рюрик и славный Давыд! Ваш меч половецкие шлемы дробит. И поганой кровью обагренные, сияют ваши шлемы золоченые. А воины ваши турами разъяренными рыкают под саблями калеными. Настало время. В золотое стремя, братья, вступите. За землю Русскую, за раны Игоря отомстите!

Острый мыслию Ярослав! Высоко сидишь ты в своем Галиче, не доносится крик к тебе галочий. Горы полками ты подпираешь. Ворота в Дунай затворяешь. Со многих народов ты дани берешь. Салтанов заморских стрелой достаешь. Достань же стрелой Кончака поганого. За землю Русскую, за Игоревы раны!

А ты, отважный Роман, и ты, Мстислав! Знают враги ваше храброе сердце, суровый ваш нрав. Многие земли – Хинову, Литву и Ятвягу поправ, высоко парите соколом в синем просторе.

Какая же птица отвагою с вами поспорит? Шлемы ковали для вас латиняне. Копья сломали пред вашим мечом половчане.

А Игоря нет. Померк для него белый свет. И дуб, зеленевший в бору, роняет листву не к добру. И воинов Игоря не воскресить. Кличет вас Дон отомстить!

Вы, Ингварь и Всеволод и трое Мстиславичей с вами – соколы не худого гнезда. Придите сюда. Копьями польскими, стрелами острыми и щитами поле открытое перегородите! Русскую землю от ворога защитите. За раны Игоревы отомстите!

Усобицы

У Переяславля Сула замутилась, не бежит серебряной струей. И Двина в болото замесилась под поганой половецкою ногой. Из князей всесильных лишь один – Изяслав, Васильков сын, позвенел мечами острыми о шлемы литовские. Но пал он. Над его головой ветер шумит кровавой травой. Полегли его воины в степи ковыльной. Вороны крыльями их прикрыли. Волки кровь слизали.

Убито веселье слезами, скорбными голосами. Города приуныли. На стенах высоких трубы беду протрубили.

Внуки Всеслава и Ярослава! Не удержали вы дедовой славы. Склоните стяги свои побежденные, вложите в ножны мечи поврежденные. Распри ваши – горе для Русской земли. Ссоры князей половцев к нам привели, накликали беды великие.

Еще в давнюю пору хитрый Всеслав, коня оседлав, стал города воевать, княжеский стол, как невесту, себе выбирать. В Киев стольный метнулся и стола золотого древком копья боевого коснулся. В полночь оттуда лютым зверем скакнул. Из ворот Бела-города к Нову-городу повернул. А поутру уж в облаке синем соколом сильным повис и на Нов-город ринулся вниз. Грозной секирой взмахнул и ворота отомкнул. И вот серым волком он дальше спешит – перед ним Немига-река бежит.

О Немига-река! Кровавые твои берега засеяны не хлебами – русских воинов телами. Здесь булатными молотят цепами. На кровавом току жизнь кладут. Веют душу от тела тут. О Немига-река, вдоль твоих берегов порассеяны кости русских

сынов!..

Князь Всеслав и людей судил, и князьям города рядил, а сам по ночам серым волком порыскивал и в далекие города и близкие. Выскочит ночью из Киева порыском волчьим, а поутру с петухами – уже в Тмуторокани. Обгоняет великого Хорса, бога солнца. Лишь в Полоцке утренний звон разнесется, а он уж в Киеве встрепенется.

Хоть и был он удалым, но и бед повидал он, да немало и сам сотворил. Не о нем ли мудрый Боян говорил:

Ни хитрому, ни бывалому,
Ни птице, ни зверю малому
Не минуть никогда
Божьего суда!

О, стонет Русская земля, стенает, былую силу и прежних князей вспоминает. Тот, старинный Владимир-князь крепко стоял, никого не боясь. Кто его мог победить, к киевским горам пригвоздить? А ныне все вы – и Рюрики, и Давыды, помните только свои обиды. Стяги ваши врозь развеваются. В усобицах ваши щиты разбиваются. Поганые в землю нашу идут. Копья поют.

Плач Ярославны

Ярославна по мужу тоскует. Одинокой кукушкой кукует. До далекой реки Дуная скорбный голос ее долетает:

Я кукушкой по Дунаю полечу,
Рукава в реке Каяле омочу.
Рано-рано полечу я поутру,
Раны Игоря кровавые утру.

Над Путивлем славным заря занялась молодая. На стене городской Ярославна плачет, причитая:

О, зачем ты, буйный ветер, налетел
И пригнал на войско лады тучу стрел?
Или скучно веять в белых облаках
И ладьи лелеять в море на волнах?
Ах, зачем ты разгулялся по полям,
Мое счастье разметал по ковылям?

Над Путивлем заря занялась молодая. Плачет Ярославна, причитая:

Днепр славный, ты пробился среди скал,
До земли до Половецкой добежал.
Святославовы ладьи издалека
Ты, качая, нес до стана Кобяка.
Почему обратно ладу не принес,
Чтоб не лить мне на Путивле горьких слез?

Над Путивлем заря догорает. Плачет Ярославна, причитает:

Красно солнышко, ты даришь нам тепло.
При тебе нам и привольно, и светло.
Так зачем же ты, владыко, обожгло
Лады милого пресветлое чело,
Иссушило гибких луков тетиву,
Напоило кровью жаркою траву?

Побег

Море синее волнами вспучено. Черным смерчем тучи закручены. Ночи шатром стан половецкий укрыт. Только Игорь не спит. Князь плененный не может уснуть. Тайной мыслию меряет к дому свой путь: от великого Дона через степь, что простерлась без края-конца, а потом по оврагам, лесам до Донца.

Крепко стан половецкий уснул. В час условленный свист темноту полоснул. Это верный Овлур князю Игорю знак подает – на коня садиться зовет.

Игорь к холке коня приник. Под копытами хрустнул тростник. Пробудилась земля под ногами погони. За спиною храпят половецкие кони.

Но Игорь в тростник горностаем скакнул. Белым гоголем в темную воду скользнул. И в черную ночь серым волком умчался прочь.

Не стрекочут сороки. И галки умолкли. И не слышится грай вороний. Мчит за Игорем-князем погоня. Дятлы дробь отбивают на звонких стволах. Змеи-полозы в пыльных ползут ковылях. Рыщут ханы Гзак и Кончак.

Путь беглецам заступила река. Игорь соколом взвился под облака. Волком верный Овлур пробирается следом. И бегут они вместе, гусей-лебедей добывая к обеду.

Вот достигли Донца, его острой излучины, пот отерли с лица, долгим бегом по росному полю измучены. А коней загнали вконец.

Говорит им Донец, струясь:

– Вольной воли тебе, Игорь-князь! А Русской земле – счастья! А Кончаку – напасти!

И сказал, поклонясь, князь-беглец:

– Благодарствуй на добром слове, Донец! Ты качал и лелеял меня на волнах. Стлал траву-мураву на серебряных берегах. Засыпал я под сенью ракит, твоим теплым туманом укрыт. Уткагоголь мелькала в твоих тростниках. Чайка мирно скользила в прозрачных струях. Чернядь в небе плыла на попутных ветрах. Ты стерег-охранял меня, быстрый Донец. Я вернулся домой наконец.

А тем часом молвил Гзак Кончаку на скаку в злобе черной:

– Улетел уже сокол к своему гнезду. Но остался у нас на его беду сын, соколенок плененный. Убьем соколенка стрелой золоченой!

Но ответил Кончак:

– Мы поступим не так. Соколенка опутаем девицей красной, половчанкой прекрасной.

И сказал тогда Гзак:

– Нет, напрасно. Не удержать соколенка нам девицей красной. Он за соколом вслед устремится. И тогда уж в степи Половецкой бить-клевать станут нас даже малые птицы.

Слава

О Боян-песнотворец, былей старинных певец, ты Ярославу славу слагал. Ты Святослава не раз воспевал. Ты, мудрый, когда-то сказал:

Худо голове, коль с плеч слетела,
Но беда без головы и телу.

Мы вслед за тобою сказать бы могли:

– Худо Игорю-князю без Русской земли. Но и Русской земле беда потерять его навсегда.

Красное солнышко в небе лучами играет – князь Игорь на Русской земле!

Красные девицы песни поют на Дунае – князь Игорь на Русской земле!

От моря до Киева их голоса долетают – князь Игорь

на Русской земле!

Села поют, города ворота отворяют – князь Игорь на Русской земле!

Слава князьям и седым и совсем молодым!

Слава дружинникам их удалым!

Слава тем, кто на поле кровавом пал!

Слава всем, кто за Русскую землю встал!

Аминь!

Литература XVIII и XIX вв.

Гавриил Романович Державин
1743–1816

* * *

Река времен в своем стремленьи
Уносит все дела людей
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей.
А если что и остается
Чрез звуки лиры и трубы,
То вечности жерлом пожрется
И общей не уйдет судьбы.

Михайло Васильевич Ломоносов
1711–1765

Надпись к статуе Петра Великого

Се образ изваян премудрого героя,
Что, ради подданных лишив себя покоя,
Последний принял чин и царствуя служил,
Свои законы сам примером утвердил,
Рожденны к скипетру, простер в работу руки,
Монаршу власть скрывал, чтоб нам открыть науки.
Когда он строил град, сносил труды в войнах,
В землях далеких был и странствовал в морях,
Художников сбирал и обучал солдатов,
Домашних побеждал и внешних сопостатов;
И словом, се есть Петр, отечества Отец;
Земное божество Россия почитает,
И столько олтарей пред зраком сим пылает,
Коль много есть ему обязанных сердец.

Ода на день восшествия на всероссийский престол ее Величества Государыни Императрицы Елисаветы Петровны 1747 года

Царей и царств земных отрада,
Возлюбленная тишина,
Блаженство сел, градов ограда,
Коль ты полезна и красна!
Вокруг тебя цветы пестреют
И класы на полях желтеют;
Сокровищ полны корабли
Дерзают в море за тобою;
Ты сыплешь щедрою рукою
Свое богатство по земли.

Великое светило миру,
Блистая с вечной высоты
На бисер, злато и порфиру,
На все земные красоты,
Во все страны свой взор возводит,
Но краше в свете не находит

Елисаветы и тебя.
Ты кроме той всего превыше;
Душа ее зефира тише,
И зрак прекраснее рая́.

Когда на трон она вступила,
Как вышний подал ей венец,
Тебя в Россию возвратила,
Войне поставила конец;
Тебя прияв облобызала:
«Мне полно тех побед, – сказала, –
Для коих крови льется ток.
Я россов счастьем услаждаюсь,
Я их спокойством не меняюсь
На целый запад и восток».
Божественным устам приличен,
Монархиня, сей кроткий глас.
О коль достойно возвеличен
Сей день и тот блаженный час,
Когда от радостной премены
Петровы возвышали стены
До звезд плескание и клик!
Когда ты крест несла рукою
И на престол взвела с собою
Доброт твоих прекрасный лик!

Чтоб слову с оными сравняться,
Достаток силы нашей мал;
Но мы не можем удержаться
От пения твоих похвал.
Твои щедроты ободряют
Наш дух и к бегу устремляют,
Как в понт пловца способный ветр
Чрез яры волны порывает;
Он брег с весельем оставляет;
Летит корма меж водных недр.

Молчите, пламенные звуки,
И колебать престаньте свет;
Здесь в мире расширять науки
Изволила Елисавет.
Вы, наглы вихри, не дерзайте
Реветь, но кротко разглашайте
Прекрасны наши времена.

В безмолвии внимай, вселенна:
Се хощет лира восхищенна
Гласить велики имена.

Ужасный чудными делами,
Зиждитель мира искони
Своими положил судьбами
Себя прославить в наши дни;
Послал в Россию Человека,
Каков неслыхан был от века.
Сквозь все препятства он вознес
Главу, победами венчанну,
Россию, грубостью попранну,
С собой возвысил до небес.

В полях кровавых Марс страшился,
Свой меч в Петровых зря руках,
И с трепетом Нептун чудился,
Взирая на российский флаг.
В стенах внезапно укрепленна
И зданиями окруженна,
Сомненная Нева рекла:
«Или я ныне позабылась
И с оного пути склонилась,
Которым прежде я текла?»

Тогда божественны науки
Чрез горы, реки и моря
В Россию простирали руки,
К сему монарху говоря:
«Мы с крайним тщанием готовы
Подать в российском роде новы
Чистейшего ума плоды».
Монарх к себе их призывает,
Уже Россия ожидает
Полезны видеть их труды.

Но ах, жестокая судьбина!
Бессмертия достойный муж,
Блаженства нашего причина,
К несносной скорби наших душ
Завистливым отторжен роком,
Нас в плаче погрузил глубоком!
Внушив рыданий наших слух,

Верьхи Парнасски восстенали,
И музы воплем провождали
В небесну дверь пресветлый дух.

В толикой праведной печали
Сомненный их смущался путь;
И токмо шествуя желали
На гроб и на дела взглянуть.
Но кроткая Екатерина,
Отрада по Петре едина,
Приемлет щедрой их рукой.
Ах, если б жизнь ее продлилась,
Давно б Секвана[2] постыдилась
С своим искусством пред Невой!

Какая светлость окружает
В толикой горести Парнас?
О коль согласно там бряцает
Приятных струн сладчайший глас!
Все хо́лмы покрывают лики;
В долинах раздаются клики:
«Великая Петрова дщерь
Щедроты отчи превышает,
Довольство муз усугубляет
И к счастью отверзает дверь».

Великой похвалы достоин,
Когда число своих побед
Сравнить сраженьям может воин
И в поле весь свой век живет;
Но ратники, ему подвластны,
Всегда хвалы его причастны,
И шум в полках со всех сторон
Звучащу славу заглушает,
И грому труб ее мешает
Плачевный побежденных стон.

Сия тебе единой слава,
Монархиня, принадлежит,
Пространная твоя держава,
О как тебе благодарит!
Воззри на горы превысоки,
Воззри в поля свои широки,
Где Волга, Днепр, где Обь течет;

Богатство, в оных потаенно,
Наукой будет откровенно,
Что щедростью твоей цветет.

Толикое земель пространство
Когда всевышний поручил
Тебе в счастливое подданство,
Тогда сокровища открыл,
Какими хвалится Инди́я;
Но требует к тому Россия
Искусством утвержденных рук.
Сие злату́ очистит жилу;
Почувствуют и камни силу
Тобой восставленных наук.

Хотя всегдашними снегами
Покрыта северна страна,
Где мерзлыми борей крылами
Твои взвевает знамена;
Но бог меж льдистыми горами
Велик своими чудесами:
Там Лена чистой быстриной,
Как Нил, народы напояет
И бреги наконец теряет,
Сравнившись морю шириной.

Коль многи смертным неизвестны
Творит натура чудеса,
Где густостью животным тесны,
Стоят глубокие леса,
Где в роскоши прохладных теней
На пастве скачущих еленей
Ловящих крик не разгонял;
Охотник где не метил луком;
Секирным земледелец стуком
Поющих птиц не устрашал.

Широкое открыто поле,
Где музам путь свой простирать!
Твоей великодушной воле
Что можем за сие воздать?
Мы дар твой до небес прославим
И знак щедрот твоих поставим,
Где солнца всход и где Амур

В зеленых берегах крутится,
Желая паки возвратиться
В твою державу от манжур.

Се мрачной вечности запону
Надежда отверзает нам!
Где нет ни правил, ни закону,
Премудрость тамо зиждет храм;
Невежество пред ней бледнеет.
Там влажный флота путь белеет,
И море тщится уступить:
Колумб российский через воды
Спешит в неведомы народы
Твои щедроты возвестить.

Там тьмою островов посеян,
Реке подобен Океан;
Небесной синевой одеян,
Павлина посрамляет вран.
Там тучи разных птиц летают,
Что пестротою превышают
Одежду нежныя весны;
Питаясь в рощах ароматных
И плавая в струях приятных,
Не знают строгия зимы.

И се Минерва ударяет
В верхи Рифейски[3] копием;
Сребро и злато истекает
Во всем наследии твоем.
Плутон в расселинах мятется,
Что россам в руки предается
Драгой его металл из гор,
Которой там натура скрыла;
От блеску днéвного светила
Он мрачный отвращает взор.

О вы, которых ожидает
Отечество от недр своих
И видеть таковых желает,
Каких зовет от стран чужих, –
О, ваши дни благословенны!
Дерзайте ныне ободренны
Раченьем вашим показать,

Что может собственных Платонов
И быстрых разумом Невтонов
Российская земля рождать.

Науки юношей питают,
Отраду старым подают,
В счастливой жизни украшают,
В несчастной случай берегут;
В домашних трудностях утеха
И в дальних странствах не помеха.
Науки пользуют везде,
Среди народов и в пустыне,
В градском шуму и наедине,
В покое сладки и в труде.

Тебе, о милости источник,
О ангел мирных наших лет!
Всевышний на того помощник,
Кто гордостью своей дерзнет,
Завидя нашему покою,
Против тебя восстать войною;
Тебя зиждитель сохранит
Во всех путях беспреткновенну
И жизнь твою благословенну
С числом щедрот твоих сравнит.

Яков Петрович Полонский
1819–1898

Дорога

Глухая степь – дорога далека,
Вокруг меня волнует ветер поле,
Вдали туман – мне грустно поневоле,
И тайная берет меня тоска.

Как кони ни бегут – мне кажется, лениво
Они бегут. В глазах одно и то ж –
Все степь да степь, за нивой снова нива.
– Зачем, ямщик, ты песни не поешь?

И мне в ответ ямщик мой бородатый:
– Про черный день мы песню бережем.
– Чему ж ты рад? – Недалеко до хаты –
Знакомый шест мелькает за бугром.

И вижу я: навстречу деревушка,
Соломой крыт стоит крестьянский двор,
Стоят скирды. – Знакомая лачужка,
Жива ль *она*, здорова ли с тех пор?

Вот крытый двор. Покой, привет и ужин
Найдет ямщик под кровлею своей.
А я устал – покой давно мне нужен;
Но нет его… Меняют лошадей.

Ну-ну, живей! Долга моя дорога –
Сырая ночь – ни хаты, ни огня –
Ямщик поет – в душе опять тревога –
Про черный день нет песни у меня.

Зимний путь

Ночь холодная мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,

А ямщик погоняет коней.

За горами, лесами, в дыму облаков
Светит пасмурный призрак луны.
Вой протяжный голодных волков
Раздается в тумане дремучих лесов. –
Мне мерещатся странные сны.

Мне все чудится: будто скамейка стоит,
На скамейке старуха сидит,
До полуночи пряжу прядет,
Мне любимые сказки мои говорит,
Колыбельные песни поет.

И я вижу во сне, как на волке верхом
Еду я по тропинке лесной
Воевать с чародеем-царем
В ту страну, где царевна сидит под замком,
Изнывая за крепкой стеной.

Там стеклянный дворец окружают сады,
Там жар-птицы поют по ночам
И клюют золотые плоды,
Там журчит ключ живой и ключ мертвой воды –
И не веришь и веришь очам.

А холодная ночь так же мутно глядит
Под рогожу кибитки моей,
Под полозьями поле скрипит,
Под дугой колокольчик гремит,
И ямщик погоняет коней.

Александр Сергеевич Пушкин
1799–1837

* * *

Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье,
Не пропадет ваш скорбный труд
И дум высокое стремленье.

Несчастью верная сестра,
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,
Придет желанная пора:

Любовь и дружество до вас
Дойдут сквозь мрачные затворы,
Как в ваши каторжные норы
Доходит мой свободный глас.

Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут – и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут.

К портрету Жуковского

Его стихов пленительная сладость
Пройдет веков завистливую даль,
И, внемля им, вздохнет о славе младость,
Утешится безмолвная печаль
И резвая задумается радость.

Медный всадник
(отрывки из поэмы)

* * *

На берегу пустынных волн
Стоял он, дум великих полн,
И вдаль глядел. Пред ним широко
Река неслася; бедный челн
По ней стремился одиноко.
По мшистым, топким берегам
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
И лес, неведомый лучам
В тумане спрятанного солнца,
Кругом шумел.
И думал он:
Отсель грозить мы будем шведу.
Здесь будет город заложен
Назло надменному соседу.

Природой здесь нам суждено
В Европу прорубить окно,
Ногою твердой стать при море.
Сюда по новым им волнам
Все флаги в гости будут к нам,
И запируем на просторе.

Прошло сто лет, и юный град,
Полнощных стран краса и диво,
Из тьмы лесов, из топи блат
Вознесся пышно, горделиво;
Где прежде финский рыболов,
Печальный пасынок природы,
Один у низких берегов
Бросал в неведомые воды
Свой ветхий невод, ныне там
По оживленным берегам
Громады стройные теснятся
Дворцов и башен; корабли
Толпой со всех концов земли
К богатым пристаням стремятся;
В гранит оделася Нева;
Мосты повисли над водами;
Темно-зелеными садами
Ее покрылись острова,
И перед младшею столицей
Померкла старая Москва,
Как перед новою царицей

Порфироносная вдова.

* * *

Люблю тебя, Петра творенье,
Люблю твой строгий, стройный вид,
Невы державное теченье,
Береговой ее гранит,
Твоих оград узор чугунный,
Твоих задумчивых ночей
Прозрачный сумрак, блеск безлунный,
Когда я в комнате моей
Пишу, читаю без лампады,
И ясны спящие громады
Пустынных улиц, и светла
Адмиралтейская игла,
И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса…

Моя эпитафия

Здесь Пушкин погребен; он с музой молодою,
С любовью, леностью провел веселый век,
Не делал доброго, однако ж был душою,
Ей-богу, добрый человек.

* * *

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит – оттого,
Что не любить оно не может.

Полтава
(отрывок из поэмы)

* * *

Горит восток зарею новой.
Уж на равнине, по холмам
Грохочут пушки. Дым багровый
Кругами всходит к небесам
Навстречу утренним лучам.
Полки ряды свои сомкнули.
В кустах рассыпались стрелки.
Катятся ядра, свищут пули;
Нависли хладные штыки.
Сыны любимые победы,
Сквозь огнь окопов рвутся шведы;
Волнуясь, конница летит;

Пехота движется за нею
И тяжкой твердостью своею
Ее стремление крепит.
И битвы поле роковое
Гремит, пылает здесь и там;
Но явно счастье боевое
Служить уж начинает нам.
Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлипенбах.
Тесним мы шведов рать за ратью;
Темнеет слава их знамен,
И бога браней благодатью
Наш каждый шаг запечатлен.

Тогда-то свыше вдохновенный
Раздался звучный глас Петра:
«За дело, с богом!» Из шатра,
Толпой любимцев окруженный,
Выходит Петр. Его глаза
Сияют. Лик его ужасен.
Движенья быстры. Он прекрасен,
Он весь, как божия гроза.
Идет. Ему коня подводят.

Ретив и смирен верный конь.
Почуя роковой огонь,
Дрожит. Глазами косо водит
И мчится в прахе боевом,
Гордясь могущим седоком.

Уж близок полдень. Жар пылает.
Как пахарь, битва отдыхает.
Кой-где гарцуют казаки.
Равняясь, строятся полки.
Молчит музыка боевая.
На холмах пушки, присмирев,
Прервали свой голодный рев.
И се – равнину оглашая,
Далече грянуло *ура*:
Полки увидели Петра.

И он промчался пред полками,
Могущ и радостен, как бой.
Он поле пожирал очами.
За ним вослед неслись толпой
Сии птенцы гнезда Петрова –
В пременах жребия земного,
В трудах державства и войны
Его товарищи, сыны:
И Шереметев благородный,
И Брюс, и Боур, и Репнин,
И, счастья баловень безродный,
Полудержавный властелин.

И перед синими рядами
Своих воинственных дружин,
Несомый верными слугами,
В качалке, бледен, недвижим,
Страдая раной, Карл явился.
Вожди героя шли за ним.
Он в думу тихо погрузился.
Смущенный взор изобразил
Необычайное волненье.
Казалось, Карла приводил
Желанный бой в недоуменье…
Вдруг слабым манием руки
На русских двинул он полки.

И с ними царские дружины
Сошлись в дыму среди равнины:
И грянул бой, Полтавский бой!
В огне, под градом раскаленным,
Стеной живою отраженным,
Над падшим строем свежий строй
Штыки смыкает. Тяжкой тучей
Отряды конницы летучей,
Браздами, саблями звуча,
Сшибаясь, рубятся сплеча.
Бросая груды тел на груду,
Шары чугунные повсюду
Меж ними прыгают, разят,
Прах роют и в крови шипят.
Швед, русский – колет, рубит, режет.
Бой барабанный, клики, скрежет,
Гром пушек, топот, ржанье, стон,
И смерть и ад со всех сторон.

Элегия

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.

Повести покойного Ивана Петровича Белкина *(В сокращении)*

Г-жа Простакова
То, мой батюшка, он еще

сызмала к историям охотник.

Скотинин

Митрофан по мне.

Недоросль

От издателя

Взявшись хлопотать об издании Повестей И. П. Белкина, предлагаемых ныне публике, мы желали к оным присовокупить хотя краткое жизнеописание покойного автора и тем отчасти удовлетворить справедливому любопытству любителей отечественной словесности. Для сего обратились было мы к Марье Алексеевне Трафилиной, ближайшей родственнице и наследнице Ивана Петровича Белкина; но, к сожалению, ей невозможно было нам доставить никакого о нем известия, ибо покойник вовсе не был ей знаком. Она советовала нам отнестись по сему предмету к одному почтенному мужу, бывшему другом Ивану Петровичу. Мы последовали сему совету и на письмо наше получили нижеследующий желаемый ответ. Помещаем его безо всяких перемен и примечаний, как драгоценный памятник благородного образа мнений и трогательного дружества, а вместе с тем как и весьма достаточное биографическое известие.

Милостивый Государь мой ****!

Почтеннейшее письмо ваше от 15-го сего месяца получить имел я честь 23-го сего же месяца, в коем вы изъявляете мне свое желание иметь подробное известие о времени рождения и смерти, о службе, о домашних обстоятельствах, также и о занятиях и нраве покойного Ивана Петровича Белкина, бывшего моего искреннего друга и соседа по поместьям. С великим моим удовольствием исполняю сие ваше желание и препровождаю к вам, Милостивый Государь мой, все, что из его разговоров, а также из собственных моих наблюдений запомнить могу.

Иван Петрович Белкин родился от честных и благородных родителей в 1798 году в селе Горюхине. Покойный отец его, секунд-майор Петр Иванович Белкин, был женат на девице Пелагее Гавриловне из дому Трафилиных. Он был человек не богатый, но умеренный, и по части хозяйства весьма смышленый. Сын их получил первоначальное образование от деревенского дьячка. Сему-то почтенному мужу был он, кажется, обязан охотою к чтению и занятиям по части русской словесности. В 1815 году вступил он в службу в пехотный

егерский полк[4] (числом не упомню), в коем и находился до самого 1823 года. Смерть его родителей, почти в одно время приключившаяся, понудила его подать в отставку и приехать в село Горюхино, свою отчину.

Вступив в управление имения, Иван Петрович, по причине своей неопытности и мягкосердия, в скором времени запустил хозяйство и ослабил строгой порядок, заведенный покойным его родителем. Сменив исправного и расторопного старосту, коим крестьяне его (по их привычке) были недовольны, поручил он управление села старой своей ключнице, приобретшей его доверенность искусством рассказывать истории. Сия глупая старуха не умела никогда различить двадцатипятирублевой ассигнации от пятидесятирублевой; крестьяне, коим она всем была кума, ее вовсе не боялись; ими выбранный староста до того им потворствовал, плутуя заодно, что Иван Петрович принужден был отменить барщину и учредить весьма умеренный оброк; но и тут крестьяне, пользуясь его слабостию, на первый год выпросили себе нарочитую льготу, а в следующие более двух третей оброка платили орехами, брусникою и тому подобным; и тут были недоимки.

Быв приятель покойному родителю Ивана Петровича, я почитал долгом предлагать и сыну свои советы и неоднократно вызывался восстановить прежний, им упущенный, порядок. Для сего, приехав однажды к нему, потребовал я хозяйственные книги, призвал плута старосту и в присутствии Ивана Петровича занялся рассмотрением оных. Молодой хозяин сначала стал следовать за мною со всевозможным вниманием и прилежностию; но как по счетам оказалось, что в последние два года число крестьян умножилось, число же дворовых птиц и домашнего скота нарочито уменьшилось, то Иван Петрович довольствовался сим первым сведением и далее меня не слушал, и в ту самую минуту, как я своими разысканиями и строгими допросами плута старосту в крайнее замешательство привел и к совершенному безмолвию принудил, с великою моею досадою услышал я Ивана Петровича крепко храпящего на своем стуле. С тех пор перестал я вмешиваться в его хозяйственные распоряжения и передал его дела (как и он сам) распоряжению всевышнего.

Сие дружеских наших сношений нисколько, впрочем, не расстроило; ибо я, соболезнуя его слабости и пагубному нерадению, общему молодым нашим дворянам, искренно любил Ивана Петровича, да нельзя было и не любить молодого человека столь кроткого и честного. С своей стороны, Иван Петрович оказывал уважение к моим летам и сердечно был ко мне привержен. До самой кончины своей он почти каждый день

со мною виделся, дорожа простою моею беседою, хотя ни привычками, ни образом мыслей, ни нравом мы большею частию друг с другом не сходствовали.

Иван Петрович вел жизнь самую умеренную, избегал всякого рода излишеств; никогда не случалось мне видеть его навеселе (что в краю нашем за неслыханное чудо почесться может); к женскому же полу имел он великую склонность, но стыдливость была в нем истинно девическая[5].

Кроме повестей, о которых в письме вашем упоминать изволите, Иван Петрович оставил множество рукописей, которые частию у меня находятся, частию употреблены его ключницею на разные домашние потребы. Таким образом прошлою зимою все окна ее флигеля заклеены были первою частию романа, которого он не кончил. Вышеупомянутые повести были, кажется, первым его опытом. Они, как сказывал Иван Петрович, большею частию справедливы и слышаны им от разных особ[6]. Однако ж имена в них почти все вымышлены им самим, а названия сел и деревень заимствованы из нашего околодка, отчего и моя деревня где-то упомянута. Сие произошло не от злого какого-либо намерения, но единственно от недостатка воображения.

Иван Петрович осенью 1828 года занемог простудною лихорадкою, обратившеюся в горячку, и умер, несмотря на неусыпные старания уездного нашего лекаря, человека весьма искусного, особенно в лечении закоренелых болезней, как-то мозолей и тому подобного. Он скончался на моих руках на 30-м году от рождения и похоронен в церкви села Горюхина близ покойных его родителей.

Иван Петрович был росту среднего, глаза имел серые, волоса русые, нос прямой; лицом был бел и худощав.

Вот, Милостивый Государь мой, все, что мог я припомнить касательно образа жизни, занятий, нрава и наружности покойного соседа и приятеля моего. Но в случае, если заблагорассудите сделать из сего моего письма какое-либо употребление, всепокорнейше прошу никак имени моего не упоминать; ибо хотя я весьма уважаю и люблю сочинителей, но в сие звание вступить полагаю излишним и в мои лета неприличным. С истинным моим почтением и проч.

1830 году Ноября 16.

Село Ненарадово

Почитая долгом уважить волю почтенного друга автора нашего, приносим ему глубочайшую благодарность за доставленные нам известия и надеемся, что публика оценит их

искренность и добродушие.

А. П.

Выстрел

Стрелялись мы.

Баратынский[7]

Я поклялся застрелить его по праву дуэли (за ним остался еще мой выстрел).

Вечер на бивуаке[8]

I

Мы стояли в местечке ***. Жизнь армейского офицера известна. Утром ученье, манеж; обед у полкового командира или в жидовском[9] трактире; вечером пунш и карты. В *** не было ни одного открытого дома, ни одной невесты; мы собирались друг у друга, где, кроме своих мундиров, не видали ничего.

Один только человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около тридцати пяти лет, и мы за то почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества; к тому же его обыкновенная угрюмость, крутой нрав и злой язык имели сильное влияние на молодые наши умы. Какая-то таинственность окружала его судьбу; он казался русским, а носил иностранное имя. Некогда он служил в гусарах, и даже счастливо; никто не знал причины, побудившей его выйти в отставку и поселиться в бедном местечке, где жил он вместе и бедно и расточительно: ходил вечно пешком, в изношенном черном сертуке, а держал открытый стол для всех офицеров нашего полка. Правда, обед его состоял из двух или трех блюд, изготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось при том рекою. Никто не знал ни его состояния, ни его доходов, и никто не осмеливался о том его спрашивать.

У него водились книги, большею частию военные да романы. Он охотно давал их читать, никогда не требуя их назад; зато никогда не возвращал хозяину книги, им занятой.

Главное упражнение его состояло в стрельбе из пистолета.

Стены его комнаты были все источены пулями, все в скважинах, как соты пчелиные. Богатое собрание пистолетов было единственной роскошью бедной мазанки, где он жил. Искусство, до коего достиг он, было неимоверно, и если б он вызвался пулей сбить грушу с фуражки кого б то ни было, никто б в нашем полку не усумнился подставить ему своей головы. Разговор между нами касался часто поединков; Сильвио (так назову его) никогда в него не вмешивался. На вопрос, случалось ли ему драться, отвечал он сухо, что случалось, но в подробности не входил, и видно было, что таковые вопросы были ему неприятны. Мы полагали, что на совести его лежала какая-нибудь несчастная жертва его ужасного искусства. Впрочем, нам и в голову не приходило подозревать в нем что-нибудь похожее на робость. Есть люди, коих одна наружность удаляет таковые подозрения.

Нечаянный случай всех нас изумил.

Однажды человек десять наших офицеров обедали у Сильвио. Пили по-обыкновенному, то есть очень много; после обеда стали мы уговаривать хозяина прометать нам банк. Долго он отказывался, ибо никогда почти не играл; наконец велел подать карты, высыпал на стол полсотни червонцев и сел метать. Мы окружили его, и игра завязалась. Сильвио имел обыкновение за игрою хранить совершенное молчание, никогда не спорил и не объяснялся. Если понтёру случалось обсчитаться, то он тотчас или доплачивал достальное, или записывал лишнее. Мы уж это знали и не мешали ему хозяйничать по-своему; но между нами находился офицер, недавно к нам переведенный. Он, играя тут же, в рассеянности загнул лишний угол. Сильвио взял мел и уравнял счет по своему обыкновению. Офицер, думая, что он ошибся, пустился в объяснения. Сильвио молча продолжал метать. Офицер, потеряв терпение, взял щетку и стер то, что казалось ему напрасно записанным. Сильвио взял мел и записал снова. Офицер, разгоряченный вином, игрою и смехом товарищей, почел себя жестоко обиженным и, в бешенстве схватив со стола медный шандал[10], пустил его в Сильвио, который едва успел отклониться от удара. Мы смутились. Сильвио встал, побледнев от злости, и с сверкающими глазами сказал: «Милостивый государь, извольте выйти, и благодарите бога, что это случилось у меня в доме».

Мы не сомневались в последствиях и полагали нового товарища уже убитым. Офицер вышел вон, сказав, что за обиду готов отвечать, как будет угодно господину банкомету. Игра продолжалась еще несколько минут; но чувствуя, что хозяину было не до игры, мы отстали один за другим и разбрелись по квартирам, толкуя о скорой ваканции[11].

На другой день в манеже мы спрашивали уже, жив ли еще бедный поручик, как сам он явился между нами; мы сделали ему тот же вопрос. Он отвечал, что об Сильвио не имел он еще никакого известия. Это нас удивило. Мы пошли к Сильвио и нашли его на дворе, сажающего пулю на пулю в туза, приклеенного к воротам. Он принял нас по-обыкновенному, ни слова не говоря о вчерашнем происшествии. Прошло три дня, поручик был еще жив. Мы с удивлением спрашивали: неужели Сильвио не будет драться? Сильвио не дрался. Он довольствовался очень легким объяснением и помирился.

Это было чрезвычайно повредило ему во мнении молодежи. Недостаток смелости менее всего извиняется молодыми людьми, которые в храбрости обыкновенно видят верх человеческих достоинств и извинение всевозможных пороков. Однако ж мало-помалу все было забыто, и Сильвио снова приобрел прежнее свое влияние.

Один я не мог уже к нему приблизиться. Имея от природы романическое воображение, я всех сильнее прежде всего был привязан к человеку, коего жизнь была загадкою и который казался мне героем таинственной какой-то повести. Он любил меня; по крайней мере со мной одним оставлял обыкновенное свое резкое злоречие и говорил о разных предметах с простодушием и необыкновенною приятностию. Но после несчастного вечера мысль, что честь его была замарана и не омыта по его собственной вине, эта мысль меня не покидала и мешала мне обходиться с ним по-прежнему; мне было совестно на него глядеть. Сильвио был слишком умен и опытен, чтобы этого не заметить и не угадывать тому причины. Казалось, это огорчало его; по крайней мере я заметил раза два в нем желание со мною объясниться; но я избегал таких случаев, и Сильвио от меня отступился. С тех пор видался я с ним только при товарищах, и прежние откровенные разговоры наши прекратились.

Рассеянные жители столицы не имеют понятия о многих впечатлениях, столь известных жителям деревень или городков, например, об ожидании почтового дня: во вторник и пятницу полковая наша канцелярия бывала полна офицерами: кто ждал денег, кто письма, кто газет. Пакеты обыкновенно тут же распечатывались, новости сообщались, и канцелярия представляла картину самую оживленную. Сильвио получал письма, адресованные в наш полк, и обыкновенно тут же находился.

Однажды подали ему пакет, с которого он сорвал печать с видом величайшего нетерпения. Пробегая письмо, глаза его

сверкали. Офицеры, каждый занятый своими письмами, ничего не заметили. «Господа, – сказал им Сильвио, – обстоятельства требуют немедленного моего отсутствия; еду сегодня в ночь; надеюсь, что вы не откажетесь отобедать у меня в последний раз. Я жду и вас, – продолжал он, обратившись ко мне, – жду непременно». С сим словом он поспешно вышел; а мы, согласясь соединиться у Сильвио, разошлись каждый в свою сторону.

Я пришел к Сильвио в назначенное время и нашел у него почти весь полк. Все его добро было уже уложено; оставались одни голые, простреленные стены. Мы сели за стол; хозяин был чрезвычайно в духе, и скоро веселость его соделалась общею; пробки хлопали поминутно, стаканы пенились и шипели беспрестанно, и мы со всевозможным усердием желали отъезжающему доброго пути и всякого блага. Встали изо стола уже поздно вечером. При разборе фуражек Сильвио, со всеми прощаясь, взял меня за руку и остановил в ту самую минуту, как собирался я выйти.

«Мне нужно с вами поговорить», – сказал он тихо. Я остался.

Гости ушли; мы остались вдвоем, сели друг противу друга и молча закурили трубки. Сильвио был озабочен; не было уже и следов его судорожной веселости. Мрачная бледность, сверкающие глаза и густой дым, выходящий изо рту, придавали ему вид настоящего дьявола. Прошло несколько минут, и Сильвио прервал молчание.

– Может быть, мы никогда больше не увидимся, – сказал он мне, – перед разлукой я хотел с вами объясниться. Вы могли заметить, что я мало уважаю постороннее мнение; но я вас люблю и чувствую: мне было бы тягостно оставить в вашем уме несправедливое впечатление.

Он остановился и стал набивать выгоревшую свою трубку; я молчал, потупя глаза.

– Вам было странно, – продолжал он, – что я не требовал удовлетворения от этого пьяного сумасброда Р***. Вы согласитесь, что, имея право выбрать оружие, жизнь его была в моих руках, а моя почти безопасна: я мог бы приписать умеренность мою одному великодушию, но не хочу лгать. Если б я мог наказать Р***, не подвергая вовсе моей жизни, то я б ни за что не простил его.

Я смотрел на Сильвио с изумлением. Таковое признание совершенно смутило меня. Сильвио продолжал:

– Так точно: я не имею права подвергать себя смерти. Шесть лет тому назад я получил пощечину, и враг мой еще жив.

Любопытство мое сильно было возбуждено.

– Вы с ним не дрались? – спросил я. – Обстоятельства, верно,

вас разлучили?

– Я с ним дрался, – отвечал Сильвио, – и вот памятник нашего поединка.

Сильвио встал и вынул из картона красную шапку с золотою кистью, с галуном (то, что французы называют bonnet de police); [12] он ее надел; она была прострелена на вершок ото лба.

– Вы знаете, – продолжал Сильвио, – что я служил в *** гусарском полку. Характер мой вам известен: я привык первенствовать, но смолоду это было во мне страстию. В наше время буйство было в моде: я был первым буяном по армии. Мы хвастались пьянством; я перепил славного Бурцова, воспетого Денисом Давыдовым. Дуэли в нашем полку случались поминутно: я на всех бывал или свидетелем, или действующим лицом. Товарищи меня обожали, а полковые командиры, поминутно сменяемые, смотрели на меня как на необходимое зло.

Я спокойно (или беспокойно) наслаждался моею славою, как определился к нам молодой человек богатой и знатной фамилии (не хочу назвать его). Отроду не встречал счастливца столь блистательного! Вообразите себе молодость, ум, красоту, веселость самую бешеную, храбрость самую беспечную, громкое имя, деньги, которым не знал он счета и которые никогда у него не переводились, и представьте себе, какое действие должен был он произвести между нами. Первенство мое поколебалось. Обольщенный моею славою, он стал было искать моего дружества; но я принял его холодно, и он безо всякого сожаления от меня удалился. Я его возненавидел. Успехи его в полку и в обществе женщин приводили меня в совершенное отчаяние. Я стал искать с ним ссоры; на эпиграммы мои отвечал он эпиграммами, которые всегда казались мне неожиданнее и острее моих и которые, конечно, не в пример были веселее: он шутил, а я злобствовал.

Наконец однажды на бале у польского помещика, видя его предметом внимания всех дам, и особенно самой хозяйки, бывшей со мною в связи, я сказал ему на ухо какую-то плоскую грубость. Он вспыхнул и дал мне пощечину. Мы бросились к саблям; дамы попадали в обморок; нас растащили, и в ту же ночь поехали мы драться.

Это было на рассвете. Я стоял на назначенном месте с моими тремя секундантами. С неизъяснимым нетерпением ожидал я моего противника. Весеннее солнце взошло, и жар уже наспевал. Я увидел его издали. Он шел пешком, с мундиром на сабле, сопровождаемый одним секундантом. Мы пошли к нему навстречу. Он приближился, держа фуражку, наполненную черешнями. Секунданты отмерили нам двенадцать шагов.

Мне должно было стрелять первому: но волнение злобы во мне было столь сильно, что я не понадеялся на верность руки и, чтобы дать себе время остыть, уступал ему первый выстрел; противник мой не соглашался. Положили бросить жребий: первый нумер достался ему, вечному любимцу счастия. Он прицелился и прострелил мне фуражку. Очередь была за мною. Жизнь его наконец была в моих руках; я глядел на него жадно, стараясь уловить хотя одну тень беспокойства… Он стоял под пистолетом, выбирая из фуражки спелые черешни и выплевывая косточки, которые долетали до меня. Его равнодушие взбесило меня. Что пользы мне, подумал я, лишить его жизни, когда он ею вовсе не дорожит? Злобная мысль мелькнула в уме моем. Я опустил пистолет. «Вам, кажется, теперь не до смерти, – сказал я ему, – вы изволите завтракать; мне не хочется вам помешать». – «Вы ничуть не мешаете мне, – возразил он, – извольте себе стрелять, а впрочем, как вам угодно; выстрел ваш остается за вами; я всегда готов к вашим услугам». Я обратился к секундантам, объявив, что нынче стрелять не намерен, и поединок тем и кончился.

Я вышел в отставку и удалился в это местечко. С тех пор не прошло ни одного дня, чтоб я не думал о мщении. Ныне час мой настал…

Сильвио вынул из кармана утром полученное письмо и дал мне его читать. Кто-то (казалось, его поверенный по делам) писал ему из Москвы, что известная особа скоро должна вступить в законный брак с молодой и прекрасной девушкой.

– Вы догадываетесь, – сказал Сильвио, – кто эта *известная особа*. Еду в Москву. Посмотрим, так ли равнодушно примет он смерть перед своей свадьбой, как некогда ждал ее за черешнями!

При сих словах Сильвио встал, бросил об пол свою фуражку и стал ходить взад и вперед по комнате, как тигр по своей клетке. Я слушал его неподвижно; странные, противуположные чувства волновали меня.

Слуга вошел и объявил, что лошади готовы. Сильвио крепко сжал мне руку; мы поцеловались. Он сел в тележку, где лежали два чемодана, один с пистолетами, другой с его пожитками. Мы простились еще раз, и лошади поскакали.

II

Прошло несколько лет, и домашние обстоятельства принудили меня поселиться в бедной деревеньке Н** уезда. Занимаясь хозяйством, я не переставал тихонько воздыхать о прежней моей шумной и беззаботной жизни. Всего труднее

было мне привыкнуть проводить осенние и зимние вечера в совершенном уединении. До обеда кое-как еще дотягивал я время, толкуя со старостой, разъезжая по работам или обходя новые заведения; но коль скоро начинало смеркаться, я совершенно не знал куда деваться. Малое число книг, найденных мною под шкафами и в кладовой, были вытвержены мною наизусть. Все сказки, которые только могла запомнить ключница Кириловна, были мне пересказаны; песни баб наводили на меня тоску. Принялся я было за неподслащенную наливку, но от нее болела у меня голова; да признаюсь, побоялся я сделаться *пьяницею с горя*, то есть самым *горьким* пьяницею, чему примеров множество видел я в нашем уезде. Близких соседей около меня не было, кроме двух или трех *горьких*, коих беседа состояла большею частию в икоте и воздыханиях. Уединение было сноснее.

В четырех верстах от меня находилось богатое поместье, принадлежащее графине Б***; но в нем жил только управитель, а графиня посетила свое поместье только однажды, в первый год своего замужества, и то прожила там не более месяца. Однако ж во вторую весну моего затворничества разнесся слух, что графиня с мужем приедет на лето в свою деревню. В самом деле, они прибыли в начале июня месяца.

Приезд богатого соседа есть важная эпоха для деревенских жителей. Помещики и их дворовые люди толкуют о том месяца два прежде и года три спустя. Что касается до меня, то, признаюсь, известие о прибытии молодой и прекрасной соседки сильно на меня подействовало; я горел нетерпением ее увидеть, и потому в первое воскресенье по ее приезде отправился после обеда в село *** рекомендоваться их сиятельствам как ближайший сосед и всепокорнейший слуга.

Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможною роскошью; около стен стояли шкафы с книгами, и над каждым бронзовый бюст; над мраморным камином было широкое зеркало; пол обит был зеленым сукном и устлан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет тридцати двух, прекрасный собою. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным; я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его, свободный и любезный, вскоре рассеял мою одичалую застенчивость; я уже начинал входить в обыкновенное мое

положение, как вдруг вошла графиня, и смущение овладело мною пуще прежнего. В самом деле, она была красавица. Граф представил меня; я хотел казаться развязным, но чем больше старался взять на себя вид непринужденности, тем более чувствовал себя неловким. Они, чтоб дать мне время оправиться и привыкнуть к новому знакомству, стали говорить между собою, обходясь со мною как с добрым соседом и без церемонии. Между тем я стал ходить взад и вперед, осматривая книги и картины.

В картинах я не знаток, но одна привлекла мое внимание. Она изображала какой-то вид из Швейцарии; но поразила меня в ней не живопись, а то, что картина была прострелена двумя пулями, всаженными одна на другую.

– Вот хороший выстрел, – сказал я, обращаясь к графу.

– Да, – отвечал он, – выстрел очень замечательный. А хорошо вы стреляете? – продолжал он.

– Изрядно, – отвечал я, обрадовавшись, что разговор коснулся наконец предмета мне близкого. – В тридцати шагах промаху в карту не дам, разумеется, из знакомых пистолетов.

– Право? – сказала графиня, с видом большой внимательности, – а ты, мой друг, попадешь ли в карту на тридцати шагах?

– Когда-нибудь, – отвечал граф, – мы попробуем. В свое время я стрелял не худо; но вот уже четыре года, как я не брал в руки пистолета.

– О, – заметил я, – в таком случае бьюсь об заклад, что ваше сиятельство не попадете в карту и в двадцати шагах: пистолет требует ежедневного упражнения. Это я знаю на опыте. У нас в полку я считался одним из лучших стрелков. Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета: мои были в починке; что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять, я дал сряду четыре промаха по бутылке в двадцати пяти шагах. У нас был ротмистр, остряк, забавник; он тут случился и сказал мне: знать, у тебя, брат, рука не подымается на бутылку. Нет, ваше сиятельство, не должно пренебрегать этим упражнением, не то отвыкнешь как раз. Лучший стрелок, которого удалось мне встречать, стрелял каждый день, по крайней мере три раза перед обедом. Это у него было заведено, как рюмка водки.

Граф и графиня рады были, что я разговорился.

– А каково стрелял он? – спросил меня граф.

– Да вот как, ваше сиятельство: бывало, увидит он, села на стену муха: вы смеетесь, графиня? Ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит: Кузька, пистолет! Кузька и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп, и вдавит муху в стену!

– Это удивительно! – сказал граф, – а как его звали?

– Сильвио, ваше сиятельство.

– Сильвио! – вскричал граф, вскочив со своего места, – вы знали Сильвио?

– Как не знать, ваше сиятельство; мы были с ним приятели; он в нашем полку принят был как свой брат товарищ; да вот уж лет пять как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его?

– Знал, очень знал. Не рассказывал ли он вам… но нет; не думаю; не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?

– Не пощечина ли, ваше сиятельство, полученная им на бале от какого-то повесы?

– А сказывал он вам имя этого повесы?

– Нет, ваше сиятельство, не сказывал… Ах! ваше сиятельство, – продолжал я, догадываясь об истине, – извините… я не знал… уж не вы ли?..

– Я сам, – отвечал граф с видом чрезвычайно расстроенным, – а простреленная картина есть памятник последней нашей встречи…

– Ах, милый мой, – сказала графиня, – ради бога не рассказывай; мне страшно будет слушать.

– Нет, – возразил граф, – я все расскажу; он знает, как я обидел его друга: пусть же узнает, как Сильвио мне отомстил.

Граф подвинул мне кресла, и я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ.

«Пять лет тому назад я женился. Первый месяц, the honey moon[13], провел я здесь, в этой деревне. Этому дому обязан я лучшими минутами жизни и одним из самых тяжелых воспоминаний. Однажды вечером ездили мы вместе верхом; лошадь у жены что-то заупрямилась; она испугалась, отдала мне поводья и пошла пешком домой; я поехал вперед. На дворе увидел я дорожную телегу; мне сказали, что у меня в кабинете сидит человек, не хотевший объявить своего имени, но сказавший просто, что ему до меня есть дело.

Я вошел в эту комнату и увидел в темноте человека, запыленного и обросшего бородой; он стоял здесь у камина. Я подошел к нему, стараясь припомнить его черты. «Ты не узнал меня, граф?» – сказал он дрожащим голосом. «Сильвио!» – закричал я, и признаюсь, я почувствовал, как волоса стали вдруг на мне дыбом. «Так точно, – продолжал он, – выстрел за мною; я приехал разрядить мой пистолет; готов ли ты?» Пистолет у него торчал из бокового кармана. Я отмерил двенадцать шагов и стал там в углу, прося его выстрелить скорее, пока жена

не воротилась. Он медлил – он спросил огня. Подали свечи. Я запер двери, не велел никому входить и снова просил его выстрелить. Он вынул пистолет и прицелился… Я считал секунды… я думал о ней… Ужасная прошла минута! Сильвио опустил руку. «Жалею, – сказал он, – что пистолет заряжен не черешневыми косточками… пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство: я не привык целить в безоружного. Начнем сызнова; кинем жеребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом… Кажется, я не соглашался… Наконец мы зарядили еще пистолет; свернули два билета; он положил их в фуражку, некогда мною простреленную; я вынул опять первый нумер. «Ты, граф, дьявольски счастлив», – сказал он с усмешкою, которой никогда не забуду. Не понимаю, что со мною было и каким образом мог он меня к тому принудить… но – я выстрелил и попал вот в эту картину. (Граф указывал пальцем на простреленную картину; лицо его горело как огонь; графиня была бледнее своего платка: я не мог воздержаться от восклицания.)

– Я выстрелил, – продолжал граф, – и, слава богу, дал промах; тогда Сильвио… (в эту минуту он был, право, ужасен) Сильвио стал в меня прицеливаться.

Вдруг двери отворились. Маша вбегает и с визгом кидается мне на шею. Ее присутствие возвратило мне всю бодрость. «Милая, – сказал я ей, – разве ты не видишь, что мы шутим? Как же ты перепугалась! поди, выпей стакан воды и приди к нам; я представлю тебе старинного друга и товарища». Маше все еще не верилось. «Скажите, правду ли муж говорит? – сказала она, обращаясь к грозному Сильвио, – правда ли, что вы оба шутите?» «Он всегда шутит, графиня, – отвечал ей Сильвио, – однажды дал он мне шутя пощечину, шутя простелил мне вот эту фуражку, шутя дал сейчас по мне промах; теперь и мне пришла охота пошутить…» С этим словом он хотел в меня прицелиться… при ней! Маша бросилась к его ногам. «Встань, Маша, стыдно! – закричал я в бешенстве, – а вы, сударь, перестанете ли издеваться над бедной женщиной? Будете ли вы стрелять или нет?» «Не буду, – отвечал Сильвио, – я доволен: я видел твое смятение, твою робость; я заставил тебя выстрелить по мне, с меня довольно. Будешь меня помнить. Предаю тебя твоей совести». Тут он было вышел, но остановился в дверях, оглянулся на простреленную мною картину, выстрелил в нее, почти не целясь, и скрылся. Жена лежала в обмороке; люди не смели его остановить и с ужасом на него глядели; он вышел на крыльцо, кликнул ямщика и уехал, прежде чем успел я опомниться».

Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, коей

начало некогда так поразило меня. С героем оной уже я не встречался.

Сказывают, что Сильвио, во время возмущения Александра Ипсиланти, предводительствовал отрядом этеристов[14] и был убит в сражении под Скулянами[15].

Метель

Кони мчатся по буграм,
Топчут снег глубокой…
Вот в сторонке божий храм
Виден одинокой.
……
Вдруг метелица кругом;
Снег валит клоками;
Черный вран, свистя крылом,
Вьется над санями;
Вещий стон гласит печаль!
Кони торопливы
Чутко смотрят в темну даль,
Воздымая гривы…

Жуковский

В конце 1811 года, в эпоху нам достопамятную, жил в своем поместье Ненарадове добрый Гаврила Гаврилович Р**. Он славился во всей округе гостеприимством и радушием; соседи поминутно ездили к нему поесть, попить, поиграть по пяти копеек в бостон[16] с его женою, а некоторые для того, чтоб поглядеть на дочку их, Марью Гавриловну, стройную, бледную и семнадцатилетнюю девицу. Она считалась богатой невестою, и многие прочили ее за себя или за сыновей.

Марья Гавриловна была воспитана на французских романах и, следственно, была влюблена. Предмет, избранный ею, был бедный армейский прапорщик[17], находившийся в отпуску в своей деревне. Само по себе разумеется, что молодой человек пылал равною страстию и что родители его любезной, заметя их взаимную склонность, запретили дочери о нем и думать, а его принимали хуже, нежели отставного заседателя[18].

Наши любовники были в переписке, и всякий день видались наедине в сосновой роще или у старой часовни. Там они клялися

друг другу в вечной любви, сетовали на судьбу и делали различные предположения. Переписываясь и разговаривая таким образом, они (что весьма естественно) дошли до следующего рассуждения: если мы друг без друга дышать не можем, а воля жестоких родителей препятствует нашему благополучию, то нельзя ли нам будет обойтись без нее? Разумеется, что эта счастливая мысль пришла сперва в голову молодому человеку и что она весьма понравилась романическому воображению Марьи Гавриловны.

Наступила зима и прекратила их свидания; но переписка сделалась тем живее. Владимир Николаевич в каждом письме умолял ее предаться ему, венчаться тайно, скрываться несколько времени, броситься потом к ногам родителей, которые, конечно, будут тронуты наконец героическим постоянством и несчастием любовников и скажут им непременно: Дети! придите в наши объятия.

Марья Гавриловна долго колебалась; множество планов побега было отвергнуто. Наконец она согласилась: в назначенный день она должна была не ужинать и удалиться в свою комнату под предлогом головной боли. Девушка ее была в заговоре; обе они должны были выйти в сад через заднее крыльцо, за садом найти готовые сани, садиться в них и ехать за пять верст от Ненарадова в село Жадрино, прямо в церковь, где уж Владимир должен был их ожидать.

Накануне решительного дня Марья Гавриловна не спала всю ночь; она укладывалась, увязывала белье и платье, написала длинное письмо к одной чувствительной барышне, ее подруге, другое к своим родителям. Она прощалась с ними в самых трогательных выражениях, извиняла свой проступок неодолимою силою страсти и оканчивала тем, что блаженнейшею минутою жизни почтет она ту, когда позволено будет ей броситься к ногам дражайших ее родителей. Запечатав оба письма тульской печаткою, на которой изображены были два пылающие сердца с приличной надписью, она бросилась на постель перед самым рассветом и задремала; но и тут ужасные мечтания поминутно ее пробуждали.

То казалось ей, что в самую минуту, как она садилась в сани, чтоб ехать венчаться, отец ее останавливал ее, с мучительной быстротою тащил ее по снегу и бросал в темное, бездонное подземелие… и она летела стремглав с неизъяснимым замиранием сердца; то видела она Владимира, лежащего на траве, бледного, окровавленного. Он, умирая, молил ее пронзительным голосом поспешить с ним обвенчаться… другие безобразные, бессмысленные видения неслись перед нею одно

за другим. Наконец она встала, бледнее обыкновенного и с непритворной головною болью. Отец и мать заметили ее беспокойство; их нежная заботливость и беспрестанные вопросы: что с тобою, Маша? не больна ли ты, Маша? – раздирали ее сердце. Она старалась их успокоить, казаться веселою, и не могла. Наступил вечер. Мысль, что уже в последний раз провожает она день посреди своего семейства, стесняла ее сердце. Она была чуть жива; она втайне прощалась со всеми особами, со всеми предметами, ее окружавшими.

Подали ужинать; сердце ее сильно забилось. Дрожащим голосом объявила она, что ей ужинать не хочется, и стала прощаться с отцом и матерью. Они ее поцеловали и, по обыкновению, благословили: она чуть не заплакала. Пришед в свою комнату, она кинулась в кресла и залилась слезами. Девушка уговаривала ее успокоиться и ободриться. Все было готово. Через полчаса Маша должна была навсегда оставить родительский дом, свою комнату, тихую девическую жизнь… На дворе была метель; ветер выл, ставни тряслись и стучали; все казалось ей угрозой и печальным предзнаменованием. Скоро в доме все утихло и заснуло. Маша окуталась шалью, надела теплый капот, взяла в руки шкатулку свою и вышла на заднее крыльцо. Служанка несла за нею два узла. Они сошли в сад. Метель не утихала; ветер дул навстречу, как будто силясь остановить молодую преступницу. Они насилу дошли до конца сада. На дороге сани дожидались их. Лошади, прозябнув, не стояли на месте; кучер Владимира расхаживал перед оглоблями, удерживая ретивых. Он помог барышне и ее девушке усесться и уложить узлы и шкатулку, взял вожжи, и лошади полетели. Поручив барышню попечению судьбы и искусству Терешки-кучера, обратимся к молодому нашему любовнику.

Целый день Владимир был в разъезде. Утром был он у жадринского священника; насилу с ним уговорился; потом поехал искать свидетелей между соседними помещиками. Первый, к кому явился он, отставной сорокалетний корнет[19] Дравин, согласился с охотою. Это приключение, уверял он, напоминало ему прежнее время и гусарские проказы. Он уговорил Владимира остаться у него отобедать и уверил его, что за другими двумя свидетелями дело не станет. В самом деле, тотчас после обеда явились землемер Шмит, в усах и шпорах, и сын капитан-исправника[20], мальчик лет шестнадцати, недавно поступивший в уланы[21]. Они не только приняли предложение Владимира, но даже клялись ему в готовности жертвовать для него жизнию. Владимир обнял их с восторгом и поехал домой приготовляться.

Уже давно смеркалось. Он отправил своего надежного Терешку в Ненарадово с своею тройкою и с подробным, обстоятельным наказом, а для себя велел заложить маленькие сани в одну лошадь, и один без кучера отправился в Жадрино, куда часа через два должна была приехать и Марья Гавриловна. Дорога была ему знакома, а езды всего двадцать минут.

Но едва Владимир выехал за околицу в поле, как поднялся ветер и сделалась такая метель, что он ничего не взвидел. В одну минуту дорогу занесло; окрестность исчезла во мгле мутной и желтоватой, сквозь которую летели белые хлопья снегу; небо слилося с землею. Владимир очутился в поле и напрасно хотел снова попасть на дорогу; лошадь ступала наудачу и поминутно то взъезжала на сугроб, то проваливалась в яму; сани поминутно опрокидывались. Владимир старался только не потерять настоящего направления. Но ему казалось, что уже прошло более получаса, а он не доезжал еще до Жадринской рощи. Прошло еще около десяти минут; рощи все было не видать. Владимир ехал полем, пересеченным глубокими оврагами. Метель не утихала, небо не прояснялось. Лошадь начинала уставать, а с него пот катился градом, несмотря на то что он поминутно был по пояс в снегу.

Наконец он увидел, что едет не в ту сторону. Владимир остановился: начал думать, припоминать, соображать, и уверился, что должно было взять ему вправо. Он поехал вправо. Лошадь его чуть ступала. Уже более часа был он в дороге. Жадрино должно было быть недалеко. Но он ехал, ехал, а полю не было конца. Все сугробы, да овраги; поминутно сани опрокидывались, поминутно он их подымал. Время шло; Владимир начинал сильно беспокоиться.

Наконец в стороне что-то стало чернеть. Владимир поворотил туда. Приближаясь, увидел он рощу. Слава богу, подумал он, теперь близко. Он поехал около рощи, надеясь тотчас попасть на знакомую дорогу или объехать рощу кругом: Жадрино находилось тотчас за нею. Скоро нашел он дорогу и въехал во мрак дерев, обнаженных зимою. Ветер не мог тут свирепствовать; дорога была гладкая; лошадь ободрилась, и Владимир успокоился.

Но он ехал, ехал, а Жадрина было не видать; роще не было конца. Владимир с ужасом увидел, что он заехал в незнакомый лес. Отчаяние овладело им. Он ударил по лошади; бедное животное пошло было рысью, но скоро стало приставать и через четверть часа пошло шагом, несмотря на все усилия несчастного Владимира.

Мало-помалу деревья начали редеть, и Владимир выехал

из лесу; Жадрина было не видать. Должно было быть около полуночи. Слезы брызнули из глаз его; он поехал наудачу. Погода утихла, тучи расходились, перед ним лежала равнина, устланная белым волнистым ковром. Ночь была довольно ясна. Он увидел невдалеке деревушку, состоящую из четырех или пяти дворов. Владимир поехал к ней.

У первой избушки он выпрыгнул из саней, подбежал к окну и стал стучаться. Через несколько минут деревянный ставень поднялся, и старик высунул свою седую бороду. «Что те надо?» – «Далеко ли Жадрино?» – «Жадрино-то далеко ли?» – «Да, да! Далеко ли?» – «Недалече; верст десяток будет». При сем ответе Владимир схватил себя за волосы и остался недвижим, как человек, приговоренный к смерти.

«А отколе ты?» – продолжал старик. Владимир не имел духа отвечать на вопросы. «Можешь ли ты, старик, – сказал он, – достать мне лошадей до Жадрина?» – «Каки у нас лошади», – отвечал мужик. «Да не могу ли взять хоть проводника? Я заплачу, сколько ему будет угодно». – «Постой, – сказал старик, опуская ставень, – я те сына вышлю; он те проводит». Владимир стал дожидаться. Не прошло минуты, он опять начал стучаться. Ставень поднялся, борода показалась. «Что те надо?» – «Что ж твой сын?» – «Сейчас выдет, обувается. Али ты прозяб? взойди погреться». – «Благодарю, высылай скорее сына».

Ворота заскрыпели; парень вышел с дубиною и пошел вперед, то указывая, то отыскивая дорогу, занесенную снеговыми сугробами. «Который час?» – спросил его Владимир. «Да уж скоро рассвенет», – отвечал молодой мужик. Владимир не говорил уже ни слова.

Пели петухи и было уже светло, как достигли они Жадрина. Церковь была заперта. Владимир заплатил проводнику и поехал на двор к священнику. На дворе тройки его не было. Какое известие ожидало его!

Но возвратимся к добрым ненарадовским помещикам и посмотрим, что-то у них делается.

А ничего.

Старики проснулись и вышли в гостиную. Гаврила Гаврилович в колпаке и байковой куртке, Прасковья Петровна в шлафорке на вате. Подали самовар, и Гаврила Гаврилович послал девчонку узнать от Марьи Гавриловны, каково ее здоровье и как она почивала. Девчонка воротилась, объявляя, что барышня почивала-де дурно, но что ей-де теперь легче и что она-де сейчас придет в гостиную. В самом деле, дверь отворилась, и Марья Гавриловна подошла здороваться с папенькой и с маменькой.

«Что твоя голова, Маша?» – спросил Гаврила Гаврилович.

«Лучше, папенька», – отвечала Маша. «Ты верно, Маша, вчерась угорела», – сказала Прасковья Петровна. «Может быть, маменька», – отвечала Маша.

День прошел благополучно, но в ночь Маша занемогла. Послали в город за лекарем. Он приехал к вечеру и нашел больную в бреду. Открылась сильная горячка, и бедная больная две недели находилась у края гроба.

Никто в доме не знал о предположенном побеге. Письма, накануне ею написанные, были сожжены; ее горничная никому ни о чем не говорила, опасаясь гнева господ. Священник, отставной корнет, усатый землемер и маленький улан были скромны, и недаром Терешка-кучер никогда ничего лишнего не высказывал, даже и во хмелю. Таким образом тайна была сохранена более, чем полудюжиною заговорщиков. Но Марья Гавриловна сама в беспрестанном бреду высказывала свою тайну. Однако ж ее слова были столь несообразны ни с чем, что мать, не отходившая от ее постели, могла понять из них только то, что дочь ее была смертельно влюблена во Владимира Николаевича и что, вероятно, любовь была причиною ее болезни. Она советовалась со своим мужем, с некоторыми соседями, и наконец единогласно все решили, что, видно, такова была судьба Марьи Гавриловны, что суженого конем не объедешь, что бедность не порок, что жить не с богатством, а с человеком, и тому подобное. Нравственные поговорки бывают удивительно полезны в тех случаях, когда мы от себя мало что можем выдумать себе в оправдание.

Между тем барышня стала выздоравливать. Владимира давно не видно было в доме Гаврилы Гавриловича. Он был напуган обыкновенным приемом. Положили послать за ним и объявить ему неожиданное счастие: согласие на брак. Но каково было изумление ненарадовских помещиков, когда в ответ на их приглашение получили они от него полусумасшедшее письмо! Он объявлял им, что нога его не будет никогда в их доме, и просил забыть о несчастном, для которого смерть остается единою надеждою. Через несколько дней узнали они, что Владимир уехал в армию. Это было в 1812 году.

Долго не смели объявить об этом выздоравливающей Маше. Она никогда не упоминала о Владимире. Несколько месяцев уже спустя, нашед имя его в числе отличившихся и тяжело раненных под Бородином, она упала в обморок, и боялись, чтоб горячка ее не возвратилась. Однако, слава богу, обморок не имел последствия.

Другая печаль ее посетила: Гаврила Гаврилович скончался, оставя ее наследницей всего имения. Но наследство

не утешало ее; она разделяла искренно горесть бедной Прасковьи Петровны, клялась никогда с нею не расставаться; обе они оставили Ненарадово, место печальных воспоминаний, и поехали жить в ***ское поместье.

Женихи кружились и тут около милой и богатой невесты; но она никому не подавала и малейшей надежды. Мать иногда уговаривала ее выбрать себе друга; Марья Гавриловна качала головой и задумывалась. Владимир уже не существовал: он умер в Москве, накануне вступления французов. Память его казалась священною для Маши; по крайней мере она берегла все, что могло его напомнить: книги, им некогда прочитанные, его рисунки, ноты и стихи, им переписанные для нее. Соседи, узнав обо всем, дивились ее постоянству и с любопытством ожидали героя, долженствовавшего наконец восторжествовать над печальной верностию этой девственной Артемизы.

Между тем война со славою была кончена. Полки наши возвращались из-за границы. Народ бежал им навстречу. Музыка играла завоеванные песни: Vive Henri-Quatre[22], тирольские вальсы и арии из «Жоконда». Офицеры, ушедшие в поход почти отроками, возвращались, возмужав на бранном воздухе, обвешанные крестами. Солдаты весело разговаривали между собою, вмешивая поминутно в речь немецкие и французские слова. Время незабвенное! Время славы и восторга! Как сильно билось русское сердце при слове *отечество*! Как сладки были слезы свидания! С каким единодушием мы соединяли чувства народной гордости и любви к государю! А для него, какая была минута!

Женщины, русские женщины были тогда бесподобны. Обыкновенная холодность их исчезла. Восторг их был истинно упоителен, когда, встречая победителей, кричали они: *ура!*

И в воздух чепчики бросали.

Кто из тогдашних офицеров не сознается, что русской женщине обязан он был лучшей, драгоценнейшей наградою?..

В это блистательное время Марья Гавриловна жила с матерью в *** губернии и не видала, как обе столицы праздновали возвращение войск. Но в уездах и деревнях общий восторг, может быть, был еще сильнее. Появление в сих местах офицера было для него настоящим торжеством, и любовнику во фраке плохо было в его соседстве.

Мы уже сказывали, что, несмотря на ее холодность, Марья Гавриловна все по-прежнему окружена была искателями. Но все должны были отступить, когда явился в ее замке раненый гусарский полковник Бурмин, с Георгием в петлице и с интересной бледностию, как говорили тамошние барышни.

Ему было около двадцати шести лет. Он приехал в отпуск в свои поместья, находившиеся по соседству деревни Марьи Гавриловны. Марья Гавриловна очень его отличала. При нем обыкновенная задумчивость ее оживлялась. Нельзя было сказать, чтоб она с ним кокетничала; но поэт, заметя ее поведение, сказал бы:

Se amor non è, che dunque?..[23]

Бурмин был в самом деле очень милый молодой человек. Он имел именно тот ум, который нравится женщинам: ум приличия и наблюдения, безо всяких притязаний и беспечно насмешливый. Поведение его с Марьей Гавриловной было просто и свободно; но что б она ни сказала или ни сделала, душа и взоры его так за нею и следовали. Он казался нрава тихого и скромного, но молва уверяла, что некогда был он ужасным повесою, и это не вредило ему во мнении Марьи Гавриловны, которая (как и все молодые дамы вообще) с удовольствием извиняла шалости, обнаруживающие смелость и пылкость характера.

Но более всего… (более его нежности, более приятного разговора, более интересной бледности, более перевязанной руки) молчание молодого гусара более всего подстрекало ее любопытство и воображение. Она не могла не сознаваться в том, что она очень ему нравилась; вероятно, и он, с своим умом и опытностию, мог уже заметить, что она отличала его: каким же образом до сих пор не видала она его у своих ног и еще не слыхала его признания? Что удерживало его? робость, неразлучная с истинною любовию, гордость или кокетство хитрого волокиты? Это было для нее загадкою. Подумав хорошенько, она решила, что робость была единственной тому причиною, и положила ободрить его большею внимательностию и, смотря по обстоятельствам, даже нежностию. Она приуготовляла развязку самую неожиданную и с нетерпением ожидала минуты романического объяснения. Тайна, какого роду ни была бы, всегда тягостна женскому сердцу. Ее военные действия имели желаемый успех: по крайней мере Бурмин впал в такую задумчивость и черные глаза его с таким огнем останавливались на Марье Гавриловне, что решительная минута, казалось, уже близка. Соседи говорили о свадьбе, как о деле уже конченном, а добрая Прасковья Петровна радовалась, что дочь ее наконец нашла себе достойного жениха.

Старушка сидела однажды одна в гостиной, раскладывая гран-пасьянс[24], как Бурмин вошел в комнату и тотчас осведомился о Марье Гавриловне. «Она в саду, – отвечала старушка, – подите к ней, а я вас буду здесь ожидать». Бурмин пошел, а старушка перекрестилась и подумала: авось дело сегодня же кончится!

Бурмин нашел Марью Гавриловну у пруда, под ивою, с книгою в руках и в белом платье, настоящей героинею романа. После первых вопросов Марья Гавриловна нарочно перестала поддерживать разговор, усиливая таким образом взаимное замешательство, от которого можно было избавиться разве только незапным и решительным объяснением. Так и случилось: Бурмин, чувствуя затруднительность своего положения, объявил, что искал давно случая открыть ей свое сердце, и потребовал минуты внимания. Марья Гавриловна закрыла книгу и потупила глаза в знак согласия.

«Я вас люблю, – сказал Бурмин, – я вас люблю страстно… (Марья Гавриловна покраснела и наклонила голову еще ниже). – Я поступил неосторожно, предаваясь милой привычке, привычке видеть и слышать вас ежедневно… (Марья Гавриловна вспомнила первое письмо St. Preux). Теперь уже поздно противиться судьбе моей; воспоминание об вас, ваш милый, несравненный образ отныне будет мучением и отрадою жизни моей; но мне еще остается исполнить тяжелую обязанность, открыть вам ужасную тайну и положить между нами непреодолимую преграду…» – «Она всегда существовала, – прервала с живостию Марья Гавриловна, – я никогда не могла быть вашею женою…» – «Знаю, – отвечал он ей тихо, – знаю, что некогда вы любили, но смерть и три года сетований… Добрая, милая Марья Гавриловна! не старайтесь лишить меня последнего утешения: мысль, что вы бы согласились сделать мое счастие, если бы… молчите, ради бога, молчите. Вы терзаете меня. Да, я знаю, я чувствую, что вы были бы моею, но – я несчастнейшее создание… я женат!»

Марья Гавриловна взглянула на него с удивлением.

– Я женат, – продолжал Бурмин, – я женат уже четвертый год и не знаю, кто моя жена, и где она, и должен ли свидеться с нею когда-нибудь!

– Что вы говорите? – воскликнула Марья Гавриловна, – как это странно! Продолжайте; я расскажу после… но продолжайте, сделайте милость.

– В начале 1812 года, – сказал Бурмин, – я спешил в Вильну, где находился наш полк. Приехав однажды на станцию поздно вечером, я велел было поскорее закладывать лошадей, как вдруг поднялась ужасная метель, и смотритель и ямщики советовали мне переждать. Я их послушался, но непонятное беспокойство овладело мною; казалось, кто-то меня так и толкал. Между тем метель не унималась; я не вытерпел, приказал опять закладывать и поехал в самую бурю. Ямщику вздумалось ехать рекою, что должно было сократить нам путь тремя верстами. Берега

были занесены; ямщик проехал мимо того места, где выезжали на дорогу, и таким образом очутились мы в незнакомой стороне. Буря не утихала; я увидел огонек и велел ехать туда. Мы приехали в деревню; в деревянной церкви был огонь. Церковь была отворена, за оградой стояло несколько саней; по паперти ходили люди. «Сюда! сюда!» – закричало несколько голосов. Я велел ямщику подъехать. «Помилуй, где ты замешкался? – сказал мне кто-то, – невеста в обмороке; поп не знает, что делать; мы готовы были ехать назад. Выходи же скорее». Я молча выпрыгнул из саней и вошел в церковь, слабо освещенную двумя или тремя свечами. Девушка сидела на лавочке в темном углу церкви; другая терла ей виски. «Слава богу, – сказала эта, – насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили». Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» – «Начинайте, начинайте, батюшка», – отвечал я рассеянно. Девушку подняли. Она показалась мне недурна… Непонятная, непростительная ветреность… я стал подле нее перед налоем; священник торопился; трое мужчин и горничная поддерживали невесту и заняты были только ею. Нас обвенчали. «Поцелуйтесь», – сказали нам. Жена моя обратила ко мне бледное свое лицо. Я хотел было ее поцеловать… Она вскрикнула: «Ай, не он! не он!» – и упала без памяти. Свидетели устремили на меня испуганные глаза. Я повернулся, вышел из церкви безо всякого препятствия, бросился в кибитку и закричал: «Пошел!»

– Боже мой! – закричала Марья Гавриловна, – и вы не знаете, что сделалось с бедной вашею женою?

– Не знаю, – отвечал Бурмин, – не знаю, как зовут деревню, где я венчался; не помню, с которой станции поехал. В то время я так мало полагал важности в преступной моей проказе, что, отъехав от церкви, заснул и проснулся на другой день поутру, на третьей уже станции. Слуга, бывший тогда со мною, умер в походе, так что я не имею и надежды отыскать ту, над которой подшутил я так жестоко и которая теперь так жестоко отомщена».

– Боже мой, боже мой! – сказала Марья Гавриловна, схватив его руку, – так это были вы! И вы не узнаете меня?

Бурмин побледнел… и бросился к ее ногам…

Станционный смотритель

Коллежский регистратор[25]*,*
Почтовой станции диктатор.

Кто не проклинал станционных смотрителей, кто с ними не бранивался? Кто, в минуту гнева, не требовал от них роковой книги[26], дабы вписать в оную свою бесполезную жалобу на притеснение, грубость и неисправность? Кто не почитает их извергами человеческого рода, равными покойным подьячим или, по крайней мере, муромским разбойникам? Будем, однако, справедливы, постараемся войти в их положение и, может быть, станем судить о них гораздо снисходительнее. Что такое станционный смотритель? Сущий мученик четырнадцатого класса, огражденный своим чином токмо от побоев, и то не всегда (ссылаюсь на совесть моих читателей). Какова должность сего диктатора, как называет его шутливо князь Вяземский? Не настоящая ли каторга? Покою ни днем, ни ночью. Всю досаду, накопленную во время скучной езды, путешественник вымещает на смотрителе. Погода несносная, дорога скверная, ямщик упрямый, лошади не везут – а виноват смотритель. Входя в бедное его жилище, проезжающий смотрит на него как на врага; хорошо, если удастся ему скоро избавиться от непрошеного гостя; но если не случится лошадей?.. боже! какие ругательства, какие угрозы посыплются на его голову! В дождь и слякоть принужден он бегать по дворам; в бурю, в крещенский мороз уходит он в сени, чтоб только на минуту отдохнуть от крика и толчков раздраженного постояльца. Приезжает генерал; дрожащий смотритель отдает ему две последние тройки, в том числе курьерскую. Генерал едет, не сказав ему спасибо. Чрез пять минут – колокольчик!.. и фельдъегерь бросает ему на стол свою подорожную!..[27] Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним состраданием. Еще несколько слов: в течение двадцати лет сряду изъездил я Россию по всем направлениям; почти все почтовые тракты[28] мне известны; несколько поколений ямщиков мне знакомы; редкого смотрителя не знаю я в лицо, с редким не имел я дела; любопытный запас путевых моих наблюдений надеюсь издать в непродолжительном времени; покамест скажу только, что сословие станционных смотрителей представлено общему мнению в самом ложном виде. Сии столь оклеветанные смотрители вообще суть люди мирные, от природы услужливые, склонные к общежитию, скромные в притязаниях на почести и не слишком сребролюбивые. Из их разговоров (коими некстати пренебрегают господа проезжающие) можно почерпнуть много любопытного и поучительного. Что касается до меня, то, признаюсь, я предпочитаю их беседу речам какого-нибудь

чиновника 6-го класса[29], следующего по казенной надобности.

Легко можно догадаться, что есть у меня приятели из почтенного сословия смотрителей. В самом деле, память одного из них мне драгоценна. Обстоятельства некогда сблизили нас, и об нем-то намерен я теперь побеседовать с любезными читателями.

В 1816 году, в мае месяце, случилось мне проезжать через ***скую губернию, по тракту, ныне уничтоженному. Находился я в мелком чине, ехал на перекладных[30] и платил прогоны[31] за две лошади. Вследствие сего смотрители со мною не церемонились, и часто бирал я с бою то, что, во мнении моем, следовало мне по праву. Будучи молод и вспыльчив, я негодовал на низость и малодушие смотрителя, когда сей последний отдавал приготовленную мне тройку под коляску чиновного барина. Столь же долго не мог я привыкнуть и к тому, чтоб разборчивый холоп обносил меня блюдом на губернаторском обеде. Ныне то и другое кажется мне в порядке вещей. В самом деле, что было бы с нами, если бы вместо общеудобного правила: чин чина почитай, ввелось в употребление другое, например: ум ума почитай? Какие возникли бы споры! и слуги с кого бы начинали кушанье подавать? Но обращаюсь к моей повести.

День был жаркий. В трех верстах от станции *** стало накрапывать, и через минуту проливной дождь вымочил меня до последней нитки. По приезде на станцию, первая забота была поскорее переодеться, вторая спросить себе чаю. «Эй, Дуня! – закричал смотритель, – поставь самовар да сходи за сливками». При сих словах вышла из-за перегородки девочка лет четырнадцати и побежала в сени. Красота ее меня поразила. «Это твоя дочка?» – спросил я смотрителя. «Дочка-с, – отвечал он с видом довольного самолюбия, – да такая разумная, такая проворная, вся в покойницу мать». Тут он принялся переписывать мою подорожную, а я занялся рассмотрением картинок, украшавших его смиренную, но опрятную обитель. Они изображали историю блудного сына: в первой почтенный старик в колпаке и шлафорке отпускает беспокойного юношу, который поспешно принимает его благословение и мешок с деньгами. В другой яркими чертами изображено развратное поведение молодого человека: он сидит за столом, окруженный ложными друзьями и бесстыдными женщинами. Далее промотавшийся юноша, в рубище и в треугольной шляпе, пасет свиней и разделяет с ними трапезу; в его лице изображены глубокая печаль и раскаяние. Наконец представлено возвращение его к отцу; добрый старик в том же колпаке и шлафорке выбегает к нему навстречу: блудный сын стоит на коленах; в перспективе

повар убивает упитанного тельца, и старший брат вопрошает слуг о причине таковой радости. Под каждой картинкой прочел я приличные немецкие стихи. Все это доныне сохранилось в моей памяти, так же как и горшки с бальзамином и кровать с пестрой занавескою, и прочие предметы, меня в то время окружавшие. Вижу, как теперь, самого хозяина, человека лет пятидесяти, свежего и бодрого, и его длинный зеленый сертук с тремя медалями на полинялых лентах.

Не успел я расплатиться со старым моим ямщиком, как Дуня возвратилась с самоваром. Маленькая кокетка со второго взгляда заметила впечатление, произведенное ею на меня; она потупила большие голубые глаза; я стал с нею разговаривать, она отвечала мне безо всякой робости, как девушка, видевшая свет. Я предложил отцу ее стакан пуншу; Дуне подал я чашку чаю, и мы втроем начали беседовать, как будто век были знакомы.

Лошади были давно готовы, а мне все не хотелось расстаться с смотрителем и его дочкой. Наконец я с ними простился; отец пожелал мне доброго пути, а дочь проводила до телеги. В сенях я остановился и просил у ней позволения ее поцеловать; Дуня согласилась… Много могу я насчитать поцелуев, с тех пор как этим занимаюсь, но ни один не оставил во мне столь долгого, столь приятного воспоминания.

Прошло несколько лет, и обстоятельства привели меня на тот самый тракт, в те самые места. Я вспомнил дочь старого смотрителя и обрадовался при мысли, что увижу ее снова. Но, подумал я, старый смотритель, может быть, уже сменен; вероятно, Дуня уже замужем. Мысль о смерти того или другого также мелькнула в уме моем, и я приближался к станции *** с печальным предчувствием.

Лошади стали у почтового домика. Вошед в комнату, я тотчас узнал картинки, изображающие историю блудного сына; стол и кровать стояли на прежних местах; но на окнах уже не было цветов, и все кругом показывало ветхость и небрежение. Смотритель спал под тулупом; мой приезд разбудил его; он привстал…

Это был точно Самсон Вырин; но как он постарел! Покамест собирался он переписать мою подорожную, я смотрел на его седину, на глубокие морщины давно не бритого лица, на сгорбленную спину – и не мог надивиться, как три или четыре года могли превратить бодрого мужчину в хилого старика. «Узнал ли ты меня? – спросил я его, – мы с тобою старые знакомые». – «Может статься, – отвечал он угрюмо, – здесь дорога большая; много проезжих у меня перебывало».

«Здорова ли твоя Дуня?» – продолжал я. Старик нахмурился.

«А бог ее знает», – отвечал он. «Так, видно, она замужем?» – сказал я. Старик притворился, будто бы не слыхал моего вопроса, и продолжал пошептом читать мою подорожную. Я прекратил свои вопросы и велел поставить чайник. Любопытство начинало меня беспокоить, и я надеялся, что пунш разрешит язык моего старого знакомца.

Я не ошибся: старик не отказался от предлагаемого стакана. Я заметил, что ром прояснил его угрюмость. На втором стакане сделался он разговорчив; вспомнил или показал вид, будто бы вспомнил меня, и я узнал от него повесть, которая в то время сильно меня заняла и тронула.

«Так вы знали мою Дуню? – начал он. – Кто же и не знал ее? Ах, Дуня, Дуня! Что за девка-то была! Бывало, кто ни проедет, всякий похвалит, никто не осудит. Барыни дарили ее, та платочком, та сережками. Господа проезжие нарочно останавливались, будто бы пообедать аль отужинать, а в самом деле только чтоб на нее подолее поглядеть. Бывало, барин, какой бы сердитый ни был, при ней утихает и милостиво со мною разговаривает. Поверите ль, сударь: курьеры, фельдъегеря с нею по получасу заговаривались. Ею дом держался: что прибрать, что приготовить, за всем успевала. А я-то, старый дурак, не нагляжусь, бывало, не нарадуюсь; уж я ли не любил моей Дуни, я ль не лелеял моего дитяти; уж ей ли не было житье? Да нет, от беды не отбожишься; что суждено, тому не миновать». Тут он стал подробно рассказывать мне свое горе.

Три года тому назад, однажды в зимний вечер, когда смотритель разлиневывал новую книгу, а дочь его за перегородкой шила себе платье, тройка подъехала, и проезжий в черкесской шапке, в военной шинели, окутанный шалью, вошел в комнату, требуя лошадей. Лошади все были в разгоне. При сем известии путешественник возвысил было голос и нагайку; но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки и ласково обратилась к проезжему с вопросом: не угодно ли будет ему чего-нибудь покушать? Появление Дуни произвело обыкновенное свое действие. Гнев проезжего прошел; он согласился ждать лошадей и заказал себе ужин. Сняв мокрую, косматую шапку, отпутав шаль и сдернув шинель, проезжий явился молодым, стройным гусаром с черными усиками. Он расположился у смотрителя, начал весело разговаривать с ним и с его дочерью. Подали ужинать.

Между тем лошади пришли, и смотритель приказал, чтоб тотчас, не кормя, запрягали их в кибитку проезжего; но, возвратясь, нашел он молодого человека почти без памяти лежащего на лавке: ему сделалось дурно, голова разболелась,

невозможно было ехать… Как быть! смотритель уступил ему свою кровать, и положено было, если больному не будет легче, на другой день утром послать в С*** за лекарем.

На другой день гусару стало хуже. Человек его поехал верхом в город за лекарем. Дуня обвязала ему голову платком, намоченным уксусом, и села с своим шитьем у его кровати. Больной при смотрителе охал и не говорил почти ни слова, однако ж выпил две чашки кофе и, охая, заказал себе обед. Дуня от него не отходила. Он поминутно просил пить, и Дуня подносила ему кружку ею заготовленного лимонада. Больной обмакивал губы и всякий раз, возвращая кружку, в знак благодарности слабою своей рукою пожимал Дунюшкину руку. К обеду приехал лекарь. Он пощупал пульс больного, поговорил с ним по-немецки и по-русски объявил, что ему нужно одно спокойствие и что дни через два ему можно будет отправиться в дорогу. Гусар вручил ему двадцать пять рублей за визит, пригласил его отобедать; лекарь согласился; оба ели с большим аппетитом, выпили бутылку вина и расстались очень довольны друг другом.

Прошел еще день, и гусар совсем оправился. Он был чрезвычайно весел, без умолку шутил то с Дунею, то с смотрителем; насвистывал песни, разговаривал с проезжими, вписывал их подорожные в почтовую книгу, и так полюбился доброму смотрителю, что на третье утро жаль было ему расстаться с любезным своим постояльцем. День был воскресный; Дуня собиралась к обедне. Гусару подали кибитку. Он простился с смотрителем, щедро наградив его за постой и угощение; простился и с Дунею и вызвался довезти ее до церкви, которая находилась на краю деревни. Дуня стояла в недоумении… «Чего же ты боишься? – сказал ей отец, – ведь его высокоблагородие не волк и тебя не съест: прокатись-ка до церкви». Дуня села в кибитку подле гусара, слуга вскочил на облучок, ямщик свистнул, и лошади поскакали.

Бедный смотритель не понимал, каким образом мог он сам позволить своей Дуне ехать вместе с гусаром, как нашло на него ослепление и что тогда было с его разумом. Не прошло и получаса, как сердце его начало ныть, ныть, и беспокойство овладело им до такой степени, что он не утерпел и пошел сам к обедне. Подходя к церкви, увидел он, что народ уже расходился, но Дуни не было ни в ограде, ни на паперти. Он поспешно вошел в церковь; священник выходил из алтаря; дьячок гасил свечи, две старушки молились еще в углу; но Дуни в церкви не было. Бедный отец насилу решился спросить у дьячка, была ли она у обедни. Дьячок отвечал, что не бывала. Смотритель пошел

домой ни жив, ни мертв. Одна оставалась ему надежда: Дуня по ветрености молодых лет вздумала, может быть, прокатиться до следующей станции, где жила ее крестная мать. В мучительном волнении ожидал он возвращения тройки, на которой он отпустил ее. Ямщик не возвращался. Наконец к вечеру приехал он один и хмелен, с убийственным известием: «Дуня с той станции отправилась далее с гусаром».

Старик не снес своего несчастья; он тут же слег в ту самую постель, где накануне лежал молодой обманщик. Теперь смотритель, соображая все обстоятельства, догадывался, что болезнь была притворная. Бедняк занемог сильной горячкою; его свезли в С*** и на его место определили на время другого. Тот же лекарь, который приезжал к гусару, лечил и его. Он уверил смотрителя, что молодой человек был совсем здоров и что тогда еще догадывался он о его злобном намерении, но молчал, опасаясь его нагайки. Правду ли говорил немец или только желал похвастаться дальновидностию, но он нимало тем не утешил бедного больного. Едва оправясь от болезни, смотритель выпросил у С*** почтмейстера[32] отпуск на два месяца и, не сказав никому ни слова о своем намерении, пешком отправился за своею дочерью. Из подорожной знал он, что ротмистр[33] Минский ехал из Смоленска в Петербург. Ямщик, который вез его, сказывал, что всю дорогу Дуня плакала, хотя, казалось, ехала по своей охоте. «Авось, – думал смотритель, – приведу я домой заблудшую овечку мою». С этой мыслию прибыл он в Петербург, остановился в Измайловском полку, в доме отставного унтер-офицера, своего старого сослуживца, и начал свои поиски. Вскоре узнал он, что ротмистр Минский в Петербурге и живет в Демутовом трактире. Смотритель решился к нему явиться.

Рано утром пришел он в его переднюю и просил доложить его высокоблагородию, что старый солдат просит с ним увидеться. Военный лакей, чистя сапог на колодке, объявил, что барин почивает и что прежде одиннадцати часов не принимает никого. Смотритель ушел и возвратился в назначенное время. Минский вышел сам к нему в халате, в красной скуфье. «Что, брат, тебе надобно?» – спросил он его. Сердце старика закипело, слезы навернулись на глазах, и он дрожащим голосом произнес только: «Ваше высокоблагородие!.. сделайте такую божескую милость!..» Минский взглянул на него быстро, вспыхнул, взял его за руку, повел в кабинет и запер за собою дверь. «Ваше высокоблагородие! – продолжал старик, – что с возу упало, то пропало; отдайте мне, по крайней мере, бедную мою Дуню. Ведь вы натешились ею; не погубите ж ее понапрасну». –

«Что сделано, того не воротишь, – сказал молодой человек в крайнем замешательстве, – виноват перед тобою и рад просить у тебя прощения; но не думай, чтоб я Дуню мог покинуть: она будет счастлива, даю тебе честное слово. Зачем тебе ее? Она меня любит; она отвыкла от прежнего своего состояния. Ни ты, ни она – вы не забудете того, что случилось». Потом, сунув ему что-то за рукав, он отворил дверь, и смотритель, сам не помня как, очутился на улице.

Долго стоял он неподвижно, наконец увидел за обшлагом своего рукава сверток бумаг; он вынул их и развернул несколько пяти– и десятирублевых смятых ассигнаций. Слезы опять навернулись на глазах его, слезы негодования! Он сжал бумажки в комок, бросил их наземь, притоптал каблуком и пошел… Отошед несколько шагов, он остановился, подумал… и воротился… но ассигнаций уже не было. Хорошо одетый молодой человек, увидя его, подбежал к извозчику, сел поспешно и закричал: «Пошел!..» Смотритель за ним не погнался. Он решился отправиться домой на свою станцию, но прежде хотел хоть раз еще увидеть бедную свою Дуню. Для сего, дни через два, воротился он к Минскому; но военный лакей сказал ему сурово, что барин никого не принимает, грудью вытеснил его из передней и хлопнул двери ему под нос. Смотритель постоял, постоял – да и пошел.

В этот самый день, вечером, шел он по Литейной, отслужив молебен у Всех Скорбящих. Вдруг промчались перед ним щегольские дрожки, и смотритель узнал Минского. Дрожки остановились перед трехэтажным домом, у самого подъезда, и гусар вбежал на крыльцо. Счастливая мысль мелькнула в голове смотрителя. Он воротился и, поравнявшись с кучером: «Чья, брат, лошадь? – спросил он, – не Минского ли?» – «Точно так, – отвечал кучер, – а что тебе?» – «Да вот что: барин твой приказал мне отнести к его Дуне записочку, а я и позабудь, где Дуня-то его живет». – «Да вот здесь, во втором этаже. Опоздал ты, брат, с твоей запиской; теперь уж он сам у нее». – «Нужды нет, – возразил смотритель с неизъяснимым движением сердца, – спасибо, что надоумил, а я свое дело сделаю». И с этим словом пошел он по лестнице.

Двери были заперты; он позвонил, прошло несколько секунд в тягостном для него ожидании. Ключ загремел, ему отворили. «Здесь стоит Авдотья Самсоновна?» – спросил он. «Здесь, – отвечала молодая служанка, – зачем тебе ее надобно?» Смотритель, не отвечая, вошел в залу. «Нельзя, нельзя! – закричала вслед ему служанка, – у Авдотьи Самсоновны гости». Но смотритель, не слушая, шел далее. Две первые комнаты были

темны, в третьей был огонь. Он подошел к растворенной двери и остановился. В комнате, прекрасно убранной, Минский сидел в задумчивости. Дуня, одетая со всею роскошью моды, сидела на ручке его кресел, как наездница на своем английском седле. Она с нежностью смотрела на Минского, наматывая черные его кудри на свои сверкающие пальцы. Бедный смотритель! Никогда дочь его не казалась ему столь прекрасною; он поневоле ею любовался. «Кто там?» – спросила она, не подымая головы. Он все молчал. Не получая ответа, Дуня подняла голову… и с криком упала на ковер. Испуганный Минский кинулся ее подымать и, вдруг увидя в дверях старого смотрителя, оставил Дуню и подошел к нему, дрожа от гнева. «Чего тебе надобно? – сказал он ему, стиснув зубы, – что ты за мною всюду крадешься, как разбойник? Или хочешь меня зарезать? Пошел вон!» – и, сильной рукою схватив старика за ворот, вытолкнул его на лестницу.

Старик пришел к себе на квартиру. Приятель его советовал ему жаловаться; но смотритель подумал, махнул рукой и решился отступиться. Через два дни отправился он из Петербурга обратно на свою станцию и опять принялся за свою должность. «Вот уже третий год, – заключил он, – как живу я без Дуни и как об ней нет ни слуху ни духу. Жива ли, нет ли, бог ее ведает. Всяко случается. Не ее первую, не ее последнюю сманил проезжий повеса, а там подержал, да и бросил. Много их в Петербурге, молоденьких дур, сегодня в атласе да бархате, а завтра, поглядишь, метут улицу вместе с голью кабацкою[34]. Как подумаешь порою, что и Дуня, может быть, тут же пропадает, так поневоле согрешишь да пожелаешь ей могилы…»

Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева. Слезы сии отчасти возбуждаемы были пуншем, коего вытянул он пять стаканов в продолжение своего повествования; но как бы то ни было, они сильно тронули мое сердце. С ним расставшись, долго не мог я забыть старого смотрителя, долго думал я о бедной Дуне…

Недавно еще, проезжая через местечко ***, вспомнил я о моем приятеле; я узнал, что станция, над которой он начальствовал, уже уничтожена. На вопрос мой: «Жив ли старый смотритель?» – никто не мог дать мне удовлетворительного ответа. Я решился посетить знакомую сторону, взял вольных лошадей и пустился в село Н.

Это случилось осенью. Серенькие тучи покрывали небо; холодный ветер дул с пожатых полей, унося красные и желтые

листья со встречных деревьев. Я приехал в село при закате солнца и остановился у почтового домика. В сени (где некогда поцеловала меня бедная Дуня) вышла толстая баба и на вопросы мои отвечала, что старый смотритель с год как помер, что в доме его поселился пивовар, а что она жена пивоварова. Мне стало жаль моей напрасной поездки и семи рублей, издержанных даром. «От чего ж он умер?» – спросил я пивоварову жену. «Спился, батюшка», – отвечала она. «А где его похоронили?» – «За околицей, подле покойной хозяйки его». – «Нельзя ли довести меня до его могилы?» – «Почему же нельзя. Эй, Ванька! полно тебе с кошкою возиться. Проводи-ка барина на кладбище да укажи ему смотрителеву могилу».

При сих словах оборванный мальчик, рыжий и кривой, выбежал ко мне и тотчас повел меня за околицу.

– Знал ты покойника? – спросил я его дорогой.

– Как не знать! Он выучил меня дудочки вырезывать. Бывало (царство ему небесное!), идет из кабака, а мы-то за ним: «Дедушка, дедушка! орешков!» – а он нас орешками и наделяет. Все, бывало, с нами возится.

– А проезжие вспоминают ли его?

– Да ноне мало проезжих; разве заседатель завернет, да тому не до мертвых. Вот летом проезжала барыня, так та спрашивала о старом смотрителе и ходила к нему на могилу.

– Какая барыня? – спросил я с любопытством.

– Прекрасная барыня, – отвечал мальчишка, – ехала она в карете в шесть лошадей, с тремя маленькими барчатами и с кормилицей, и с черной моською; и как ей сказали, что старый смотритель умер, так она заплакала и сказала детям: «Сидите смирно, а я схожу на кладбище». А я было вызвался довести ее. А барыня сказала: «Я сама дорогу знаю». И дала мне пятак серебром – такая добрая барыня!..

Мы пришли на кладбище, голое место, ничем не огражденное, усеянное деревянными крестами, не осененными ни единым деревцем. Отроду не видал я такого печального кладбища. «Вот могила старого смотрителя», – сказал мне мальчик, вспрыгнув на груду песку, в которую врыт был черный крест с медным образом.

– И барыня приходила сюда? – спросил я.

– Приходила, – отвечал Ванька, – я смотрел на нее издали. Она легла здесь и лежала долго. А там барыня пошла в село и призвала попа, дала ему денег и поехала, а мне дала пятак серебром – славная барыня!

И я дал мальчишке пятачок и не жалел уже ни о поездке, ни о семи рублях, мною истраченных.

Во всех ты, Душенька, нарядах хороша.

Богданович[35]

В одной из отдаленных наших губерний находилось имение Ивана Петровича Берестова. В молодости своей служил он в гвардии, вышел в отставку в начале 1797 года, уехал в свою деревню и с тех пор оттуда не выезжал. Он был женат на бедной дворянке, которая умерла в родах, в то время как он находился в отъезжем поле. Хозяйственные упражнения скоро его утешили. Он выстроил дом по собственному плану, завел у себя суконную фабрику, устроил доходы и стал почитать себя умнейшим человеком во всем околодке[36], в чем и не прекословили ему соседи, приезжавшие к нему гостить с своими семействами и собаками. В будни ходил он в плисовой куртке, по праздникам надевал сертук из сукна домашней работы; сам записывал расход и ничего не читал, кроме «Сенатских ведомостей». Вообще его любили, хотя и почитали гордым.

Не ладил с ним один Григорий Иванович Муромский, ближайший его сосед. Этот был настоящий русский барин. Промотав в Москве большую часть имения своего и на ту пору овдовев, уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал проказничать, но уже в новом роде. Развел он английский сад, на который тратил почти все остальные доходы. Конюхи его были одеты английскими жокеями. У дочери его была мадам англичанка. Поля свои обрабатывал он по английской методе:

Но на чужой манер хлеб русский не родится,

и несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григорья Ивановича не прибавлялись; он и в деревне находил способ входить в новые долги; со всем тем почитался человеком неглупым, ибо первый из помещиков своей губернии догадался заложить имение в Опекунский совет:[37] оборот, казавшийся в то время чрезвычайно сложным и смелым.

Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительная черта его характера. Он не мог равнодушно говорить об англомании своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Показывал ли гостю свои владения, в ответ на похвалы его хозяйственным распоряжениям: «Да-с! – говорил он с лукавой

усмешкою, – у меня не то, что у соседа Григорья Ивановича. Куда нам по-английски разоряться! Были бы мы по-русски хоть сыты». Сии и подобные шутки, по усердию соседей, доводимы были до сведения Григорья Ивановича с дополнением и объяснениями. Англоман выносил критику столь же нетерпеливо, как и наши журналисты. Он бесился и прозвал своего зоила медведем и провинциалом.

Таковы были сношения между сими двумя владельцами, как сын Берестова приехал к нему в деревню. Он был воспитан в *** университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался. К статской службе молодой человек чувствовал себя совершенно неспособным. Они друг другу не уступали, и молодой Алексей стал жить покамест барином, отпустив усы на всякий случай.

Алексей был в самом деле молодец. Право, было бы жаль, если бы его стройного стана никогда не стягивал военный мундир и если бы он, вместо того чтобы рисоваться на коне, провел свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Смотря, как он на охоте скакал всегда первый, не разбирая дороги, соседи говорили согласно, что из него никогда не выйдет путного столоначальника[38]. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались; но Алексей мало ими занимался, а они причиной его нечувствительности полагали любовную связь. В самом деле, ходил по рукам список с адреса одного из его писем: *Акулине Петровне Курочкиной, в Москве, напротив Алексеевского монастыря*[39]*, в доме медника Савельева, а вас покорнейше прошу доставить письмо сие А. Н. Р.*

Те из моих читателей, которые не живали в деревнях, не могут себе вообразить, что за прелесть эти уездные[40] барышни! Воспитанные на чистом воздухе, в тени своих садовых яблонь, они знание света и жизни почерпают из книжек. Уединение, свобода и чтение рано в них развивают чувства и страсти, неизвестные рассеянным нашим красавицам. Для барышни звон колокольчика есть уже приключение, поездка в ближний город полагается эпохою в жизни, и посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. Конечно, всякому вольно смеяться над некоторыми их странностями; но шутки поверхностного наблюдателя не могут уничтожить их существенных достоинств, из коих главное: *особенность характера, самобытность* (individualité)[41], без чего, по мнению Жан-Поля, не существует и человеческого величия. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование; но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как и головные уборы. Сие да будет сказано

не в суд и не во осуждение, однако ж Nota nostra manet[42], как пишет один старинный комментатор.

Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу наших барышень. Он первый перед ними явился мрачным и разочарованным, первый говорил им об утраченных радостях и об увядшей своей юности; сверх того носил он черное кольцо с изображением мертвой головы. Все это было чрезвычайно ново в той губернии. Барышни сходили по нем с ума.

Но всех более занята была им дочь англомана моего, Лиза (или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий Иванович). Отцы друг ко другу не ездили, она Алексея еще не видала, между тем как все молодые соседки только об нем и говорили. Ей было семнадцать лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и, следственно, балованное дитя. Ее резвость и поминутные проказы восхищали отца и приводили в отчаянье ее мадам мисс Жаксон, сорокалетнюю чопорную девицу, которая белилась и сурмила себе брови, два раза в год перечитывала «Памелу», получала за то две тысячи рублей и умирала со скуки в этой варварской России.

За Лизою ходила Настя; она была постарше, но столь же ветрена, как и ее барышня. Лиза очень любила ее, открывала ей все свои тайны, вместе с нею обдумывала свои затеи; словом, Настя была в селе Прилучине лицом гораздо более значительным, нежели любая наперсница во французской трагедии.

– Позвольте мне сегодня пойти в гости, – сказала однажды Настя, одевая барышню.

– Изволь; а куда?

– В Тугилово, к Берестовым. Поварова жена у них именинница и вчера приходила звать нас отобедать.

– Вот! – сказала Лиза, – господа в ссоре, а слуги друг друга угощают.

– А нам какое дело до господ! – возразила Настя, – к тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бранились еще с молодым Берестовым; а старики пускай себе дерутся, коли им это весело.

– Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова, да расскажи мне хорошенько, каков он собою и что он за человек.

Настя обещалась, а Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась.

– Ну, Лизавета Григорьевна, – сказала она, входя в комнату, – видела молодого Берестова: нагляделась довольно; целый день были вместе.

– Как это? Расскажи, расскажи по порядку.

– Извольте-с, пошли мы, я, Анисья Егоровна, Ненила,

Дунька…

– Хорошо, знаю. Ну потом?

– Позвольте-с, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерьми, хлупинские…

– Ну! а Берестов?

– Погодите-с. Вот мы сели за стол, приказчица на первом месте, я подле нее… а дочери и надулись, да мне наплевать на них…

– Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями!

– Да как же вы нетерпеливы! Ну вот вышли мы изо стола… а сидели мы часа три, и обед был славный; пирожное бланманже синее, красное и полосатое… Вот вышли мы изо стола и пошли в сад играть в горелки, а молодой барин тут и явился.

– Ну что ж? правда ли, что он так хорош собой?

– Удивительно хорош, красавец, можно сказать. Стройный, высокий, румянец во всю щеку…

– Право? А я так думала, что у него лицо бледное. Что же? Каков он тебе показался? Печален, задумчив?

– Что вы? Да этакого бешеного я и сроду не видывала. Вздумал он с нами в горелки бегать.

– С вами в горелки бегать! Невозможно!

– Очень возможно! Да что еще выдумал! Поймает, и ну целовать!

– Воля твоя, Настя, ты врешь.

– Воля ваша, не вру. Я насилу от него отделалась. Целый день с нами так и провозился.

– Да как же, говорят, он влюблен и ни на кого не смотрит?

– Не знаю-с, а на меня так уж слишком смотрел да и на Таню, приказчикову дочь, тоже; да и на Пашу колбинскую, да грех сказать, никого не обидел, такой баловник!

– Это удивительно! А что в доме про него слышно?

– Барин, сказывают, прекрасный: такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо: за девушками слишком любит гоняться. Да, по мне, это еще не беда: со временем остепенится.

– Как бы мне хотелось его видеть! – сказала Лиза со вздохом.

– Да что же тут мудреного? Тугилово от нас недалеко, всего три версты: подите гулять в ту сторону или поезжайте верхом; вы, верно, встретите его. Он же всякий день, рано поутру, ходит с ружьем на охоту.

– Да нет, нехорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться… Ах, Настя! Знаешь ли что? Наряжусь я крестьянкою!

– И в самом деле; наденьте толстую рубашку, сарафан да и ступайте смело в Тугилово; ручаюсь вам, что Берестов уж вас не прозевает.

– А по-здешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя! Какая славная выдумка!

И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение.

На другой же день приступила она к исполнению своего плана, послала купить на базаре толстого полотна, синей китайки и медных пуговок, с помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитье всю девичью, и к вечеру все было готово. Лиза примерила обнову и призналась пред зеркалом, что никогда еще так мила самой себе не казалась. Она повторила свою роль, на ходу низко кланялась и несколько раз потом качала головою, наподобие глиняных котов, говорила на крестьянском наречии, смеялась, закрываясь рукавом, и заслужила полное одобрение Насти. Одно затрудняло ее: она попробовала было пройти по двору босая, но дерн колол ее нежные ноги, а песок и камушки показались ей нестерпимы. Настя и тут ей помогла: она сняла мерку с Лизиной ноги, сбегала в поле к Трофиму-пастуху и заказала ему пару лаптей по той мерке.

На другой день, ни свет ни заря, Лиза уже проснулась. Весь дом еще спал. Настя за воротами ожидала пастуха. Заиграл рожок, и деревенское стадо потянулось мимо барского двора. Трофим, проходя перед Настей, отдал ей маленькие пестрые лапти и получил от нее полтину в награждение. Лиза тихонько нарядилась крестьянкою, шепотом дала Насте свои наставления касательно мисс Жаксон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле.

Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как царедворцы ожидают государя; ясное небо, утренняя свежесть, роса, ветерок и пение птичек наполняли сердце Лизы младенческой веселостию; боясь какой-нибудь знакомой встречи, она, казалось, не шла, а летела. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея. Сердце ее сильно билось, само не зная почему; но боязнь, сопровождающая молодые наши проказы, составляет и главную их прелесть. Лиза вошла в сумрак рощи. Глухой, перекатный шум ее приветствовал девушку. Веселость ее притихла. Мало-помалу предалась она сладкой мечтательности. Она думала… но можно ли с точностию определить, о чем думает семнадцатилетняя барышня, одна, в роще, в шестом часу весеннего утра?

И так она шла, задумавшись, по дороге, осененной с обеих

сторон высокими деревьями, как вдруг прекрасная легавая собака залаяла на нее. Лиза испугалась и закричала. В то же время раздался голос: tout beau, Sbogar, ici…[43] и молодой охотник показался из-за кустарника. «Небось, милая, – сказал он Лизе, – собака моя не кусается». Лиза успела уже оправиться от испугу и умела тотчас воспользоваться обстоятельствами. «Да нет, барин, – сказала она, притворяясь полуиспуганной, полузастенчивой, – боюсь: она, вишь, такая злая; опять кинется». Алексей (читатель уже узнал его) между тем пристально глядел на молодую крестьянку. «Я провожу тебя, если ты боишься, – сказал он ей, – ты мне позволишь идти подле себя?» – «А кто те мешает? – отвечала Лиза, – вольному воля, а дорога мирская». – «Откуда ты?» – «Из Прилучина; я дочь Василья-кузнеца, иду по грибы (Лиза несла кузовок на веревочке). А ты, барин? Тугиловский, что ли?» – «Так точно, – отвечал Алексей, – я камердинер молодого барина». Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. «А лжешь, – сказала она, – не на дуру напал. Вижу, что ты сам барин». – «Почему же ты так думаешь?» – «Да по всему». – «Однако ж?» – «Да как же барина с слугой не распознать? И одет-то не так, и баишь иначе, и собаку-то кличешь не по-нашему».

Лиза час от часу более нравилась Алексею. Привыкнув не церемониться с хорошенькими поселянками, он было хотел обнять ее; но Лиза отпрыгнула от него и приняла вдруг на себя такой строгий и холодный вид, что хотя это и рассмешило Алексея, но удержало его от дальнейших покушений. «Если вы хотите, чтобы мы были вперед приятелями, – сказала она с важностию, – то не извольте забываться». – «Кто тебя научил этой премудрости? – спросил Алексей, расхохотавшись. – Уж не Настенька ли, моя знакомая, не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение!» Лиза почувствовала, что вышла было из своей роли, и тотчас поправилась. «А что думаешь? – сказала она, – разве я и на барском дворе никогда не бываю? небось: всего наслышалась и нагляделась. Однако, – продолжала она, – болтая с тобою, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощения просим…» Лиза хотела удалиться, Алексей удержал ее за руку. «Как тебя зовут, душа моя?» – «Акулиной, – отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой, – да пусти ж, барин; мне и домой пора». – «Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василью-кузнецу». – «Что ты? – возразила с живостию Лиза. – Ради Христа, не приходи. Коли дома узнают, что я с барином в роще болтала наедине, то мне беда будет; отец мой, Василий-кузнец, прибьет

меня до смерти». – «Да я непременно хочу с тобою опять видеться». – «Ну я когда-нибудь опять сюда приду за грибами». – «Когда же?» – «Да хоть завтра». – «Милая Акулина, расцеловал бы тебя, да не смею. Так завтра, в это время, не правда ли?» – «Да, да». – «И ты не обманешь меня?» – «Не обману». – «Побожись». – «Ну вот те святая пятница, приду».

Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и опрометью побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеянно отвечая на вопросы нетерпеливой наперсницы, и явилась в гостиную. Стол был накрыт, завтрак готов, и мисс Жаксон, уже набеленная и затянутая в рюмочку[44], нарезывала тоненькие тартинки. Отец похвалил ее за раннюю прогулку. «Нет ничего здоровее, – сказал он, – как просыпаться на заре». Тут он привел несколько примеров человеческого долголетия, почерпнутых из английских журналов, замечая, что все люди, жившие более ста лет, не употребляли водки и вставали на заре зимой и летом.

Лиза его не слушала. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор Акулины с молодым охотником, и совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседа их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия, совесть ее роптала громче ее разума. Обещание, данное ею на завтрашний день, всего более беспокоило ее: она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василья-кузнеца, настоящую Акулину, толстую, рябую девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. Мысль эта ужаснула Лизу, и она решилась на другое утро опять явиться в рощу Акулиной.

С своей стороны Алексей был в восхищении, целый день думал он о новой своей знакомке; ночью образ смуглой красавицы и во сне преследовал его воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле с верным своим Сбогаром и побежал к месту обещанного свидания. Около получаса прошло в несносном для него ожидании; наконец он увидел меж кустарника мелькнувший синий сарафан и бросился на встречу милой Акулины. Она улыбнулась восторгу его благодарности; но Алексей тотчас же заметил на ее лице следы уныния и беспокойства. Он хотел узнать тому причину. Лиза призналась, что поступок ее казался ей легкомысленным, что она в нем раскаивалась, что на сей раз не хотела она не сдержать данного слова, но что это свидание будет уже последним и что она просит

его прекратить знакомство, которое ни к чему доброму не может их довести. Все это, разумеется, было сказано на крестьянском наречии; но мысли и чувства, необыкновенные в простой девушке, поразили Алексея. Он употребил все свое красноречие, дабы отвратить Акулину от ее намерения; уверял ее в невинности своих желаний, обещал никогда не подать ей повода к раскаянию, повиноваться ей во всем, заклинал ее не лишать его одной отрады: видаться с нею наедине, хотя бы через день, хотя бы дважды в неделю. Он говорил языком истинной страсти и в эту минуту был точно влюблен. Лиза слушала его молча. «Дай мне слово, – сказала она наконец, – что ты никогда не будешь искать меня в деревне или расспрашивать обо мне. Дай мне слово не искать других со мной свиданий, кроме тех, которые я сама назначу». Алексей поклялся было ей святою пятницею, но она с улыбкой остановила его. «Мне не нужно клятвы, – сказала Лиза, – довольно одного твоего обещания». После того они дружески разговаривали, гуляя вместе по лесу, до тех пор пока Лиза сказала ему: пора. Они расстались, и Алексей, оставшись наедине, не мог понять, каким образом простая деревенская девочка в два свидания успела взять над ним истинную власть. Его сношения с Акулиной имели для него прелесть новизны, и хотя предписания странной крестьянки казались ему тягостными, но мысль не сдержать своего слова не пришла даже ему в голову. Дело в том, что Алексей, несмотря на роковое кольцо, на таинственную переписку и на мрачную разочарованность, был добрый и пылкий малый и имел сердце чистое, способное чувствовать наслаждения невинности.

Если бы слушался я одной своей охоты, то непременно и во всей подробности стал бы описывать свидания молодых людей, возрастающую взаимную склонность и доверчивость, занятия, разговоры; но знаю, что большая часть моих читателей не разделила бы со мною моего удовольствия. Эти подробности вообще должны казаться приторными, итак, я пропущу их, сказав вкратце, что не прошло еще и двух месяцев, а мой Алексей был уже влюблен без памяти, и Лиза была не равнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их уме, но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей, как ни привязан был к милой своей Акулине, все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкою; а Лиза ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было втайне подстрекаемо темной, романическою надеждою увидеть наконец

тугиловского помещика у ног дочери прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений.

В одно ясное, холодное утро (из тех, какими богата наша русская осень) Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякой случай взяв с собою пары три борзых, стремянного и несколько дворовых мальчишек с трещотками. В то же самое время Григорий Иванович Муромский, соблазнясь хорошею погодою, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего, гордо сидящего верхом, в чекмене[45], подбитом лисьим мехом, и поджидающего зайца, которого мальчишки криком и трещотками выгоняли из кустарника. Если б Григорий Иванович мог предвидеть эту встречу, то, конечно б, он поворотил в сторону; но он наехал на Берестова вовсе неожиданно и вдруг очутился от него в расстоянии пистолетного выстрела. Делать было нечего: Муромский, как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал с таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. В сие время заяц выскочил из лесу и побежал полем.

Берестов и стремянный закричали во все горло, пустили собак и следом поскакали во весь опор. Лошадь Муромского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю и внутренне доволен был случаем, избавляющим его от неприятного собеседника. Но лошадь, доскакав до оврага, прежде ею не замеченного, вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел. Упав довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою куцую кобылу, которая, как будто опомнясь, тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь, не ушибся ли он. Между тем стремянный привел виновную лошадь, держа ее под уздцы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе.

Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным, и таким образом Берестов возвратился домой со славою, затравив зайца и ведя своего противника раненым и почти военнопленным.

Соседи, завтракая, разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова дрожек, ибо признался, что от ушибу не был он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал

не прежде, как взяв с него честное слово на другой же день (и с Алексеем Ивановичем) приехать отобедать по-приятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости куцей кобылки.

Лиза выбежала навстречу Григорью Ивановичу. «Что это значит, папа? – сказала она с удивлением, – отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки?» – «Вот уж не угадаешь, my dear»[46], – отвечал ей Григорий Иванович и рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, не дав ей опомниться, объявил, что завтра будут у него обедать оба Берестовы. «Что вы говорите! – сказала она, побледнев. – Берестовы, отец и сын! Завтра у нас обедать! Нет, папа, как вам угодно: я ни за что не покажусь». – «Что ты, с ума сошла? – возразил отец, – давно ли ты стала так застенчива, или ты к ним питаешь наследственную ненависть, как романическая героиня? Полно, не дурачься…» – «Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед Берестовыми». Григорий Иванович пожал плечами и более с нею не спорил, ибо знал, что противоречием с нее ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки.

Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала Настю. Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышне свою Акулину? Какое мнение будет он иметь о ее поведении и правилах, о ее благоразумии? С другой стороны, Лизе очень хотелось видеть, какое впечатление произвело бы на него свидание столь неожиданное… Вдруг мелькнула ей мысль. Она тотчас передала ее Насте; обе обрадовались ей как находке и положили исполнить ее непременно.

На другой день за завтраком Григорий Иванович спросил у дочки, все ли намерена она спрятаться от Берестовых. «Папа, – отвечала Лиза, – я приму их, если это вам угодно, только с уговором: как бы я перед ними ни явилась, что б я ни сделала, вы бранить меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия». – «Опять какие-нибудь проказы! – сказал, смеясь, Григорий Иванович. – Ну, хорошо, хорошо; согласен, делай что хочешь, черноглазая моя шалунья». С этим словом он поцеловал ее в лоб, и Лиза побежала приготовляться.

В два часа ровно коляска домашней работы, запряженная шестью лошадьми, въехала на двор и покатилась около густо-зеленого дернового круга. Старый Берестов взошел на крыльцо с помощью двух ливрейных лакеев Муромского. Вслед за ним сын его приехал верхом и вместе с ним вошел в столовую, где стол

был уже накрыт. Муромский принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и повел по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренно жалел о потерянном труде и времени на столь бесполезные прихоти, но молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англомана; он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много наслышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.

Возвратясь в гостиную, они уселись втроем: старики вспомнили прежнее время и анекдоты своей службы, а Алексей размышлял о том, какую роль играть ему в присутствии Лизы. Он решил, что холодная рассеянность во всяком случае всего приличнее, и вследствие сего приготовился. Дверь отворилась, он повернул голову с таким равнодушием, с такою гордою небрежностию, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастию, вместо Лизы вошла старая мисс Жаксон, набеленная, затянутая, с потупленными глазами и с маленьким книксом, и прекрасное военное движение Алексеево пропало втуне. Не успел он снова собраться с силами, как дверь опять отворилась, и на сей раз вошла Лиза. Все встали; отец начал было представление гостей, но вдруг остановился и поспешно закусил себе губы…

Лиза, его смуглая Лиза, набелена была по уши, насурмлена пуще самой мисс Жаксон; фальшивые локоны, гораздо светлее собственных ее волос, взбиты были, как парик Людовика XIV; рукава à l'imbècile[47] торчали, как фижмы у Madame de Pompadour[48]; талия была перетянута, как буква икс, и все бриллианты ее матери, еще не заложенные в ломбарде, сияли на ее пальцах, шее и ушах. Алексей не мог узнать свою Акулину в этой смешной и блестящей барышне. Отец его подошел к ее ручке, и он с досадою ему последовал; когда прикоснулся он к ее беленьким пальчикам, ему показалось, что они дрожали. Между тем он успел заметить ножку, с намерением выставленную и обутую со всевозможным кокетством. Это помирило его несколько с остальным ее нарядом. Что касается до белил и до сурьмы, то в простоте своего сердца, признаться, он их с первого взгляда не заметил, да и после не подозревал. Григорий Иванович вспомнил свое обещание и старался не показать и виду удивления; но шалость его дочери казалась ему так забавна, что он едва мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что сурьма и белила были

похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их не замечает.

Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза жеманилась, говорила сквозь зубы, нараспев и только по-французски. Отец поминутно засматривался на нее, не понимая ее цели, но находя все это весьма забавным. Англичанка бесилась и молчала. Один Иван Петрович был как дома: ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и хохотал.

Наконец встали изо стола; гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. «Что тебе вздумалось дурачить их? – спросил он Лизу. – А знаешь ли что? Белилы, право, тебе пристали; не вхожу в тайны дамского туалета, но на твоем месте я бы стал белиться; разумеется, не слишком, а слегка». Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете и побежала умилостивлять раздраженную мисс Жаксон, которая насилу согласилась отпереть ей свою дверь и выслушать ее оправдания. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой чернавкою; она не смела просить… она была уверена, что добрая, милая мисс Жаксон простит ей… и проч., и проч. Мисс Жаксон, удостоверясь, что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в залог примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности.

Читатель догадается, что на другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. «Ты был, барин, вечор у наших господ? – сказала она тотчас Алексею, – какова показалась тебе барышня?» Алексей отвечал, что он ее не заметил. «Жаль», – возразила Лиза. «А почему же?» – спросил Алексей. «А потому, что я хотела бы спросить у тебя, правда ли, говорят…» – «Что же говорят?» – «Правда ли, говорят, будто бы я на барышню похожа?» – «Какой вздор! она перед тобой урод уродом». – «Ах, барин, грех тебе это говорить; барышня наша такая беленькая, такая щеголиха! Куда мне с нею равняться!» Алексей божился ей, что она лучше всевозможных беленьких барышен, и, чтоб успокоить ее совсем, начал описывать ее госпожу такими смешными чертами, что Лиза хохотала от души.

«Однако ж, – сказала она со вздохом, – хоть барышня, может, и смешна, все же я перед нею дура безграмотная». – «И! – сказал Алексей, – есть о чем сокрушаться! Да коли хочешь, я тотчас выучу тебя грамоте». – «А взаправду, – сказала Лиза, –

не попытаться ли и в самом деле?» – «Изволь, милая; начнем хоть сейчас». Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку, и Акулина выучилась азбуке удивительно скоро. Алексей не мог надивиться ее понятливости. На следующее утро она захотела попробовать и писать; сначала карандаш не слушался ее, но через несколько минут она и вырисовывать буквы стала довольно порядочно. «Что за чудо! – говорил Алексей. – Да у нас учение идет скорее, чем по ланкастерской системе»[49]. В самом деле, на третьем уроке Акулина разбирала уже по складам «Наталью – боярскую дочь»[50], прерывая чтение замечаниями, от которых Алексей истинно был в изумлении, и круглый лист измарала афоризмами, выбранными из той же повести.

Прошла неделя, и между ними завелась переписка. Почтовая контора учреждена была в дупле старого дуба. Настя втайне исправляла должность почталиона. Туда приносил Алексей крупным почерком написанные письма и там же находил на синей простой бумаге каракульки своей любезной. Акулина, видимо, привыкала к лучшему складу речей, и ум ее приметно развивался и образовывался.

Между тем недавнее знакомство между Иваном Петровичем Берестовым и Григорьем Ивановичем Муромским более и более укреплялось и вскоре превратилось в дружбу, вот по каким обстоятельствам: Муромский нередко думал о том, что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексею Ивановичу; что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых помещиков той губернии и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, с своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство (или, по его выражению, английскую дурь), однако ж не отрицал в нем и многих отличных достоинств, например: редкой оборотливости; Григорий Иванович был близкий родственник графу Пронскому, человеку знатному и сильному; граф мог быть очень полезен Алексею, а Муромский (так думал Иван Петрович), вероятно, обрадуется случаю выдать свою дочь выгодным образом. Старики до тех пор обдумывали все это каждый про себя, что наконец друг с другом и переговорились, обнялись, обещались дело порядком обработать и принялись о нем хлопотать каждый со своей стороны. Муромскому предстояло затруднение: уговорить свою Бетси познакомиться короче с Алексеем, которого не видала она с самого достопамятного обеда. Казалось, они друг другу не очень нравились; по крайней мере Алексей уже не возвращался в Прилучино, а Лиза уходила в свою комнату всякий раз,

как Иван Петрович удостоивал их своим посещением. Но, думал Григорий Иванович, если Алексей будет у меня всякий день, то Бетси должна же будет в него влюбиться. Это в порядке вещей. Время все сладит.

Иван Петрович менее беспокоился об успехе своих намерений. В тот же вечер призвал он сына в свой кабинет, закурил трубку и, немного помолчав, сказал: «Что же ты, Алеша, давно про военную службу не поговариваешь? Иль гусарский мундир уже тебя не прельщает!» – «Нет, батюшка, – отвечал почтительно Алексей, – я вижу, что вам не угодно, чтоб я шел в гусары; мой долг вам повиноваться». – «Хорошо, – отвечал Иван Петрович, – вижу, что ты послушный сын; это мне утешительно; не хочу ж и я тебя неволить; не понуждаю тебя вступить… тотчас… в статскую службу; а покамест намерен я тебя женить».

– На ком это, батюшка? – спросил изумленный Алексей.

– На Лизавете Григорьевне Муромской, – отвечал Иван Петрович, – невеста хоть куда; не правда ли?

– Батюшка, я о женитьбе еще не думаю.

– Ты не думаешь, так я за тебя думал и передумал.

– Воля ваша, Лиза Муромская мне вовсе не нравится.

– После понравится. Стерпится, слюбится.

– Я не чувствую себя способным сделать ее счастие.

– Не твое горе – ее счастие. Что? так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро!

– Как вам угодно, я не хочу жениться и не женюсь.

– Ты женишься, или я тебя прокляну, а имение, как бог свят! продам и промотаю, и тебе полушки не оставлю. Даю тебе три дня на размышление, а покамест не смей на глаза мне показаться.

Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того, по выражению Тараса Скотинина[51], у него и гвоздем не вышибешь; но Алексей был в батюшку, и его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Лизавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и наконец об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблен; романическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сем решительном поступке, тем более находил в нем благоразумия. С некоторого времени свидания в роще были прекращены по причине дождливой погоды. Он написал Акулине письмо самым четким почерком и самым бешеным слогом, объявлял ей о грозящей им погибели, и тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, в дупло, и лег спать весьма довольный собою.

На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к Муромскому, дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрекнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. «Дома ли Григорий Иванович?» – спросил он, останавливая свою лошадь перед крыльцом прилучинского замка. «Никак нет, – отвечал слуга, – Григорий Иванович с утра изволил выехать». – «Как досадно!» – подумал Алексей. «Дома ли, по крайней мере, Лизавета Григорьевна?» – «Дома-с». И Алексей спрыгнул с лошади, отдал поводья в руки лакею и пошел без доклада.

«Все будет решено, – думал он, подходя к гостиной, – объяснюсь с нею самою». Он вошел… и остолбенел! Лиза… нет, Акулина, милая смуглая Акулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо; она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Лиза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. «Акулина, Акулина!..» Лиза старалась от него освободиться… «Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou?»[52] – повторяла она, отворачиваясь. «Акулина! друг мой, Акулина!» – повторял он, целуя ее руки. Мисс Жаксон, свидетельница этой сцены, не знала, что подумать. В эту минуту дверь отворилась, и Григорий Иванович вошел.

«Ага! – сказал Муромский, – да у вас, кажется, дело совсем уже слажено…»

Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.

Конец повестям И. П. Белкина

Михаил Юрьевич Лермонтов
1814–1841

Мцыри [53]

Вкушая, вкусих мало меда,
и се аз умираю.

1-я Книга Царств

1

Немного лет тому назад,
Там, где сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь. Из-за горы
И нынче видит пешеход
Столбы обрушенных ворот,
И башни, и церковный свод;
Но не курится уж под ним
Кадильниц благовонный дым,
Не слышно пенье в поздний час
Молящих иноков за нас.
Теперь один старик седой,
Развалин страж полуживой,
Людьми и смертию забыт,
Сметает пыль с могильных плит,
Которых надпись говорит
О славе прошлой – и о том,
Как, удручен своим венцом,
Такой-то царь, в такой-то год,
Вручал России свой народ.

И Божья благодать сошла
На Грузию! – она цвела
С тех пор в тени своих садов,

Не опасаяся врагов,
За гранью дружеских штыков.

2

Однажды русский генерал
Из гор к Тифлису проезжал;
Ребенка пленного он вез.
Тот занемог, не перенес
Трудов далекого пути;
Он был, казалось, лет шести;
Как серна гор, пуглив и дик
И слаб и гибок, как тростник.
Но в нем мучительный недуг
Развил тогда могучий дух
Его отцов. Без жалоб он
Томился, даже слабый стон
Из детских губ не вылетал,
Он знаком пищу отвергал
И тихо, гордо умирал.
Из жалости один монах
Больного призрел, и в стенах
Хранительных остался он,
Искусством дружеским спасен.
Но, чужд ребяческих утех,
Сначала бегал он от всех,
Бродил безмолвен, одинок,
Смотрел, вздыхая, на восток,
Томим неясною тоской
По стороне своей родной.
Но после к плену он привык,
Стал понимать чужой язык,
Был окрещен святым отцом
И, с шумным светом незнаком,
Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.
Три дня все поиски по нем
Напрасны были, но потом
Его в степи без чувств нашли

И вновь в обитель принесли,
Он страшно бледен был и худ
И слаб, как будто долгий труд,
Болезнь иль голод испытал.
Он на допрос не отвечал
И с каждым днем приметно вял.
И близок стал его конец.
Тогда пришел к нему чернец
С увещеваньем и мольбой;
И, гордо выслушав, больной
Привстал, собрав остаток сил,
И долго так он говорил:

3

«Ты слушать исповедь мою
Сюда пришел, благодарю.
Всё лучше перед кем-нибудь
Словами облегчить мне грудь;
Но людям я не делал зла,
И потому мои дела
Немного пользы вам узнать, –
А душу можно ль рассказать?
Я мало жил, и жил в плену.
Таких две жизни за одну,
Но только полную тревог,
Я променял бы, если б мог.
Я знал одной лишь думы власть,
Одну – но пламенную страсть:
Она, как червь, во мне жила,
Изгрызла душу и сожгла.
Она мечты мои звала
От келий душных и молитв
В тот чудный мир тревог и битв,
Где в тучах прячутся скалы,
Где люди вольны, как орлы.
Я эту страсть во тьме ночной
Вскормил слезами и тоской;
Ее пред небом и землей
Я ныне громко признаю
И о прощенье не молю.

4

Старик! я слышал много раз,
Что ты меня от смерти спас –
Зачем?.. угрюм и одинок,
Грозой оторванный листок,
Я вырос в сумрачных стенах,
Душой дитя, судьбой монах.
Я никому не мог сказать
Священных слов – «отец» и «мать».
Конечно, ты хотел, старик,
Чтоб я в обители отвык
От этих сладостных имен, –
Напрасно: звук их был рожден
Со мной. Я видел у других
Отчизну, дом, друзей, родных,
А у себя не находил
Не только милых душ – могил!
Тогда, пустых не тратя слез,
В душе я клятву произнес:
Хотя на миг когда-нибудь
Мою пылающую грудь
Прижать с тоской к груди другой,
Хоть незнакомой, но родной.
Увы! теперь мечтанья те
Погибли в полной красоте,
И я, как жил, в земле чужой
Умру рабом и сиротой.

5

Меня могила не страшит:
Там, говорят, страданье спит
В холодной, вечной тишине;
Но с жизнью жаль расстаться мне.
Я молод, молод… Знал ли ты
Разгульной юности мечты?
Или не знал, или забыл,
Как ненавидел и любил;
Как сердце билося живей
При виде солнца и полей
С высокой башни угловой,

Где воздух свеж и где порой
В глубокой скважине стены,
Дитя неведомой страны,
Прижавшись, голубь молодой
Сидит, испуганный грозой?
Пускай теперь прекрасный свет
Тебе постыл: ты слаб, ты сед,
И от желаний ты отвык.
Что за нужда? Ты жил, старик!
Тебе есть в мире что забыть,
Ты жил, – я также мог бы жить!

6

Ты хочешь знать, что видел я
На воле? – Пышные поля,
Холмы, покрытые венцом
Дерев, разросшихся кругом,
Шумящих свежею толпой,
Как братья, в пляске круговой.
Я видел груды темных скал,
Когда поток их разделял,
И думы их я угадал:
Мне было свыше то дано!
Простерты в воздухе давно
Объятья каменные их,
И жаждут встречи каждый миг;
Но дни бегут, бегут года –
Им не сойтиться никогда!
Я видел горные хребты,
Причудливые, как мечты,
Когда в час утренней зари
Курилися, как алтари,
Их выси в небе голубом,
И облачко за облачком,
Покинув тайный свой ночлег,
К востоку направляло бег –
Как будто белый караван
Залетных птиц из дальних стран!
В дали я видел сквозь туман,
В снегах, горящих как алмаз,
Седой, незыблемый Кавказ;

И было сердцу моему
Легко, не знаю почему.
Мне тайный голос говорил,
Что некогда и я там жил,
И стало в памяти моей
Прошедшее ясней, ясней…

7

И вспомнил я отцовский дом,
Ущелье наше, и кругом
В тени рассыпанный аул;
Мне слышался вечерний гул
Домой бегущих табунов
И дальний лай знакомых псов.
Я помнил смуглых стариков,
При свете лунных вечеров
Против отцовского крыльца
Сидевших с важностью лица;
И блеск оправленных ножон
Кинжалов длинных… и, как сон,
Всё это смутной чередой
Вдруг пробегало предо мной.
А мой отец? он как живой
В своей одежде боевой
Являлся мне, и помнил я
Кольчуги звон, и блеск ружья,
И гордый непреклонный взор,
И молодых моих сестер…
Лучи их сладостных очей
И звук их песен и речей
Над колыбелию моей…
В ущелье там бежал поток,
Он шумен был, но не глубок;
К нему, на золотой песок,
Играть я в полдень уходил
И взором ласточек следил,
Когда они, перед дождем,
Волны касалися крылом.
И вспомнил я наш мирный дом
И пред вечерним очагом
Рассказы долгие о том,

Как жили люди прежних дней,
Когда был мир еще пышней.

8

Ты хочешь знать, что делал я
На воле? Жил – и жизнь моя
Без этих трех блаженных дней
Была б печальней и мрачней
Бессильной старости твоей.
Давным-давно задумал я
Взглянуть на дальние поля,
Узнать, прекрасна ли земля,
Узнать, для воли иль тюрьмы
На этот свет родимся мы.
И в час ночной, ужасный час,
Когда гроза пугала вас,
Когда, столпясь при алтаре,
Вы ниц лежали на земле,
Я убежал. О, я как брат
Обняться с бурей был бы рад!
Глазами тучи я следил,
Рукою молнию ловил…
Скажи мне, что средь этих стен
Могли бы дать вы мне взамен
Той дружбы краткой, но живой,
Меж бурным сердцем и грозой?..

9

Бежал я долго – где, куда,
Не знаю! ни одна звезда
Не озаряла трудный путь.
Мне было весело вдохнуть
В мою измученную грудь
Ночную свежесть тех лесов,
И только! Много я часов
Бежал, и наконец, устав,
Прилег между высоких трав;
Прислушался: погони нет.

Гроза утихла. Бледный свет
Тянулся длинной полосой
Меж темным небом и землей,
И различал я, как узор,
На ней зубцы далеких гор;
Недвижим, молча я лежал.
Порой в ущелии шакал
Кричал и плакал, как дитя,
И гладкой чешуей блестя,
Змея скользила меж камней;
Но страх не сжал души моей:
Я сам, как зверь, был чужд людей
И полз и прятался, как змей.

10

Внизу глубоко подо мной
Поток, усиленный грозой,
Шумел, и шум его глухой
Сердитых сотне голосов
Подобился. Хотя без слов
Мне внятен был тот разговор,
Немолчный ропот, вечный спор
С упрямой грудою камней.
То вдруг стихал он, то сильней
Он раздавался в тишине;
И вот, в туманной вышине
Запели птички, и восток
Озолотился; ветерок
Сырые шевельнул листы;
Дохнули сонные цветы,
И, как они, навстречу дню
Я поднял голову мою…
Я осмотрелся; не таю:
Мне стало страшно; на краю
Грозящей бездны я лежал,
Где выл, крутясь, сердитый вал;
Туда вели ступени скал;
Но лишь злой дух по ним шагал,
Когда, низверженный с небес,
В подземной пропасти исчез.

11

Кругом меня цвел Божий сад;
Растений радужный наряд
Хранил следы небесных слез,
И кудри виноградных лоз
Вились, красуясь меж дерев
Прозрачной зеленью листов;
И грозды полные на них,
Серег подобье дорогих,
Висели пышно, и порой
К ним птиц летал пугливый рой.
И снова я к земле припал
И снова вслушиваться стал
К волшебным, странным голосам;
Они шептались по кустам,
Как будто речь свою вели
О тайнах неба и земли;
И все природы голоса
Сливались тут; не раздался
В торжественный хваленья час
Лишь человека гордый глас.
Всё, что я чувствовал тогда,
Те думы – им уж нет следа;
Но я б желал их рассказать,
Чтоб жить, хоть мысленно, опять.
В то утро был небесный свод
Так чист, что ангела полет
Прилежный взор следить бы мог;
Он так прозрачно был глубок,
Так полон ровной синевой!
Я в нем глазами и душой
Тонул, пока полдневный зной
Мои мечты не разогнал,
И жаждой я томиться стал.

12

Тогда к потоку с высоты,
Держась за гибкие кусты,
С плиты на плиту я, как мог,
Спускаться начал. Из-под ног

Сорвавшись, камень иногда
Катился вниз – за ним бразда
Дымилась, прах вился столбом;
Гудя и прыгая, потом
Он поглощаем был волной;
И я висел над глубиной,
Но юность вольная сильна,
И смерть казалась не страшна!
Лишь только я с крутых высот
Спустился, свежесть горных вод
Повеяла навстречу мне,
И жадно я припал к волне.
Вдруг – голос – легкий шум шагов…
Мгновенно скрывшись меж кустов,
Невольным трепетом объят,
Я поднял боязливый взгляд
И жадно вслушиваться стал:
И ближе, ближе все звучал
Грузинки голос молодой,
Так безыскусственно живой,
Так сладко вольный, будто он
Лишь звуки дружеских имен
Произносить был приучен.
Простая песня то была,
Но в мысль она мне залегла,
И мне, лишь сумрак настает,
Незримый дух ее поет.

13

Держа кувшин над головой,
Грузинка узкою тропой
Сходила к берегу. Порой
Она скользила меж камней,
Смеясь неловкости своей.
И беден был ее наряд;
И шла она легко, назад
Изгибы длинные чадры
Откинув. Летние жары
Покрыли тенью золотой
Лицо и грудь ее; и зной
Дышал от уст ее и щек.

И мрак очей был так глубок,
Так полон тайнами любви,
Что думы пылкие мои
Смутились. Помню только я
Кувшина звон, – когда струя
Вливалась медленно в него,
И шорох… больше ничего.
Когда же я очнулся вновь
И отлила от сердца кровь,
Она была уж далеко;
И шла, хоть тише, – но легко,
Стройна под ношею своей,
Как тополь, царь ее полей!
Недалеко, в прохладной мгле,
Казалось, приросли к скале
Две сакли дружною четой;
Над плоской кровлею одной
Дымок струился голубой.
Я вижу будто бы теперь,
Как отперлась тихонько дверь…
И затворилася опять!..
Тебе, я знаю, не понять
Мою тоску, мою печаль;
И если б мог, – мне было б жаль:
Воспоминанья тех минут
Во мне, со мной пускай умрут.

14

Трудами ночи изнурен,
Я лег в тени. Отрадный сон
Сомкнул глаза невольно мне…
И снова видел я во сне
Грузинки образ молодой.
И странной, сладкою тоской
Опять моя заныла грудь.
Я долго силился вздохнуть –
И пробудился. Уж луна
Вверху сияла, и одна
Лишь тучка кралася за ней,
Как за добычею своей,
Объятья жадные раскрыв.

Мир темен был и молчалив;
Лишь серебристой бахромой
Вершины цепи снеговой
Вдали сверкали предо мной
Да в берега плескал поток.
В знакомой сакле огонек
То трепетал, то снова гас:
На небесах в полночный час
Так гаснет яркая звезда!
Хотелось мне… но я туда
Взойти не смел. Я цель одну –
Пройти в родимую страну –
Имел в душе, – и превозмог
Страданье голода, как мог.
И вот дорогою прямой
Пустился, робкий и немой.
Но скоро в глубине лесной
Из виду горы потерял
И тут с пути сбиваться стал.

15

Напрасно в бешенстве, порой,
Я рвал отчаянной рукой
Терновник, спутанный плющом:
Все лес был, вечный лес кругом,
Страшней и гуще каждый час;
И миллионом черных глаз
Смотрела ночи темнота
Сквозь ветви каждого куста…
Моя кружилась голова;
Я стал влезать на дерева;
Но даже на краю небес
Все тот же был зубчатый лес.
Тогда на землю я упал;
И в исступлении рыдал,
И грыз сырую грудь земли,
И слезы, слезы потекли
В нее горючею росой…
Но верь мне, помощи людской
Я не желал… Я был чужой
Для них навек, как зверь степной;

И если б хоть минутный крик
Мне изменил – клянусь, старик,
Я б вырвал слабый мой язык.

16

Ты помнишь детские года:
Слезы не знал я никогда;
Но тут я плакал без стыда.
Кто видеть мог? Лишь темный лес
Да месяц, плывший средь небес!
Озарена его лучом,
Покрыта мохом и песком,
Непроницаемой стеной
Окружена, передо мной
Была поляна. Вдруг по ней
Мелькнула тень, и двух огней
Промчались искры… и потом
Какой-то зверь одним прыжком
Из чащи выскочил и лег,
Играя, навзничь на песок.
То был пустыни вечный гость –
Могучий барс. Сырую кость
Он грыз и весело визжал;
То взор кровавый устремлял,
Мотая ласково хвостом,
На полный месяц, – и на нем
Шерсть отливалась серебром.
Я ждал, схватив рогатый сук,
Минуту битвы; сердце вдруг
Зажглося жаждою борьбы
И крови… да, рука судьбы
Меня вела иным путем…
Но нынче я уверен в том,
Что быть бы мог в краю отцов
Не из последних удальцов.

17

Я ждал. И вот в тени ночной

Врага почуял он, и вой
Протяжный, жалобный, как стон,
Раздался вдруг… и начал он
Сердито лапой рыть песок,
Встал на дыбы, потом прилег,
И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил…
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Надежный сук мой, как топор,
Широкий лоб его рассек…
Он застонал, как человек,
И опрокинулся. Но вновь,
Хотя лила из раны кровь
Густой, широкою волной,
Бой закипел, смертельный бой!

18

Ко мне он кинулся на грудь;
Но в горло я успел воткнуть
И там два раза повернуть
Мое оружье… Он завыл,
Рванулся из последних сил,
И мы, сплетясь, как пара змей,
Обнявшись крепче двух друзей,
Упали разом, и во мгле
Бой продолжался на земле.
И я был страшен в этот миг;
Как барс пустынный, зол и дик.
Я пламенел, визжал, как он;
Как будто сам я был рожден
В семействе барсов и волков
Под свежим пологом лесов.
Казалось, что слова людей
Забыл я – и в груди моей
Родился тот ужасный крик,
Как будто с детства мой язык
К иному звуку не привык…
Но враг мой стал изнемогать,
Метаться, медленней дышать,
Сдавил меня в последний раз…

Зрачки его недвижных глаз
Блеснули грозно – и потом
Закрылись тихо вечным сном;
Но с торжествующим врагом
Он встретил смерть лицом к лицу,
Как в битве следует бойцу!..

19

Ты видишь на груди моей
Следы глубокие когтей;
Еще они не заросли
И не закрылись; но земли
Сырой покров их освежит
И смерть навеки заживит.
О них тогда я позабыл,
И, вновь собрав остаток сил,
Побрел я в глубине лесной…
Но тщетно спорил я с судьбой:
Она смеялась надо мной!

20

Я вышел из лесу. И вот
Проснулся день, и хоровод
Светил напутственных исчез
В его лучах. Туманный лес
Заговорил. Вдали аул
Куриться начал. Смутный гул
В долине с ветром пробежал…
Я сел и вслушиваться стал;
Но смолк он вместе с ветерком.
И кинул взоры я кругом:
Тот край, казалось, мне знаком.
И страшно было мне, понять
Не мог я долго, что опять
Вернулся я к тюрьме моей;
Что бесполезно столько дней
Я тайный замысел ласкал,
Терпел, томился и страдал,

И всё зачем?.. Чтоб в цвете лет,
Едва взглянув на Божий свет,
При звучном ропоте дубрав
Блаженство вольности познав,
Унесть в могилу за собой
Тоску по родине святой,
Надежд обманутых укор
И вашей жалости позор!..
Еще в сомненье погружен,
Я думал – это страшный сон…
Вдруг дальний колокола звон
Раздался снова в тишине –
И тут все ясно стало мне…
О! я узнал его тотчас!
Он с детских глаз уже не раз
Сгонял виденья снов живых
Про милых ближних и родных,
Про волю дикую степей,
Про легких, бешеных коней,
Про битвы чудные меж скал,
Где всех один я побеждал!..
И слушал я без слез, без сил.
Казалось, звон тот выходил
Из сердца – будто кто-нибудь
Железом ударял мне в грудь.
И смутно понял я тогда,
Что мне на родину следа
Не проложить уж никогда.

21

Да, заслужил я жребий мой!
Могучий конь в степи чужой,
Плохого сбросив седока,
На родину издалека
Найдет прямой и краткий путь…
Что я пред ним? Напрасно грудь
Полна желаньем и тоской:
То жар бессильный и пустой,
Игра мечты, болезнь ума.
На мне печать свою тюрьма
Оставила… Таков цветок

Темничный: вырос одинок
И бледен он меж плит сырых,
И долго листьев молодых
Не распускал, все ждал лучей
Живительных. И много дней
Прошло, и добрая рука
Печалью тронулась цветка,
И был он в сад перенесен,
В соседство роз. Со всех сторон
Дышала сладость бытия…
Но что ж? Едва взошла заря,
Палящий луч ее обжег
В тюрьме воспитанный цветок…

22

И как его, палил меня
Огонь безжалостного дня.
Напрасно прятал я в траву
Мою усталую главу;
Иссохший лист ее венцом
Терновым над моим челом
Свивался, и в лицо огнем
Сама земля дышала мне.
Сверкая быстро в вышине,
Кружились искры; с белых скал
Струился пар. Мир божий спал
В оцепенении глухом
Отчаянья тяжелым сном.
Хотя бы крикнул коростель,
Иль стрекозы живая трель
Послышалась, или ручья
Ребячий лепет… Лишь змея,
Сухим бурьяном шелестя,
Сверкая желтою спиной,
Как будто надписью златой
Покрытый донизу клинок,
Браздя рассыпчатый песок,
Скользила бережно; потом,
Играя, нежася на нем,
Тройным свивалася кольцом;
То, будто вдруг обожжена,

Металась, прыгала она
И в дальних пряталась кустах…

23

И было всё на небесах
Светло и тихо. Сквозь пары
Вдали чернели две горы.
Наш монастырь из-за одной
Сверкал зубчатою стеной.
Внизу Арагва и Кура,
Обвив каймой из серебра
Подошвы свежих островов,
По корням шепчущих кустов
Бежали дружно и легко…
До них мне было далеко!
Хотел я встать – передо мной
Всё закружилось с быстротой;
Хотел кричать – язык сухой
Беззвучен и недвижим был…
Я умирал. Меня томил
Предсмертный бред.
Казалось мне,
Что я лежу на влажном дне
Глубокой речки – и была
Кругом таинственная мгла.
И, жажду вечную поя,
Как лед холодная струя,
Журча, вливалася мне в грудь…
И я боялся лишь заснуть, –
Так было сладко, любо мне…
А надо мною в вышине
Волна теснилася к волне
И солнце сквозь хрусталь волны
Сияло сладостней луны…
И рыбок пестрые стада
В лучах играли иногда.
И помню я одну из них:
Она приветливей других
Ко мне ласкалась. Чешуей
Была покрыта золотой
Ее спина. Она вилась

Над головой моей не раз,
И взор ее зеленых глаз
Был грустно нежен и глубок…
И надивиться я не мог:
Ее сребристый голосок
Мне речи странные шептал,
И пел, и снова замолкал.
Он говорил: «Дитя мое,
Останься здесь со мной:
В воде привольное житье
И холод и покой.

* * *

Я созову моих сестер:
Мы пляской круговой
Развеселим туманный взор
И дух усталый твой.

* * *

Усни, постель твоя мягка,
Прозрачен твой покров.
Пройдут года, пройдут века
Под говор чудных снов.

* * *

О милый мой! не утаю,
Что я тебя люблю,
Люблю как вольную струю,
Люблю как жизнь мою…»
И долго, долго слушал я;
И мнилось, звучная струя
Сливала тихий ропот свой
С словами рыбки золотой.
Тут я забылся. Божий свет
В глазах угас. Безумный бред

Бессилью тела уступил…

24

Так я найдён и поднят был…
Ты остальное знаешь сам.
Я кончил. Верь моим словам
Или не верь, мне всё равно.
Меня печалит лишь одно:
Мой труп холодный и немой
Не будет тлеть в земле родной,
И повесть горьких мук моих
Не призовет меж стен глухих
Вниманье скорбное ничье
На имя темное мое.

25

Прощай, отец… дай руку мне:
Ты чувствуешь, моя в огне…
Знай, этот пламень с юных дней,
Таяся, жил в груди моей;
Но ныне пищи нет ему,
И он прожег свою тюрьму
И возвратится вновь к тому,
Кто всем законной чередой
Дает страданье и покой…
Но что мне в том? – пускай в раю,
В святом, заоблачном краю
Мой дух найдет себе приют…
Увы! – за несколько минут
Между крутых и темных скал,
Где я в ребячестве играл,
Я б рай и вечность променял…

26

Когда я стану умирать,

И, верь, тебе не долго ждать, –
Ты перенесть меня вели
В наш сад, в то место, где цвели
Акаций белых два куста…
Трава меж ними так густа,
И свежий воздух так душист,
И так прозрачно-золотист
Играющий на солнце лист!
Там положить вели меня.
Сияньем голубого дня
Упьюся я в последний раз.
Оттуда виден и Кавказ!
Быть может, он с своих высот
Привет прощальный мне пришлет,
Пришлет с прохладным ветерком…
И близ меня перед концом
Родной опять раздастся звук!
И стану думать я, что друг
Иль брат, склонившись надо мной,
Отер внимательной рукой
С лица кончины хладный пот
И что вполголоса поет
Он мне про милую страну…
И с этой мыслью я засну,
И никого не прокляну!..»

Песня про царя Ивана Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Про тебя нашу песню сложили мы,
Про твово любимого опричника
Да про смелого купца, про Калашникова;
Мы сложили ее на старинный лад,
Мы певали ее под гуслярный звон
И причитывали да присказывали.
Православный народ ею тешился,
А боярин Матвей Ромодановский
Нам чарку поднес меду пенного,
А боярыня его белолицая
Поднесла нам на блюде серебряном
Полотенце новое, шелком шитое.
Угощали нас три дни, три ночи

И всё слушали, не наслушались.

I

Не сияет на небе солнце красное,
Не любуются им тучки синие:
То за трапезой сидит во златом венце,
Сидит грозный царь Иван Васильевич.
Позади его стоят стольники,
Супротив его всё бояре да князья,
По бокам его всё опричники;
И пирует царь во славу божию,
В удовольствие свое и веселие.

Улыбаясь, царь повелел тогда
Вина сладкого заморского
Нацедить в свой золоченый ковш
И поднесть его опричникам.
– И все пили, царя славили.

Лишь один из них, из опричников,
Удалой боец, буйный молодец,
В золотом ковше не мочил усов;
Опустил он в землю очи темные,
Опустил головушку на широку грудь –
А в груди его была дума крепкая.

Вот нахмурил царь брови черные
И навел на него очи зоркие,
Словно ястреб взглянул с высоты небес
На младого голубя сизокрылого, –
Да не поднял глаз молодой боец.
Вот об землю царь стукнул палкою,
И дубовый пол на полчетверти
Он железным пробил оконечником –
Да не вздрогнул и тут молодой боец.
Вот промолвил царь слово грозное –
И очнулся тогда добрый молодец.

«Гей ты, верный наш слуга, Кирибеевич,
Аль ты думу затаил нечестивую?
Али славе нашей завидуешь?

Али служба тебе честная прискучила?
Когда входит месяц – звезды радуются,
Что светлей им гулять по поднебесью;
А которая в тучку прячется,
Та стремглав на землю падает…
Неприлично же тебе, Кирибеевич,
Царской радостью гнушатися;
А из роду ты ведь Скуратовых,
И семьею ты вскормлен Малютиной!..»

Отвечает так Кирибеевич,
Царю грозному в пояс кланяясь:

«Государь ты наш, Иван Васильевич!
Не кори ты раба недостойного:
Сердца жаркого не залить вином,
Думу черную – не запотчевать!
А прогневал тебя – воля царская;
Прикажи казнить, рубить голову,
Тяготит она плечи богатырские,
И сама к сырой земле она клонится».

И сказал ему царь Иван Васильевич:
«Да об чем тебе, молодцу, кручиниться?
Не истерся ли твой парчевой кафтан?
Не измялась ли шапка соболиная?
Не казна ли у тебя поистратилась?
Иль зазубрилась сабля закаленная?
Или конь захромал, худо кованный?
Или с ног тебя сбил на кулачном бою,
На Москве-реке, сын купеческий?»

Отвечает так Кирибеевич,
Покачав головою кудрявою:

«Не родилась та рука заколдованная
Ни в боярском роду, ни в купеческом;
Аргамак мой степной ходит весело;
Как стекло, горит сабля вострая;
А на праздничный день твоей милостью
Мы не хуже другого нарядимся.

Как я сяду поеду на лихом коне
За Москву-реку покатитися,

Кушачком подтянуся шелковым,
Заломлю на бочок шапку бархатную,
Черным соболем отороченную, –
У ворот стоят у тесовыих
Красны девушки да молодушки
И любуются, глядя, перешептываясь;
Лишь одна не глядит, не любуется,
Полосатой фатой закрывается…

На святой Руси, нашей матушке,
Не найти, не сыскать такой красавицы:
Ходит плавно – будто лебедушка;
Смотрит сладко – как голубушка;
Молвит слово – соловей поет;
Горят щеки ее румяные,
Как заря на небе божием;
Косы русые, золотистые,
В ленты яркие заплетенные,
По плечам бегут, извиваются.
С грудью белою цалуются.
Во семье родилась она купеческой,
Прозывается Аленой Дмитревной.

Как увижу ее, я и сам не свой:
Опускаются руки сильные,
Помрачаются очи бойкие;
Скучно, грустно мне, православный царь,
Одному по свету маяться.
Опостыли мне кони легкие,
Опостыли наряды парчовые,
И не надо мне золотой казны:
С кем казною своей поделюсь теперь?
Перед кем покажу удальство свое?
Перед кем я нарядом похвастаюсь?
Отпусти меня в степи приволжские,
На житье на вольное, на казацкое.
Уж сложу я там буйную головушку
И сложу на копье бусурманское;
И разделят по себе злы татаровья
Коня доброго, саблю острую
И седельце браное черкасское.
Мои очи слезные коршун выклюет,
Мои кости сирые дождик вымоет,
И без похорон горемычный прах

На четыре стороны развеется!..»

И сказал, смеясь, Иван Васильевич:
«Ну, мой верный слуга! я твоей беде,
Твоему горю пособить постараюся.
Вот возьми перстенек ты мой яхонтовый
Да возьми ожерелье жемчужное.
Прежде свахе смышленой покланяйся
И пошли дары драгоценные
Ты своей Алене Дмитревне:
Как полюбишься – празднуй свадебку,
Не полюбишься – не прогневайся».

Ох ты гой еси, царь Иван Васильевич!
Обманул тебя твой лукавый раб,
Не сказал тебе правды истинной,
Не поведал тебе, что красавица
В церкви божией перевенчана,
Перевенчана с молодым купцом
По закону нашему христианскому…

* * *

Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

II

За прилавкою сидит молодой купец,
Статный молодец Степан Парамонович,
По прозванию Калашников;
Шелковые товары раскладывает,
Речью ласковой гостей он заманивает,
Злато, серебро пересчитывает,
Да недобрый день задался ему:
Ходят мимо баре богатые,
В его лавочку не заглядывают.

Отзвонили вечерню во святых церквах;
За Кремлем горит заря туманная;
Набегают тучки на небо, –
Гонит их метелица распеваючи;
Опустел широкий гостиный двор,
Запирает Степан Парамонович
Свою лавочку дверью дубовою
Да замком немецким со пружиною;
Злого пса-ворчуна зубастого
На железную цепь привязывает,
И пошел он домой, призадумавшись,
К молодой хозяйке, за Москву-реку.

И приходит он в свой высокий дом,
И дивится Степан Парамонович:
Не встречает его молода жена,
Не накрыт дубовый стол белой скатертью,
А свеча перед образом еле теплится.
И кличет он старую работницу:
«Ты скажи, скажи, Еремеевна,
А куда девалась, затаилася
В такой поздний час Алена Дмитревна?
А что детки мои любезные –
Чай забегались, заигралися,
Спозаранку спать уложилися?»

«Господин ты мой, Степан Парамонович!
Я скажу тебе диво дивное:
Что к вечерне пошла Алена Дмитревна;
Вот уж поп прошел с молодой попадьей,
Засветили свечу, сели ужинать, –
А по сю пору твоя хозяюшка
Из приходской церкви не вернулася.
А что детки твои малые
Почивать не легли, не играть пошли –
Плачем плачут, все не унимаются».

И смутился тогда думой крепкою
Молодой купец Калашников;
И он стал к окну, глядит на улицу –
А на улице ночь темнехонька;
Валит белый снег, расстилается,
Заметает след человеческий.

Вот он слышит, в сенях дверью хлопнули,
Потом слышит шаги торопливые;
Обернулся, глядит – сила крестная! –
Перед ним стоит молода жена,
Сама бледная, простоволосая,
Косы русые расплетенные
Снегом-инеем пересыпаны;
Смотрят очи мутные, как безумные;
Уста шепчут речи непонятные.

«Уж ты где, жена, жена шаталася?
На каком подворье, на площади,
Что растрепаны твои волосы,
Что одéжа твоя вся изорвана?
Уж гуляла ты, пировала ты,
Чай, с сынками все боярскими?..
Не на то пред святыми иконами
Мы с тобой, жена, обручалися,
Золотыми кольцами менялися!..
Как запру я тебя за железный замок,
За дубовою дверь окованную,
Чтобы свету божьего ты не видела,
Моя имя честное не порочила…»

И услышав то, Алена Дмитревна
Задрожала вся, моя голубушка,
Затряслась, как листочек осиновый,
Горько-горько она восплакалась,
В ноги мужу повалилася.

«Государь ты мой, красно солнышко,
Иль убей меня, или выслушай!
Твои речи – будто острый нож;
От них сердце разрывается.
Не боюся смерти лютыя,
Не боюся я людской молвы,
А боюсь твоей немилости.

От вечерни домой шла я нонече
Вдоль по улице одинешенька.
И послышалось мне, будто снег хрустит;
Оглянулася – человек бежит.
Мои ноженьки подкосилися,
Шелковой фатой я закрылася.

И он сильно схватил меня за руки
И сказал мне так тихим шепотом:
«Что пужаешься, красная красавица?
Я не вор какой, душегуб лесной,
Я слуга царя, царя грозного,
Прозываюся Кирибеевичем,
А из славной семьи из Малютиной…»

Испугалась я пуще прежнего;
Закружилась моя бедная головушка.
И он стал меня цаловать-ласкать
И, цалуя, все приговаривал:
«Отвечай мне, чего тебе надобно,
Моя милая, драгоценная!
Хочешь золота али жемчугу?
Хочешь ярких камней аль цветной парчи?
Как царицу я наряжу тебя,
Станут все тебе завидовать,
Лишь не дай мне умереть смертью грешною;
Полюби меня, обними меня
Хоть единый раз на прощание!»

И ласкал он меня, цаловал меня;
На щеках моих и теперь горят,
Живым пламенем разливаются
Поцалуи его окаянные…
А смотрели в калитку соседушки,
Смеючись, на нас пальцем показывали…

Как из рук его я рванулася
И домой стремглав бежать бросилась,
И остались в руках у разбойника
Мой узорный платок, твой подарочек,
И фата моя бухарская.
Опозорил он, осрамил меня,
Меня честную, непорочную, –
И что скажут злые соседушки?
И кому на глаза покажусь теперь?

Ты не дай меня, свою верную жену,
Злым охульникам в поругание!
На кого, кроме тебя, мне надеяться?
У кого просить стану помощи?
На белом свете я сиротинушка:

Родной батюшка уж в сырой земле,
Рядом с ним лежит моя матушка,
А мой старший брат, ты сам ведаешь,
На чужой сторонушке пропал без вести,
А меньшой мой брат – дитя малое,
Дитя малое, неразумное…»

Говорила так Алена Дмитревна,
Горючими слезами заливалася.

Посылает Степан Парамонович
За двумя меньшими братьями;
И пришли его два брата, поклонилися
И такое слово ему молвили:
«Ты поведай нам, старшой наш брат,
Что с тобой случилось, приключилося,
Что послал ты за нами во темную ночь,
Во темную ночь морозную?»

«Я скажу вам, братцы любезные,
Что лиха беда со мною приключилася:
Опозорил семью нашу честную
Злой опричник царский Кирибеевич;
А такой обиды не стерпеть душе
Да не вынести сердцу молодецкому.
Уж как завтра будет кулачный бой
На Москве-реке при самом царе,
И я выйду тогда на опричника,
Буду насмерть биться, до последних сил;
А побьет он меня – выходите вы
За святую правду-матушку.
Не сробейте, братцы любезные!
Вы моложе меня, свежéй силою,
На вас меньше грехов накопилося,
Так авось господь вас помилует!»

И в ответ ему братья молвили:
«Куда ветер дует в поднéбесьи,
Туда мчатся и тучки послушные,
Когда сизый орел зовет голосом
На кровавую долину побоища,
Зовет пир пировать, мертвецов убирать,
К нему малые орлята слетаются:
Ты наш старший брат, нам второй отец;

Делай сам, как знаешь, как ведаешь,
А уж мы тебя, родного, не выдадим».

* * *

Ай, ребята, пойте – только гусли стройте!
Ай, ребята, пейте – дело разумейте!
Уж потешьте вы доброго боярина
И боярыню его белолицую!

III

Над Москвой великой, златоглавою,
Над стеной кремлевской белокаменной
Из-за дальних лесов, из-за синих гор,
По тесовым кровелькам играючи,
Тучки серые разгоняючи,
Заря алая подымается;
Разметала кудри золотистые,
Умывается снегами рассыпчатыми,
Как красавица, глядя в зеркальце,
В небо чистое смотрит, улыбается.
Уж зачем ты, алая заря, просыпалася?
На какой ты радости разыгралася?

Как сходилися, собиралися
Удалые бойцы московские
На Москву-реку, на кулачный бой,
Разгуляться для праздника, потешиться.
И приехал царь со дружиною,
Со боярами и опричниками,
И велел растянуть цепь серебряную,
Чистым золотом в кольцах спаянную.
Оцепили место в двадцать пять сажень,
Для охотницкого бою, одиночного.
И велел тогда царь Иван Васильевич
Клич кликать звонким голосом:
«Ой, уж где вы, добрые молодцы?
Вы потешьте царя нашего батюшку!
Выходите-ка во широкий круг;

Кто побьет кого, того царь наградит;
А кто будет побит, тому бог простит!»

И выходит удалой Кирибеевич,
Царю в пояс молча кланяется,
Скидает с могучих плеч шубу бархатную,
Подпершися в бок рукою правою,
Поправляет другой шапку алую,
Ожидает он себе противника…
Трижды громкий клич прокликали –
Ни один боец и не тронулся,
Лишь стоят да друг друга поталкивают.

На просторе опричник похаживает,
Над плохими бойцами подсмеивает:
«Присмирели, небось, призадумались!
Так и быть, обещаюсь, для праздника,
Отпущу живого с покаянием,
Лишь потешу царя нашего батюшку».

Вдруг толпа раздалась в обе стороны –
И выходит Степан Парамонович,
Молодой купец, удалой боец,
По прозванию Калашников.
Поклонился прежде царю грозному,
После белому Кремлю да святым церквам,
А потом всему народу русскому.
Горят очи его соколиные,
На опричника смотрит пристально.
Супротив него он становится,
Боевые рукавицы натягивает,
Могутние плечи распрямливает
Да кудряву бороду поглаживает.

И сказал ему Кирибеевич:
«А поведай мне, добрый молодец,
Ты какого роду-племени,
Каким именем прозываешься?
Чтоб знать, по ком панихиду служить,
Чтобы было чем и похвастаться».

Отвечает Степан Парамонович:
«А зовут меня Степаном Калашниковым,
А родился я от честнова отца,

И жил я по закону господнему:
Не позорил я чужой жены,
Не разбойничал ночью темною,
Не таился от свету небесного…
И промолвил ты правду истинную:
По одном из нас будут панихиду петь,
И не позже как завтра в час полуденный;
И один из нас будет хвастаться,
С удалыми друзьями пируючи…
Не шутку шутить, не людей смешить
К тебе вышел я теперь, басурманский сын, –
Вышел я на страшный бой, на последний бой!»

И услышав то, Кирибеевич
Побледнел в лице, как осенний снег;
Бойки очи его затуманились,
Между сильных плеч пробежал мороз,
На раскрытых устах слово замерло…

Вот молча оба расходятся, –
Богатырский бой начинается.

Размахнулся тогда Кирибеевич
И ударил впервой купца Калашникова,
И ударил его посередь груди –
Затрещала грудь молодецкая,
Пошатнулся Степан Парамонович;
На груди его широкой висел медный крест
Со святыми мощами из Киева, –
И погнулся крест и вдавился в грудь;
Как роса из-под него кровь закапала;
И подумал Степан Парамонович:
«Чему быть суждено, то и сбудется;
Постою за правду до последнева!»
Изловчился он, изготовился,
Собрался со всею силою
И ударил своего ненавистника
Прямо в левый висок со всего плеча.

И опричник молодой застонал слегка,
Закачался, упал замертво;
Повалился он на холодный снег,
На холодный снег, будто сосенка,
Будто сосенка, во сыром бору

Под смолистый под корень подрубленная.
И, увидев то, царь Иван Васильевич
Прогневался гневом, топнул о землю
И нахмурил брови черные;
Повелел он схватит удалова купца
И привесть его пред лицо свое.

Как возго́ворил православный царь:
«Отвечай мне по правде, по совести,
Вольной волею или нехотя
Ты убил мово верного слугу,
Мово лучшего бойца Кирибеевича?»

«Я скажу тебе, православный царь:
Я убил его вольной волею,
А за что, про что – не скажу тебе,
Скажу только богу единому.
Прикажи меня казнить – и на плаху несть
Мне головушку повинную;
Не оставь лишь малых детушек,
Не оставь молодую вдову
Да двух братьев моих своей милостью…»

«Хорошо тебе, детинушка,
Удалой боец, сын купеческий,
Что ответ держал ты по совести.
Молодую жену и сирот твоих
Из казны моей я пожалую,
Твоим братьям велю от сего же дня
По всему царству русскому широкому
Торговать безданно, безпошлинно.
А ты сам ступай, детинушка,
На высокое место лобное,
Сложи свою буйную головушку.
Я топор велю наточить-навострить,
Палача велю одеть-нарядить,
В большой колокол прикажу звонить,
Чтобы знали все люди московские,
Что и ты не оставлен моей милостью…»

Как на площади народ собирается,
Заунывный гудит-воет колокол,
Разглашает всюду весть недобрую.
По высокому месту лобному,

Во рубахе красной с яркой запонкой,
С большим топором навостренным,
Руки голые потираючи,
Палач весело похаживает,
Удалова бойца дожидается, –
А лихой боец, молодой купец,
Со родными братьями прощается:

«Уж вы, братцы мои, други кровные,
Поцалуемтесь да обниметесь
На последнее расставание.
Поклонитесь от меня Алене Дмитревне,
Закажите ей меньше печалиться,
Про меня моим детушкам не сказывать;
Поклонитесь дому родительскому,
Поклонитесь всем нашим товарищам,
Помолитесь сами в церкви божией
Вы за душу мою, душу грешную!»

И казнили Степана Калашникова
Смертью лютою, позорною;
И головушка бесталанная
Во крови на плаху покатилася.

Схоронили его за Москвой-рекой,
На чистом поле промеж трех дорог:
Промеж Тульской, Рязанской, Владимирской,
И бугор земли сырой тут насыпали,
И кленовый крест тут поставили,
И гуляют-шумят ветры буйные
Над его безымянной могилкою.
И проходят мимо люди добрые:
Пройдет стар человек – перекрестится,
Пройдет молодец – приосанится;
Пройдет девица – пригорюнится,
А пройдут гусляры – споют песенку.

* * *

Гей вы, ребята удалые,
Гусляры молодые,
Голоса заливные!

Красно начинали – красно и кончайте,
Каждому правдою и честью воздайте.
Тороватому боярину слава!
И красавице боярыне слава!
И всему народу христианскому слава!

Романс

1

Ты идешь на поле битвы,
Но услышь мои молитвы,
Вспомни обо мне.
Если друг тебя обманет,
Если сердце жить устанет
И душа твоя увянет, –
В дальной стороне
Вспомни обо мне.

2

Если кто тебе укажет
На могилу и расскажет
При ночном огне
О девице обольщенной,
Позабытой и презренной, –
О, тогда, мой друг бесценный,
Ты в чужой стране
Вспомни обо мне.

3

Время прежнее, быть может,
Посетит тебя, встревожит
В мрачном, тяжком сне;
Ты услышишь плач разлуки,
Песнь любви и вопли муки

Иль подобные им звуки…
О, хотя во сне
Вспомни обо мне!

Смерть Поэта

Отмщенье, государь, отмщенье!
Паду к ногам твоим:
Будь справедлив и накажи убийцу,
Чтоб казнь его в позднейшие века
Твой правый суд потомству возвестила,
Чтоб видели злодеи в ней пример.
Погиб поэт! – невольник чести –
Пал, оклеветанный молвой,
С свинцом в груди и жаждой мести,
Поникнув гордой головой!..
Не вынесла душа поэта
Позора мелочных обид,
Восстал он против мнений света
Один, как прежде… и убит!
Убит!.. К чему теперь рыданья,
Пустых похвал ненужный хор
И жалкий лепет оправданья?
Судьбы свершился приговор!
Не вы ль сперва так злобно гнали
Его свободный, смелый дар
И для потехи раздували
Чуть затаившийся пожар?
Что ж? веселитесь… – он мучений
Последних вынести не мог:
Угас, как светоч, дивный гений,
Увял торжественный венок.

Его убийца хладнокровно
Навел удар… спасенья нет:
Пустое сердце бьется ровно,
В руке не дрогнул пистолет.
И что за диво?.. издалека,
Подобный сотням беглецов,
На ловлю счастья и чинов
Заброшен к нам по воле рока;
Смеясь, он дерзко презирал
Земли чужой язык и нравы;

Не мог щадить он нашей славы;
Не мог понять в сей миг кровавый,
На что́ он руку поднимал!..

И он убит – и взят могилой,
Как тот певец, неведомый, но милый,
Добыча ревности глухой,
Воспетый им с такою чудной силой,
Сраженный, как и он, безжалостной рукой.

Зачем от мирных нег и дружбы простодушной
Вступил он в этот свет, завистливый и душный
Для сердца вольного и пламенных страстей?
Зачем он руку дал клеветникам ничтожным,
Зачем поверил он словам и ласкам ложным,
Он, с юных лет постигнувший людей?..

И прежний сняв венок, – они венец терновый,
Увитый лаврами, надели на него:
Но иглы тайные сурово
Язвили славное чело;
Отравлены его последние мгновенья
Коварным шепотом насмешливых невежд,
И умер он – с напрасной жаждой мщенья,
С досадой тайною обманутых надежд.
Замолкли звуки чудных песен,
Не раздаваться им опять:
Приют певца угрюм и тесен,
И на устах его печать.

* * *

А вы, надменные потомки
Известной подлостью прославленных отцов,
Пятою рабскою поправшие обломки
Игрою счастия обиженных родов!
Вы, жадною толпой стоящие у трона,
Свободы, Гения и Славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда – всё молчи!..
Но есть и божий суд, наперсники разврата!
Есть грозный суд: он ждет;

Он не доступен звону злата,
И мысли и дела он знает наперед.
Тогда напрасно вы прибегнете к злословью:
Оно вам не поможет вновь,
И вы не смоете всей вашей черной кровью
Поэта праведную кровь!

Элегия

Дробись, дробись, волна ночная,
И пеной орошай брега в туманной мгле.
Я здесь стою близ моря на скале,
Стою, задумчивость питая,
Один; покинув свет и чуждый для людей,
И никому тоски поверить не желая.
Вблизи меня палатки рыбарей;
Меж них блестит огонь гостеприимный,
Семья беспечная сидит вкруг огонька
И, внемля повесть старика,
Себе готовит ужин дымный!
Но я далек от счастья их душой,
Я помню блеск обманчивой столицы,
Веселий пагубных невозвратимый рой.
И что ж? – слеза бежит с ресницы.
И сожаление мою тревожит грудь,
Года погибшие являются всечасно;
И этот взор, задумчивый и ясный, –
Твержу, твержу душе: забудь.
Он все передо мной: я все твержу напрасно!..
О, если б я в сем месте был рожден,
Где не живет среди людей коварность:

Как много бы я был судьбою одолжен, –
Теперь у ней нет прав на благодарность! –
Как жалок тот, чья младость принесла
Морщину лишнюю для старого чела
И, отобрав все милые желанья,
Одно печальное раскаянье дала;
Кто чувствовал, как я, – чтоб чувствовать страданья,
Кто рано свет узнал – и с страшной пустотой,
Как я, оставил брег земли своей родной
Для добровольного изгнанья!

Николай Семенович Лесков
1831–1895

Тупейный художник
Рассказ на могиле

(Святой памяти благословенного дня 19-го февраля 1861 г.)

Души их во благих водворятся.

Погребальная песнь

Глава первая

У нас многие думают, что «художники» – это только живописцы да скульпторы, и то такие, которые удостоены этого звания академиею, а других не хотят и почитать за художников, Сазиков и Овчинников для многих не больше как «серебренники». У других людей не так: Гейне вспоминал про портного, который «был художник» и «имел идеи», а дамские платья работы Ворт и сейчас называют «художественными произведениями». Об одном из них недавно писали, будто оно «сосредоточивает бездну фантазии в шнипе».

В Америке область художественная понимается еще шире: знаменитый американский писатель Брет Гарт рассказывает, что у них чрезвычайно прославился «художник», который «работал над мертвыми». Он придавал лицам почивших различные *«утешительные выражения»*, свидетельствующие о более или менее счастливом состоянии их отлетевших душ.

Было несколько степеней этого искусства, – я помню три: «1) спокойствие, 2) возвышенное созерцание и 3) блаженство непосредственного собеседования с богом». Слава художника отвечала высокому совершенству его работы, то есть была огромна, но, к сожалению, художник погиб жертвою грубой толпы, не уважавшей свободы художественного творчества. Он был убит камнями за то, что усвоил «выражение блаженного собеседования с богом» лицу одного умершего фальшивого банкира, который обобрал весь город. Осчастливленные наследники плута таким заказом хотели выразить свою признательность усопшему родственнику, а художественному исполнителю это стоило жизни…

Был в таком же необычайном художественном роде мастер и у нас на Руси.

Глава вторая

Моего младшего брата нянчила высокая, сухая, но очень стройная старушка, которую звали Любовь Онисимовна. Она была из прежних актрис бывшего орловского театра графа Каменского, и все, что я далее расскажу, происходило тоже в Орле, во дни моего отрочества.

Брат моложе меня на семь лет; следовательно, когда ему было два года и он находился на руках у Любови Онисимовны, мне минуло уже лет девять, и я свободно мог понимать рассказываемые мне истории.

Любовь Онисимовна тогда была еще не очень стара, но бела как лунь, черты лица ее были тонки и нежны, а высокий стан совершенно прям и удивительно строен, как у молодой девушки.

Матушка и тетка, глядя на нее, не раз говорили, что она несомненно была в свое время красавица.

Она была безгранично честна, кротка и сентиментальна; любила в жизни трагическое и… иногда запивала.

Она нас водила гулять на кладбище к Троице, садилась здесь всегда на одну простую могилку с старым крестом и нередко что-нибудь мне рассказывала.

Тут я от нее и услыхал историю «тупейного художника».

Глава третья

Он был собрат нашей няне по театру; разница была в том, что она «представляла на сцене и танцевала танцы», а он был «тупейный художник», то есть парикмахер и гримировщик, который всех крепостных артисток графа «рисовал и причесывал». Но это не был простой, банальный мастер с тупейной гребенкой за ухом и с жестянкой растертых на сале румян, а был это человек с *идеями*, – словом, *художник*.

Лучше его, по словам Любови Онисимовны, никто не мог «сделать в лице воображения».

При котором именно из графов Каменских процветали обе эти художественные натуры, я с точностью указать не смею. Графов Каменских известно три, и всех их орловские старожилы называли «неслыханными тиранами». Фельдмаршала Михайлу Федотовича крепостные убили за жестокость в 1809 году, а у него было два сына; Николай, умерший в 1811 году, и Сергей,

умерший в 1835 году.

Ребенком, в сороковых годах, я помню еще огромное серое деревянное здание с фальшивыми окнами, намалеванными сажей и охрой, и огороженное чрезвычайно длинным полуразвалившимся забором. Это и была проклятая усадьба графа Каменского; тут же был и театр. Он приходился где-то так, что был очень хорошо виден с кладбища Троицкой церкви, и потому Любовь Онисимовна, когда, бывало, что-нибудь захочет рассказать, то всегда почти начинала словами:

– Погляди-ка, милый, туда… Видишь, какое страшное?

– Страшное, няня.

– Ну, а что я тебе сейчас расскажу, так это еще страшней.

Вот один из таких ее рассказов о тупейщике Аркадии, чувствительном и смелом молодом человеке, который был очень близок ее сердцу.

Глава четвертая

Аркадий «причесывал и рисовал» одних актрис. Для мужчин был другой парикмахер, а Аркадий если и ходил иногда «на мужскую половину», то только в таком случае, если сам граф приказывал «отрисовать кого-нибудь в очень благородном виде». Главная особенность гримировального туше этого художника состояла в идейности, благодаря которой он мог придавать лицам самые тонкие и разнообразные выражения.

– Призовут его, бывало, – говорила Любовь Онисимовна, – и скажут: «Надо, чтобы в лице было такое-то и такое воображение». Аркадий отойдет, велит актеру или актрисе перед собою стоять или сидеть, а сам сложит руки на груди и думает. И в это время сам всякого красавца краше, потому что ростом он был умеренный, но стройный, как сказать невозможно, носик тоненький и гордый, а глаза ангельские, добрые, и густой хохолок прекрасиво с головы на глаза свешивался, – так что глядит он, бывало, как из-за туманного облака.

Словом, тупейный художник был красавец и «*всем* нравился». «Сам граф» его тоже любил и «от всех отличал, одевал прелестно, но содержал в самой большой строгости». Ни за что не хотел, чтобы Аркадий еще кого, кроме его, остриг, обрил и причесал, и для того всегда держал его при своей уборной, и, кроме как в театр, Аркадий никуда не имел выхода.

Даже в церковь для исповеди или причастия его не пускали, потому что граф сам в бога не верил, а духовных терпеть не мог, и один раз на пасхе борисоглебских священников со крестом борзыми затравил[54].

Граф же, по словам Любови Онисимовны, был так страшно нехорош, через свое всегдашнее зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Аркадий и этому зверообразию умел дать, хотя на время, такое воображение, что когда граф вечером в ложе сидел, то показывался даже многих важнее.

А в натуре-то графа, к большой его досаде, именно и недоставало всего более важности и «военного воображения».

И вот, чтобы никто не мог воспользоваться услугами такого неподражаемого артиста, как Аркадий, он сидел «весь свой век без выпуска и денег не видал в руках отроду». А было ему тогда уже лет за двадцать пять, а Любови Онисимовне девятнадцатый год. Они, разумеется, были знакомы, и у них образовалось то, что в таковые годы случается, то есть они друг друга полюбили. Но говорить они о своей любви не могли иначе, как далекими намеками при всех, во время гримировки.

Свидания с глаза на глаз были совершенно невозможны и даже немыслимы.

– Нас, актрис, – говорила Любовь Онисимовна, – берегли в таком же роде, как у знатных господ берегут *кормилиц*; при нас были приставлены пожилые женщины, у которых есть дети, и если, помилуй бог, с которою-нибудь из нас что бы случилось, то у тех женщин все дети поступали на страшное тиранство.

Завет целомудрия мог нарушать только «сам», – тот, кто его уставил.

Глава пятая

Любовь Онисимовна в то время была не только в цвете своей девственной красы, но и в самом интересном моменте развития своего многостороннего таланта: она «пела в хорах подпури», танцевала «первые па в «Китайской огороднице» и, чувствуя призвание к трагизму, «знала все роли *наглядкою*».

В каких именно было годах – точно не знаю, но случилось, что через Орел проезжал государь (не могу сказать, Александр Павлович или Николай Павлович) и в Орле ночевал, а вечером ожидали, что он будет в театре у графа Каменского.

Граф тогда всю знать к себе в театр пригласил (мест за деньги не продавали), и спектакль поставили самый лучший. Любовь Онисимовна должна была и петь в «подпури», и танцевать «Китайскую огородницу», а тут вдруг еще во время самой последней репетиции упала кулиса и пришибла ногу актрисе, которой следовало играть в пьесе «герцогиню де Бурблян».

Никогда и нигде я не встречал роли этого наименования, но Любовь Онисимовна произносила ее именно так.

Плотников, уронивших кулису, послали на конюшню наказывать, а больную отнесли в ее каморку, но роли герцогини де Бурблян играть было некому.

– Тут, – говорила Любовь Онисимовна, – я и вызвалась, потому что мне очень нравилось, как герцогиня де Бурблян у отцовых ног прощенья просит и с распущенными волосами умирает. А у меня у самой волосы были удивительно какие большие и русые, и Аркадий их убирал – заглядение.

Граф был очень обрадован неожиданным вызовом девушки исполнить роль и, получив от режиссера удостоверение, что «Люба роли не испортит», ответил:

– За порчу мне твоя спина ответит, а ей отнеси от меня камариновые серьги.

«Камариновые же серьги» у них был подарок и лестный и противный. Это был первый знак особенной чести быть возведенною на краткий миг в одалиски владыки. За этим вскоре, а иногда и сейчас же, отдавалось приказание Аркадию убрать обреченную девушку после театра «в невинном виде святою Цецилией», и во всем в белом, в венке и с лилией в руках символизованную innocence[55] доставляли на графскую половину.

– Это, – говорила няня, – по твоему возрасту непонятно, но было это самое ужасное, особенно для меня, потому что я об Аркадии мечтала. Я и начала плакать. Серьги бросила на стол, а сама плачу и как вечером представлять буду, того уже и подумать не могу.

Глава шестая

А в эти самые роковые часы другое – тоже роковое и искусительное дело подкралось и к Аркадию.

Приехал представиться государю из своей деревни брат графа, который был еще собой хуже и давно в деревне жил и формы не надевал и не брился, потому что «все лицо у него в буграх заросло». Тут же, при таком особенном случае, надо было примундириться и всего себя самого привести в порядок и «в военное воображение», какое требовалось по форме.

А требовалось много.

– Теперь этого и не понимают, как тогда было строго, – говорила няня. – Тогда во всем форменность наблюдалась, и было положение для важных господ как в лицах, так и в причесании головы, а иному это ужасно не шло, и если его причесать по форме, с хохлом стоймя и с височками, то все лицо выйдет совершенно точно мужицкая балалайка без струн. Важные

господа ужасно как этого боялись. В этом и много значило мастерство в бритье и в прическе, – как на лице между бакенбард и усов дорожки пробрить, и как завитки положить, и как вычесать, – от этого от самой от малости в лице выходила совсем другая фантазия. Штатским господам, по словам няни, легче было, потому что на них внимательного призрения не обращали – от них только требовался вид посмирнее, а от военных больше требовалось – чтобы перед старшим воображалась смирность, а на всех прочих отвага безмерная хорохорилась.

Это-то вот и умел придавать некрасивому и ничтожному лицу графа своим удивительным искусством Аркадий.

Глава седьмая

Деревенский же брат графа был еще некрасивее городского и вдобавок в деревне совсем «заволосател» и «напустил в лицо такую грубость», что даже сам это чувствовал, а убирать его было некому, потому что он ко всему очень скуп был и своего парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и лицо у этого второго графа было все в больших буграх, так что его брить нельзя, чтобы всего не изрезать.

Приезжает он в Орел, позвал к себе городских цирульников и говорит:

– Кто из вас может сделать меня наподобие брата моего графа Каменского, тому я два золотых даю, а на того, кто обрежет, вот два пистолета на стол кладу. Хорошо сделаешь – бери золото и уходи, а если обрежешь один прыщик или на волосок бакенбарды не так проведешь, – то сейчас убью.

А все это пугал, потому что пистолеты были с пустым выстрелом.

В Орле тогда городских цирульников мало было, да и те больше по баням только с тазиками ходили – рожки да пиявки ставить, а ни вкуса, ни фантазии не имели. Они сами это понимали и все отказались «преображать» Каменского. «Бог с тобою, – думают, – и с твоим золотом».

– Мы, – говорят, – этого не можем, что вам угодно, потому что мы за такую особу и притронуться недостойны, да у нас и бритов таких нет, потому что у нас бритвы простые, русские, а на ваше лицо нужно бритвы аглицкие. Это один графский Аркадий может.

Граф велел выгнать городских цирульников по шеям, а они и рады, что на волю вырвались, а сам приезжает к старшему брату и говорит:

– Так и так, брат, я к тебе с большой моей просьбой, отпусти мне перед вечером твоего Аркашку, чтобы он меня как следует в хорошее положение привел. Я давно не брился, а здешние цирульники не умеют.

Граф отвечает брату:

– Здешние цирульники, разумеется, гадость. Я даже не знал, что они здесь и есть, потому что у меня и собак свои стригут. А что до твоей просьбы, то ты просишь у меня невозможности, потому что я клятву дал, что Аркашка, пока я жив, никого, кроме меня, убирать не будет. Как ты думаешь – разве я могу мое же слово перед моим рабом переменить?

Тот говорит:

– А почему нет: ты постановил, ты и отменишь.

А граф-хозяин отвечает, что для него этакое суждение даже странно.

– После того, – говорит, – если я сам так поступать начну, то что же я от людей могу требовать? Аркашке сказано, что я так положил, и все это знают, и за то ему содержанье всех лучше, а если он когда дерзнет и до кого-нибудь, кроме меня, с своим искусством тронется – я его запорю и в солдаты отдам.

Брат и говорит:

– Что-нибудь одно: или запорешь, или в солдаты отдашь, а водвою вместе это не сделаешь.

– Хорошо, – говорит граф, – пусть по-твоему: не запорю до смерти, то до полусмерти, а потом сдам.

– И это, – говорит, – последнее твое слово, брат?

– Да, последнее.

– И в этом только все дело?

– Да, в этом.

– Ну, в таком разе и прекрасно, а то я думал, что тебе свой брат дешевле крепостного холопа. Так ты слова своего и не меняй, а пришли Аркашку ко мне моего пуделя остричь. А там уже мое дело, что он сделает.

Графу неловко было от этого отказаться.

– Хорошо, – говорит, – пуделя остричь я его пришлю.

– Ну, мне только и надо.

Пожал графу руку и уехал.

Глава восьмая

А было это время перед вечером, в сумерки, зимою, когда огни зажигают.

Граф призвал Аркадия и говорит:

– Ступай к моему брату в его дом и остриги у него его

пуделя.

Аркадий спрашивает:

– Только ли будет всего приказания?

– Ничего больше, – говорит граф, – но поскорей возвращайся актрис убирать. Люба нынче в трех положениях должна быть убрана, а после театра представь мне ее святой Цецилией.

Аркадий Ильич пошатнулся.

Граф говорит:

– Что это с тобой?

А Аркадий отвечает:

– Виноват, на ковре оступился.

Граф намекнул:

– Смотри, к добру ли это?

А у Аркадия на душе такое сделалось, что ему все равно, быть добру или худу.

Услыхал, что меня велено Цецилией убирать, и, словно ничего не видя и не слыша, взял свой прибор в кожаной шкатулке и пошел.

Глава девятая

Приходит к графову брату, а у того уже у зеркала свечи зажжены и опять два пистолета рядом, да тут же уже не два золотых, а десять, и пистолеты набиты не пустым выстрелом, а черкесскими пулями.

Графов брат говорит:

– Пуделя у меня никакого нет, а вот мне что нужно: сделай мне туалет в самой отважной мине, и получай десять золотых, а если обрежешь, – убью.

Аркадий посмотрел, посмотрел и вдруг, – господь его знает, что с ним сделалось, – стал графова брата и стричь и брить. В одну минуту сделал все в лучшем виде, золото в карман ссыпал и говорит:

– Прощайте.

Тот отвечает:

– Иди, но только я хотел бы знать: отчего такая отчаянная твоя голова, что ты на это решился?

А Аркадий говорит:

– Отчего я решился – это знает только моя грудь да подоплека.

– Или, может быть, ты от пули заговорен, что и пистолетов не боишься?

– Пистолеты – это пустяки, – отвечает Аркадий, – об них я и не думал.

– Как же так? Неужели ты смел думать, что твоего графа слово тверже моего и я в тебя за порез не выстрелю? Если на тебе заговора нет, ты бы жизнь кончил.

Аркадий, как ему графа напомянули, опять вздрогнул и точно в полуснях проговорил:

– Заговора на мне нет, а есть во мне смысл от бога: пока бы ты руку с пистолетом стал поднимать, чтобы в меня выстрелить, я бы прежде тебе бритвою все горло перерезал.

И с тем бросился вон и пришел в театр как раз в свое время и стал меня убирать, а сам весь трясется. И как завьет мне один локон и пригнется, чтобы губами отдувать, так все одно шепчет:

– Не бойся, увезу.

Глава десятая

Спектакль хорошо шел, потому что все мы как каменные были, приучены и к страху и к мучительству: что на сердце ни есть, а свое исполнение делали так, что ничего и незаметно.

Со сцены видели и графа и его брата – оба один на другого похожи. За кулисы пришли – даже отличить трудно. Только наш тихий-претихий, будто сдобрившись. Это у него всегда бывало перед самою большою лютостию.

И все мы млеем и крестимся:

– Господи! помилуй и спаси. На кого его зверство обрушится!

А нам про Аркашину безумную отчаянность, что он сделал, было еще неизвестно, но сам Аркадий, разумеется, понимал, что ему не быть прощады, и был бледный, когда графов брат взглянул на него и что-то тихо на ухо нашему графу буркнул. А я была очень слухмена и расслыхала – он сказал:

– Я тебе как брат советую: ты его бойся, когда он бритвой бреет.

Наш только тихо улыбнулся.

Кажется, что-то и сам Аркаша слышал, потому что когда стал меня к последнему представлению герцогиней убирать, так – чего никогда с ним не бывало – столько пудры переложил, что костюмер-француз стал меня отряхивать и сказал:

– Тро боку, тро боку! – и щеточкой лишнее с меня счистил.

Глава одиннадцатая

А как все представление окончилось, тогда сняли с меня платье герцогини де Бурблян и одели Цецилией – одно этакое белое, просто без рукавов, а на плечах только узелками

подхвачено, – терпеть мы этого убора не могли. Ну а потом идет Аркадий, чтобы мне голову причесать в невинный фасон, как на картинах обозначено у святой Цецилии, и тоненький венец обручиком закрепить, и видит Аркадий, что у дверей моей каморочки стоят шесть человек.

Это значит, чтобы, как он только, убравши меня, назад в дверь покажется, так сейчас его схватить и вести куда-нибудь на мучительства. А мучительства у нас были такие, что лучше сто раз тому, кому смерть суждена. И дыба, и струна, и голову крячком скрячивали и заворачивали: все это было. Казенное наказание после этого уже за ничто ставили. Под всем домом были подведены потайные погреба, где люди живые на цепях, как медведи, сидели. Бывало, если случится когда идти мимо, то порою слышно, как там цепи гремят и люди в оковах стонут. Верно, хотели, чтобы об них весть дошла или начальство услышало, но начальство и думать не смело вступаться. И долго тут томили людей, а иных на всю жизнь. Один сидел-сидел, да стих выдумал:

Приползут, – говорит, – змеи и высосут очи,
И зальют тебе ядом лицо скорпионы.

Стишок этот, бывало, сам себе в уме шепчешь и страшишься.

А другие даже с медведями были прикованы, так, что медведь только на полвершка его лапой задрать не может.

Только с Аркадием Ильичом ничего этого не сделали, потому что он как вскочил в мою каморочку, так и в то же мгновение сразу схватил стол и вдруг все окно вышиб, и больше я уже ничего и не помню…

Стала я в себя приходить, оттого что моим ногам очень холодно. Дернула ноги и чувствую, что я завернута вся в шубе в волчьей или в медвежьей, а вкруг – тьма промежная, и коней тройка лихая мчится, и не знаю куда. А около меня два человека в кучке, в широких санях сидят, – один меня держит, это Аркадий Ильич, а другой во всю мочь лошадей погоняет… Снег так и брызжет из-под копыт у коней, а сани, что секунда, то на один, то на другой бок валятся. Если бы мы не в самой середине на полу сидели да руками не держались, то никому невозможно бы уцелеть.

И слышу у них разговор тревожный, как всегда в ожидации, – понимаю только: «гонят, гонят, гони, гони!» и больше ничего.

Аркадий Ильич, как заметил, что я в себя прихожу, пригнулся ко мне и говорит:

– Любушка голубушка! за нами гонятся… согласна ли

умереть, если не уйдем?

Я отвечала, что даже с радостью согласна.

Надеялся он уйти в турецкий Хрущук, куда тогда много наших людей от Каменского бежали.

И вдруг тут мы по льду какую-то речку перелетели, и впереди что-то вроде жилья засерело и собаки залаяли; а ямщик еще тройку нахлестал и сразу на один бок саней навалился, скособочил их, и мы с Аркадием в снег вывалились, а он, и сани, и лошади – все из глаз пропало.

Аркадий говорит:

– Ничего не бойся, это так надобно, потому что ямщик, который нас вез, я его не знаю, а он нас не знает. Он с чем за три золотых нанялся, чтобы тебя увезть, а ему бы свою душу спасти. Теперь над нами будь воля божья: вот село Сухая Орлица – тут смелый священник живет, отчаянные свадьбы венчает и много наших людей проводил. Мы ему подарок подарим, он нас до вечера спрячет и перевенчает, а к вечеру ямщик опять подъедет, и мы тогда скроемся.

Глава двенадцатая

Постучали мы в дом и взошли в сени. Отворил сам священник, старый, приземковатый, одного зуба в переднем строю нет, и жена у него старушка старенькая – огонь вздула. Мы им оба в ноги кинулись.

– Спасите, дайте обогреться и спрячьте до вечера.

Батюшка спрашивает:

– А что вы, светы мои, со сносом или просто беглые?

Аркадий говорит:

– Ничего мы ни у кого не унесли, а бежим от лютости графа Каменского и хотим уйти в турецкий Хрущук, где уже немало наших людей живет. И нас не найдут, а с нами есть свои деньги, и мы вам дадим за одну ночь переночевать золотой червонец и перевенчаться три червонца. Перевенчать, если можете, а если нет, то мы там, в Хрущуке, окрутимся.

Тот говорит:

– Нет, отчего же не могу? я могу. Что там еще в Хрущук везть. Давай за все вместе пять золотых, – я вас здесь окручу.

И Аркадий подал ему пять золотых, а я вынула из ушей камариновые серьги и отдала матушке.

Священник взял и сказал:

– Ох, светы мои, все бы это ничего – не таких, мне случалось, кручивал, но нехорошо, что вы графские. Хоть я и поп, а мне его лютости страшно. Ну, да уж пускай, что бог даст, то и будет, –

прибавьте еще лобанчик, хоть обрезанный, и прячьтесь.

Аркадий дал ему шестой червонец, полный, а он тогда своей попадье говорит:

– Что же ты, старуха, стоишь? Дай беглянке хоть свою юбчонку да шушунчик какой-нибудь, а то на нее смотреть стыдно, – она вся как голая.

А потом хотел нас в церковь свести и там в сундук с ризами спрятать. Но только что попадья стала меня за переборочкой одевать, как вдруг слышим, у двери кто-то звяк в кольцо.

Глава тринадцатая

У нас сердца у обоих и замерли. А батюшка шепнул Аркадию:

– Ну, свет, в сундук с ризами вам теперь, видно, не попасть, а полезай-ка скорей под перину.

А мне говорит:

– А ты, свет, вот сюда.

Взял да в часовой футляр меня и поставил, и запер, и ключ к себе в карман положил, и пошел приезжим двери открывать. А их, слышно, народу много, и кои у дверей стоят, а два человека уже снаружи в окна смотрят.

Вошло семь человек погони, все из графских охотников, с кистенями и с арапниками, а за поясами своры веревочные, и с ними восьмой графский дворецкий, в длинной волчьей шубе с высоким козырем.

Футляр, в котором я была спрятана, во всю переднюю половинку был пропилейный, решетчатый, старой тонкой кисейкой затянут, и мне сквозь ту кисею глядеть можно.

А старичок-священник сробел, что ли, что дело плохо, – весь трясется перед дворецким и крестится и кричит скоренько:

– Ох, светы мои, ой, светы ясные! Знаю, знаю, чего ищете, но только я тут перед светлейшим графом ни в чем не виноват, ей-право, не виноват, ей, не виноват!

А сам как перекрестится, так пальцами через левое плечо на часовой футляр кажет, где я заперта.

«Пропала я», – думаю, видя, как он это чудо делает.

Дворецкий тоже это увидал и говорит:

– Нам все известно. Подавай ключ вот от этих часов.

А поп опять замахал рукой:

– Ой, светы мои, ой, ясненькие! Простите, не взыскивайте: я позабыл, где ключ положил, ей, позабыл, ей, позабыл.

А с этим все себя другою рукой по карману гладит.

Дворецкий и это чудо опять заметил, и ключ у него из кармана достал и меня отпер.

– Вылезай, – говорит, – соколка, а сокол твой теперь нам сам скажется.

А Аркаша уже и сказался, сбросил с себя поповскую постель на пол и стоит.

– Да, – говорит, – видно, нечего делать, ваша взяла, – везите меня на терзание, но она ни в чем не повинна: я ее силой умчал.

А к попу обернулся да только и сделал всего, что в лицо ему плюнул.

Тот говорит:

– Светы мои, видите еще какое над саном моим и верностию поругание? Доложите про это пресветлому графу.

Дворецкий ему отвечает:

– Ничего, не беспокойся, все это ему причтется, – и велел нас с Аркадием выводить.

Рассадились мы все на трое саней, на передние связанного Аркадия с охотниками, а меня под такою же охраною повезли на задних, а на середних залипшие люди поехали.

Народ, где нас встретит, все расступается, – думают, может быть, свадьба.

Глава четырнадцатая

Очень скоро доскакали и как впали на графский двор, так я и не видала тех саней, на которых Аркашу везли, а меня взяли в свое прежнее место и все с допроса на допрос брали: сколь долго времени я с Аркадием наедине находилась.

Я всем говорю:

– Ах, даже нисколечко!

Тут что мне, верно, на роду было назначено не с милым, а с постылым, – той судьбы я и не минула, а придучи к себе в каморку, только было ткнулась головой в подушку, чтобы оплакать свое несчастие, как вдруг слышу из-под пола ужасные стоны.

У нас это так было, что в деревянной постройке мы, девицы, на втором жилье жили, а внизу была большая высокая комната, где мы петь и танцевать учились, и оттуда к нам вверх все слышно было. И адский царь Сатана надоумил их, жестоких, чтобы им терзать Аркашу под моим покойцем…

Как почуяла я, что это его терзают… и бросилась… в дверь ударилась, чтоб к нему бежать… а дверь заперта… Сама не знаю, что сделать хотела… и упала, а на полу еще слышней… И ни ножа, ни гвоздя – ничего нет, на чем бы можно как-нибудь кончиться… Я взяла да своей же косой и замоталась… Обвила горло, да все крутила, крутила и слышать стала только звон

в ушах, а в глазах круги, и замерло… А стала я уж опять себя чувствовать в незнакомом месте, в большой светлой избе… И телятки тут были… много теляточек: штук больше десяти, – такие ласковые, придет и холодными губами руку лижет, думает – мать сосет… Я оттого и проснулась, что щекотно стало… Вожу вокруг глазами и думаю, где я? Смотрю, входит женщина, пожилая, высокая, вся в синей пестряди и пестрядинным чистым платком повязана, а лицо ласковое.

Заметила эта женщина, что я в признак пришла, и обласкала меня и рассказала, что я нахожусь при своем же графском доме в телячьей избе… «Это вон там было», – поясняла Любовь Онисимовна, указывая рукою по направлению к самому отдаленному углу полуразрушенных серых заграждений.

Глава пятнадцатая

На скотном дворе она очутилась потому, что была под сомнением, не сделалась ли она вроде сумасшедшей? Таких скотам уподоблявшихся на скотном и испытывали, потому что скотники были народ пожилой и степенный и считалось, что они могли «наблюдать» психозы.

Пестрядинная старуха, у которой опозналась Любовь Онисимовна, была очень добрая, а звали ее Дросида.

– Она, как убралася перед вечером, – продолжала няня, – сама мне постельку из свежей овсяной соломки сделала. Так распушила мягко, как пуховичок, и говорит: – Я тебе, девушка, все открою. Будь что будет, если ты меня выскажешь, а я тоже такая, как и ты, и не весь свой век эту пестрядь носила, а тоже другую жизнь видела, но только не дай бог о том вспомнить, а тебе скажу: не сокрушайся, что в ссыл на скотный двор попала, – на ссылу лучше, но только вот этого ужасного плакона берегись…

И вынимает из-за шейного платка беленький стеклянный пузырек и показывает.

Я спрашиваю:

– Что это?

А она отвечает:

– Это и есть ужасный плакон, а в нем яд для забвения.

Я говорю:

– Дай мне забвенного яду: я все забыть хочу.

Она говорит:

– Не пей – это водка. Я с собой не совладала раз, выпила… добрые люди мне дали… Теперь и не могу – надо мне это, а ты не пей, пока можно, а меня не суди, что я пососу, – очень

больно мне. А тебе еще есть в свете утешение: его господь уж от тиранства избавил!

Я так и вскрикнула: «умер!» да за волосы себя схватила, а вижу не мои волосы – белые… Что это!

А она мне говорит:

– Не пужайся, не пужайся, твоя голова еще там побелела, как тебя из косы выпутали, а он жив и ото всего тиранства спасен: граф ему такую милость сделал, какой никому и не было, – я тебе, как ночь придет, все расскажу, а теперь еще пососу… Отсосаться надо… жжет сердце.

И все сосала, все сосала и заснула.

Ночью, как все заснули, тетушка Дросида опять тихонечко встала, без огня подошла к окошечку и, вижу, опять стоя пососала из плакончика и опять его спрятала, а меня тихо спрашивает:

– Спит горе или не спит?

Я отвечаю:

– Горе не спит.

Она подошла ко мне к постели и рассказала, что граф Аркадия после наказания к себе призывал и сказал:

– Ты должен был все пройти, что тебе от меня сказано, но как ты был мой фаворит, то теперь будет тебе от меня милость: я тебя пошлю завтра без зачета в солдаты сдать, но за то, что ты брата моего, графа и дворянина, с пистолетами его не побоялся, я тебе путь чести открою – я не хочу, чтобы ты был ниже того, как сам себя с благородным духом поставил. Я письмо пошлю, чтобы тебя сейчас прямо на войну послали, и ты не будешь служить в простых во солдатах, а будешь в полковых сержантах и покажи свою храбрость. Тогда над тобой не моя воля, а царская.

– Ему, – говорила пестрядинная старушка, – теперь легче и бояться больше нечего: над ним одна уже власть, – что пасть в сражении, а не господское тиранство.

Я так и верила, и три года все каждую ночь во сне одно видела, как Аркадий Ильич сражается.

Так три года прошло, и во все это время мне была божия милость, что к театру меня не возвращали, а все я тут же в телячьей избе оставалась жить, при тетушке Дросиде в младших. И мне тут очень хорошо было, потому что я эту женщину жалела, и когда она, бывало, ночью не очень выпьет, так любила ее слушать. А она еще помнила, как старого графа наши люди зарезали, и сам главный камердинер, – потому что никак уже больше не могли его адской лютости вытерпеть. Но я все еще ничего не пила и за тетушку Дросиду много делала и с удовольствием: скотинки эти у меня как детки были.

К телятам, бывало, так привыкнешь, что когда которого отпоишь и его поведут колоть для стола, так сама его перекрестишь и сама о нем после три дня плачешь. Для театра я уже не годилась, потому что ноги у меня нехорошо ходить стали, колыхались. Прежде у меня походка была самая легкая, а тут, после того как Аркадий Ильич меня увозил по холоду без чувств, я, верно, ноги простудила и в носке для танцев уже у меня никакой крепости не стало. Сделалась я такою же пестрядинкою, как и Дросида, и бог знает, докуда бы прожила в такой унылости, как вдруг один раз была я у себя в избе перед вечером: солнышко садится, а я у окна тальки разматываю, и вдруг мне в окно упадет небольшой камень, а сам весь в бумажку завернут.

Глава шестнадцатая

Я оглянулась туда-сюда и за окно выглянула – никого нет.

«Наверно, – думаю, – это кто-нибудь с воли через забор кинул, да не попал куда надо, а к нам с старушкой вбросил. И думаю себе: развернуть или нет эту бумажку? Кажется, лучше развернуть, потому что на ней непременно что-нибудь написано? А может быть, это кому-нибудь что-нибудь нужное, и я могу догадаться и тайну про себя утаю, а записочку с камушком опять точно таким же родом кому следует переброшу».

Развернула и стала читать, и глазам своим не верю…

Глава семнадцатая

Писано:

«Верная моя Люба! Сражался я и служил государю и проливал свою кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский чин и благородное звание. Теперь я приехал на свободе в отпуск для излечения ран и остановился в Пушкарской слободе на постоялом дворе у дворника, а завтра ордена и кресты надену и к графу явлюсь и принесу все свои деньги, которые мне на леченье даны, пятьсот рублей, и буду просить мне тебя выкупить, и в надежде, что обвенчаемся перед престолом всевышнего создателя».

– А дальше, – продолжала Любовь Онисимовна, всегда с подавляемым чувством, – писал так, что, «какое, говорит, вы над собою бедствие видели и чему подвергались, то я то за страдание ваше, а не во грех и не за слабость поставляю и предоставляю то богу, а к вам одно мое уважение чувствую». И подписано: «Аркадий Ильин».

Любовь Онисимовна письмо сейчас же сожгла на загнетке и никому про него не сказала, ни даже пестрядинной старухе, а только всю ночь богу молилась, нимало о себе слов не произнося, а все за него, потому что, говорит, хотя он и писал, что он теперь офицер, и со крестами и ранами, однако я никак вообразить не могла, чтобы граф с ним обходился иначе, нежели прежде. Просто сказать, боялась, что еще его бить будут.

Глава восемнадцатая

Наутро рано Любовь Онисимовна вывела теляток на солнышко и начала их с корочки из лоханок молочком поить, как вдруг до ее слуха стало достигать, что «на воле», за забором, люди, куда-то поспешая, бегут и шибко между собою разговаривают.

– Что такое они говорили, того я, – сказывала она, – ни одного слова не расслышала, но точно нож слова их мне резали сердце. И как въехал в это время в вороты навозник Филипп, я и говорю ему:

– Филюшка, батюшка! не слыхал ли, про что это люди идут да так любопытно разговаривают?

А он отвечает:

– Это, – говорит, – они идут смотреть, как в Пушкарской слободе постоялый дворник ночью сонного офицера зарезал. Совсем, – говорит, – горло перехватил и пятьсот рублей денег с него снял. Поймали его, весь в крови, говорят, и деньги при нем.

И как он мне это выговорил, я тут же бряк с ног долой.

Так и вышло: этот дворник Аркадия Ильича зарезал, и похоронили его вот тут, в этой самой могилке, на которой сидим… Да, тут он и сейчас под нами, под этой земелькой лежит… А то ты думал, отчего же я все сюда гулять-то с вами хожу… Мне не туда глядеть хочется, – указала она на мрачные и седые развалины, – а вот здесь возле него посидеть и… и капельку за его душу помяну…

Глава девятнадцатая

Тут Любовь Онисимовна остановилась и, считая свой сказ досказанным, вынула из кармана пузыречек и «помянула», или «пососала», но я ее спросил:

– А кто же здесь схоронил знаменитого тупейного художника?

– Губернатор, голубчик, сам губернатор на похоронах был. Как же! Офицер, – его и за обедней и дьякон и батюшка «болярином» Аркадием называли, и как опустили гроб, солдаты пустыми зарядами вверх из ружей и выстрелили. А постоялого дворника после, через год, палач на Ильинке на площади кнутом наказывал. Сорок и три кнута ему за Аркадия Ильича дали, и он выдержал – жив остался и в каторжную работу клейменый пошел. Наши мужчины, которым возможно было, смотреть бегали, а старики, которые помнили, как за жестокого графа наказывали, говорили, что это сорок и три кнута мало, потому что Аркаша был из простых, а тем за графа так сто и один кнут дали. Четного удара ведь это по закону нельзя остановить, а всегда надо бить в нечет. Нарочно тогда палач, говорят, тульский был привезен, и ему перед делом три стакана рому дали выпить. Он потом так бил, что сто кнутов ударил все только для одного мучения, и тот все жив был, а потом как сто первым щелканул, так всю позвонцовую кость и растрощил. Стали поднимать с доски, а он уж и кончается… Покрыли рогожечкой, да в острог и повезли – дорогой умер. А тульский, сказывают, все еще покрикивал: «Давай еще кого бить, – всех орловских убью».

– Ну, а вы же, – говорю, – на похоронах были или нет?

– Ходила. Со всеми вместе ходила: граф велел, чтобы всех театральных свести посмотреть, как из наших людей человек заслужиться мог.

– И прощались с ним?

– Да, как же! Все подходили, прощались, и я… Переменился он, такой, что я бы его и не узнала. Худой и очень бледный, – говорили, весь кровью истек, потому что он его в самую полночь еще зарезал… Сколько это он своей крови пролил…

Она умолкла и задумалась.

– А вы, – говорю, – сами после это каково перенесли?

Она как бы очнулась и провела по лбу рукою.

– Поначалу не помню, – говорит, – как домой пришла… Со всеми вместе ведь – так, верно, кто-нибудь меня вел… А ввечеру Дросида Петровна говорит:

– Ну, так нельзя, – ты не спишь, а между тем лежишь как каменная. Это нехорошо – ты плачь, чтобы из сердца исток был.

Я говорю:

– Не могу, теточка, – сердце у меня как уголь горит, и истоку нет.

А она говорит:

– Ну, значит, теперь плакона не миновать.

Налила мне из своей бутылочки и говорит:

– Прежде я сама тебя до этого не допускала и отговаривала, а теперь делать нечего: облей уголь – пососи.

Я говорю:

– Не хочется.

– Дурочка, – говорит, – да кому же сначала хотелось. Ведь оно горе горькое, а яд горевой еще горче, а облить уголь этим ядом – на минуту гаснет. Соси скорее, соси!

Я сразу весь плакон выпила. Противно было, но спать без того не могла, и на другую ночь тоже… выпила… и теперь без этого уснуть не могу, и сама себе плакончик завела и винца покупаю… А ты, хороший мальчик, мамаше этого никогда не говори, никогда не выдавай простых людей: потому что простых людей ведь надо беречь, простые люди все ведь страдатели. А вот мы когда домой пойдем, то я опять за уголком у кабачка в окошечко постучу… Сами туда не взойдем, а я свой пустой плакончик отдам, а мне новый высунут.

Я был растроган и обещался, что никогда и ни за что не скажу о ее «плакончике».

– Спасибо, голубчик, – не говори: мне это нужно.

И как сейчас я ее вижу и слышу: бывало, каждую ночь, когда все в доме уснут, она тихо приподнимается с постельки, чтобы и косточка не хрустнула; прислушивается, встает, крадется на своих длинных простуженных ногах к окошечку… Стоит минутку, озирается, слушает: не идет ли из спальной мама; потом тихонько стукнет шейкой «плакончика» о зубы, приладится и «пососет»… Глоток, два, три… Уголек залила, и Аркашу помянула, и опять назад в постельку, – юрк под одеяльце и вскоре начинает тихо-претихо посвистывать – фю-фю, фю-фю, фю-фю. Заснула!

Более ужасных и раздирающих душу поминок я во всю мою жизнь не видывал.

Николай Алексеевич Некрасов
1821–1878

* * *

В полном разгаре страда деревенская…
Доля ты! – русская долюшка женская!
Вряд ли труднее сыскать.

Не мудрено, что ты вянешь до времени,
Всевыносящего русского племени
Многострадальная мать!

Зной нестерпимый: равнина безлесная,
Нивы, покосы да ширь поднебесная –
Солнце нещадно палит.

Бедная баба из сил выбивается,
Столб насекомых над ней колыхается,
Жалит, щекочет, жужжит!

Приподнимая косулю тяжелую,
Баба порезала ноженьку голую –
Некогда кровь унимать!

Слышится крик у соседней полосыньки,
Баба туда – растрепалися косыньки, –
Надо ребенка качать!

Что же ты стала над ним в отупении?
Пой ему песню о вечном терпении,
Пой, терпеливая мать!..

Слезы ли, пот ли у ней над ресницею,
Право, сказать мудрено.
В жбан этот, заткнутый грязной тряпицею,
Канут они – все равно!

Вот она губы свои опаленные
Жадно подносит к краям…

Вкусны ли, милая, слезы соленые
С кислым кваском пополам?..

Зеленый шум [56]
(В сокращении)

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Играючи расходится
Вдруг ветер верховой:
Качнет кусты ольховые,
Подымет пыль цветочную,
Как облако: все зелено,
И воздух, и вода!
Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Как молоком облитые,
Стоят сады вишневые,
Тихохонько шумят;
Пригреты теплым солнышком,
Шумят повеселелые
Сосновые леса;
А рядом новой зеленью
Лепечут песню новую
И липа бледнолистая,
И белая березонька
С зеленою косой!
Шумит тростинка малая,
Шумит высокий клен…
Шумят они по-новому,
По-новому, весеннему…

Идет-гудет Зеленый Шум,
Зеленый Шум, весенний шум!

Калистрат

Надо мной певала матушка,
Колыбель мою качаючи:
«Будешь счастлив, Калистратушка!

«Будешь жить ты припеваючи!»

И сбылось, по воле божией,
Предсказанье моей матушки:
Нет богаче, нет пригожее,
Нет нарядней Калистратушки!

В ключевой воде купаюся,
Пятерней чешу волосыньки,
Урожаю дожидаюся
С непосеянной полосыньки!

А хозяйка занимается
На нагих детишек стиркою,
Пуще мужа наряжается –
Носит лапти с подковыркою!..

* * *

Мы с тобой бестолковые люди:
Что минута, то вспышка готова!
Облегченье взволнованной груди,
Неразумное, резкое слово.

Говори же, когда ты сердита,
Всё, что душу волнует и мучит!
Будем, друг мой, сердиться открыто:
Легче мир и скорее наскучит.

Если проза в любви неизбежна,
Так возьмем и с нее долю счастья:
После ссоры так полно, так нежно
Возвращенье любви и участья…

* * *

Надрывается сердце от муки,
Плохо верится в силу добра,
Внемля в мире царящие звуки
Барабанов, цепей, топора.

Но люблю я, весна золотая,
Твой сплошной, чудно-смешанный шум;
Ты ликуешь, на миг не смолкая,
Как дитя, без заботы и дум.
В обаянии счастья и славы,
Чувству жизни ты вся предана, –
Что-то шепчут зеленые травы,
Говорливо струится волна;
В стаде весело ржет жеребенок,
Бык с землей вырывает траву,
А в лесу белокурый ребенок –
Чу! кричит «Парасковья, ау!»

По холмам, по лесам, над долиной
Птицы севера вьются, кричат,
Разом слышны – напев соловьиный
И нестройные писки галчат,
Грохот тройки, скрипенье подводы,
Крик лягушек, жужжание ос,
Треск кобылок, – в просторе свободы
Все в гармонию жизни слилось…

Я наслушался шума иного…
Оглушенный, подавленный им,
Мать-природа! иду к себе снова
Со всегдашним желаньем моим –
Заглуши эту музыку злобы!
Чтоб душа ощутила покой
И прозревшее око могло бы
Насладиться твоей красотой.

Орина, мать солдатская

День-деньской моя печальница,
В ночь – ночная богомолица,
Векова моя сухотница…

Из народной песни

Чуть живые, в ночь осеннюю

Мы с охоты возвращаемся,
До ночлега прошлогоднего,
Славу богу, добираемся.

– Вот и мы! Здорово, старая!
Что насупилась ты, кумушка!
Не о смерти ли задумалась?
Брось! пустая это думушка!

Посетила ли кручинушка?
Молви – может и размыкаю.
И поведала Оринушка
Мне печаль свою великую.

– Восемь лет сынка не видела,
Жив ли, нет – не откликается,
Ужь и свидеться не чаяла,
Вдруг сыночек возвращается.

Вышло молодцу в бессрочные…
Истопила жарко банюшку,
Напекла блинов Оринушка,
Не насмотрится на Ванюшку!

Да не долги были радости.
Воротился сын больнехонек,
Ночью кашель бьет солдатика,
Белый плат в крови мокрехонек!

Говорит: «поправлюсь, матушка!»
Да ошибся – не поправился,
Девять дней хворал Иванушка,
На десятый день преставился…»

Замолчала – не прибавила
Ни словечка, бесталанная.
– Да с чего же привязалася
К парню хворость окаянная?

– Хилый, что ли, был с рождения?..
Встрепенулася Оринушка:
«Богатырского сложения,
Здоровенный был детинушка!

Подивился сам из Питера
Генерал на парня этого,
Как в рекрутское присутствие
Привели его раздетого…

На избенку эту бревнышки
Он один таскал сосновые…
И вилися у Иванушки
Русы кудри как шелкóвые…»

И опять молчит несчастная…
– Не молчи – развей кручинушку!
Что сгубило сына милого –
Чай спросила ты детинушку? –

«Не любил, сударь, рассказывать
Он про жизнь свою военную,
Грех мирянам-то показывать
Душу – богу обреченную!

Говорить – гневить всевышнего,
Окаянных бесов радовать…
Чтоб не молвить слова лишнего,
На врагов не подосадовать,

Немота перед кончиною
Подобает христианину.
Знает бог, какие тягости
Сокрушили силу Ванину!

Я узнать не добивалася.
Никого не осуждаючи,
Он одни слова утешные
Говорил мне, умираючи.

Тихо по двору похаживал
Да постукивал топориком,
Избу ветхую облаживал,
Огород обнес забориком;

Перекрыть сарай задумывал.
Не сбылись его желания:
Слег – и встал на ноги резвые
Только за день до скончания!

Поглядеть на солнце красное
Пожелал, – пошла я с Ванею:
Попрощался со скотинкою,
Попрощался с ригой, с банею.

Сенокосом шел – задумался,
– Ты прости, прости, полянушка,
Я косил тебя во младости! –
И заплакал мой Иванушка!

Песня вдруг с дороги грянула,
Подхватил, что было голосу
– «Не белы снежки», закашлялся,
Задышался – пал на полосу!

Не стояли ноги резвые,
Не держалася головушка!
С час домой мы возвращалися…
Было время – пел соловушка!

Страшно в эту ночь последнюю
Было: память потерялася,
Всё ему перед кончиною
Служба эта представлялася.

Ходит, чистит амуницию,
Набелил ремни солдатские,
Языком играл сигналики,
Песни пел – такие хватские!

Артикул ружьем выкидывал,
Так, что весь домишка вздрагивал;
Как журавль стоял на ноженьке
На одной – носок вытягивал.

Вдруг метнулся… смотрит жалобно…
Повалился – плачет, кается,
Крикнул «ваше благородие!»
Ваше!»… вижу – задыхается:

Я к нему. Утих, послушался –
Лег на лавку. Я молилася:
Не пошлет ли бог спасение?..

К утру память воротилася,

Прошептал: «прощай, родимая!
Ты опять одна осталася!..»
Я над Ваней наклонилася,
Покрестила, попрощалася,

И погас он словно свеченька
Восковая, предыконная…»
Мало слов, а горя реченька,
Горя реченька бездонная!..

Перед дождем

Заунывный ветер гонит
Стаю туч на край небес.
Ель надломленная стонет,
Глухо шепчет темный лес.

На ручей, рябой и пестрый,
За листком летит листок,
И струей сухой и острой
Набегает холодок.

Полумрак на всё ложится;
Налетев со всех сторон,
С криком в воздухе кружится
Стая галок и ворон.

Над проезжей таратайкой
Спущен верх, перёд закрыт;
И «пошёл!» – привстав с нагайкой,
Ямщику жандарм кричит…

Саша

1

Словно как мать над сыновней могилой,
Стонет кулик над равниной унылой,

Пахарь ли песню вдали запоет –
Долгая песня за сердце берет;

Лес ли начнется – сосна да осина…
Не весела ты, родная картина!

Что же молчит мой озлобленный ум?..
Сладок мне леса знакомого шум,

Любо мне видеть знакомую ниву –
Дам же я волю благому порыву

И на родимую землю мою
Все накипевшие слезы пролью!

Злобою сердце питаться устало –
Много в ней правды, да радости мало;

Спящих в могилах виновных теней
Не разбужу я враждою моей.

Родина-мать! я душою смирился,
Любящим сыном к тебе воротился.

Сколько б на нивах бесплодных твоих
Даром ни сгинуло сил молодых,

Сколько бы ранней тоски и печали
Вечные бури твои ни нагнали

На боязливую душу мою –
Я побежден пред тобою стою!

Силу сломили могучие страсти,
Гордую волю погнули напасти,

И про убитую музу мою
Я похоронные песни пою.

Перед тобою мне плакать не стыдно,
Ласку твою мне принять не обидно –

Дай мне отраду объятий родных,

Дай мне забвенье страданий моих!

Жизнью измят я… и скоро я сгину…
Мать не враждебна и к блудному сыну:

Только что ей я объятья раскрыл –
Хлынули слезы, прибавилось сил.

Чудо свершилось: убогая нива
Вдруг просветлела, пышна и красива,

Ласковей машет вершинами лес,
Солнце приветливей смотрит с небес.

Весело въехал я в дом тот угрюмый,
Что, осенив сокрушительной думой,

Некогда стих мне суровый внушил…
Как он печален, запущен и хил!

Скучно в нем будет. Нет, лучше поеду,
Благо не поздно, теперь же к соседу,

И поселюсь среди мирной семьи.
Славные люди – соседи мои;

Славные люди! Радушье их честно,
Лесть им противна, а спесь не известна.

Как-то они доживают свой век?
Он уже дряхлый, седой человек,

Да и старушка не многим моложе.
Весело будет увидеть мне тоже

Сашу, их дочь… Недалеко их дом.
Все ли застану по-прежнему в нем?

2

Добрые люди, спокойно вы жили,
Милую дочь свою нежно любили.

Дико росла, как цветок полевой,
Смуглая Саша в деревне степной.

Всем окружив ее тихое детство,
Что позволяли убогие средства,

Только развить воспитаньем, увы!
Эту головку не думали вы.

Книги ребенку – напрасная мука,
Ум деревенский пугает наука;

Но сохраняется дольше в глуши
Первоначальная ясность души,

Рдеет румянец и ярче, и краше…
Мило и молодо дитятко ваше, –

Бегает живо, горит как алмаз
Черный и влажный, смеющийся глаз,

Щеки румяны, и полны, и смуглы,
Брови так тонки, а плечи так круглы:

Саша не знает забот и страстей,
А ужь шестнадцать исполнилось ей…

Выспится Саша, поднимется рано,
Черные косы завяжет у стана

И убежит, и в просторе полей
Сладко и вольно так дышится ей.

Та ли, другая пред нею дорожка –
Смело ей вверится бойкая ножка;

Да и чего побоится она?..
Все так спокойно; кругом тишина,

Сосны вершинами машут приветно,
Кажется, шепчут, струясь незаметно,

Волны, под сводом зеленых ветвей:

«Путник усталый! бросайся скорей

В наши объятья: мы добры и рады
Дать тебе, сколько ты хочешь, прохлады».

Полем идешь – все цветы да цветы,
В небо глядишь – с голубой высоты

Солнце смеется… Ликует природа!
Всюду приволье, покой и свобода;

Только у мельницы злится река:
Нет ей простора… неволя горька!

Бедная! как она вырваться хочет!
Брызжется пеной, бурлит и клокочет,

Но не прорвать ей плотины своей.
«Не суждена, видно, волюшка ей»,

Думает Саша – «безумно роптанье…»
Жизни кругом разлитой ликованье

Саше порукой, что милостив бог…
Саша не знает сомненья тревог.

Вот по распаханной, черной поляне,
Землю взрывая, бредут поселяне –

Саша в них видит довольных судьбой
Мирных хранителей жизни простой:

Знает она, что недаром с любовью
Землю польют они потом и кровью…

Весело видеть семью поселян,
В землю бросающих горсти семян;

Дорого-любо, кормилица нива!
Видеть, как ты колосишься красиво,

Как ты янтарным зерном налита,
Гордо стоишь, высока и густа!

Но веселей нет поры обмолота:
Легкая дружно спорится работа;

Вторит ей эхо лесов и полей,
Словно кричит: «поскорей! поскорей!»

Звук благодатный! Кого он разбудит,
Верно весь день тому весело будет!

Саша проснется – бежит на гумно.
Солнышка нет – ни светло, ни темно,

Только-что шумное стадо прогнали.
Как на подмерзлой грязи натоптали

Лошади, овцы!.. Парным молоком
В воздухе пахнет. Мотая хвостом,

За нагруженной снопами телегой,
Чинно идет жеребеночек пегий,

Пар из отворенной риги валит,
Кто-то в огне там у печки сидит.

А на гумне только руки мелькают,
Да высоко молотила взлетают,

Не успевает улечься их тень.
Солнце взошло – начинается день…

Саша сбирала цветы полевые,
С детства любимые, сердцу родные,

Каждую травку соседних полей
Знала по имени. Нравилось ей

В пестром смешении звуков знакомых
Птиц различать, узнавать насекомых.

Время к полудню, а Саши все нет.
«Где же ты, Саша? простынет обед,

Сашенька! Саша!»… С желтеющей нивы
Слышатся песни простой переливы;

Вот раздалося «ау!» вдалеке;
Вот над колосьями в синем венке

Черная быстро мелькнула головка…
«Вишь ты, куда забежала, плутовка!

Э!.. да никак колосистую рожь
Переросла наша дочка!» – Так что ж? –

«Что? ничего! понимай, как умеешь!
Что теперь надо, сама разумеешь:

«Спелому колосу – серп удалой,
Девице взрослой – жених молодой!»

– Вот еще выдумал, старый проказник! –
«Думай не думай, а будет нам праздник!»

Так рассуждая, идут старики
Саше навстречу; в кустах у реки

Смирно присядут, подкрадутся ловко,
С криком внезапным: «попалась, плутовка!»

Сашу поймают, и весело им
Свидеться с дитятком бойким своим…

В зимние сумерки нянины сказки
Саша любила. Поутру в салазки

Саша садилась, летела стрелой,
Полная счастья, с горы ледяной.

Няня кричит: «Не убейся, родная!»
Саша, салазки свои погоняя,

Весело мчится. На полном бегу
На бок салазки – и Саша в снегу!

Выбьются косы, растреплется шубка –
Снег отряхает, смеется, голубка!

Не до ворчанья и няне седой:

Любит она ее смех молодой…

Саше случалось знавать и печали:
Плакала Саша, как лес вырубали,

Ей и теперь его жалко до слез.
Сколько тут было кудрявых берез!

Там из-за старой, нахмуренной ели
Красные грозды калины глядели,

Там поднимался дубок молодой.
Птицы царили в вершине лесной,

Понизу всякие звери таились.
Вдруг мужики с топорами явились –

Лес зазвенел, застонал, затрещал.
Заяц послушал – и вон побежал,

В темную нору забилась лисица,
Машет крылом осторожнее птица,

В недоуменьи тащат муравьи,
Что ни попало, в жилища свои.

С песнями труд человека спорился:
Словно подкошен, осинник валился,

С треском ломали сухой березняк,
Корчили с корнем упорный дубняк,

Старую сосну сперва подрубали,
После арканом ее нагибали

И, поваливши, плясали на ней,
Чтобы к земле прилегла поплотней.

Так, победив после долгого боя,
Враг уже мертвого топчет героя.

Много тут было печальных картин.
Стоном стонали верхушки осин,

Из перерубленной старой березы
Градом лилися прощальные слезы

И пропадали одна за другой
Данью последней на почве родной;

Кончились поздно труды роковые.
Вышли на небо светила ночные,

И над поверженным лесом луна
Остановилась кругла и ясна –

Трупы деревьев недвижно лежали;
Сучья ломались, скрипели, трещали,

Жалобно листья шумели кругом.
Так, после битвы, во мраке ночном

Раненый стонет, зовет, проклинает.
Ветер над полем кровавым летает –

Праздно лежащим оружьем звенит,
Волосы мертвых бойцов шевелит!

Тени ходили по пням беловатым,
Жидким осинам, березам косматым;

Низко летали, вились колесом
Совы, шарахаясь оземь крылом;

Звонко кукушка вдали куковала,
Да, как безумная, галка кричала,

Шумно летая над лесом… но ей
Не отыскать неразумных детей!

С дерева комом галчата упали,
Желтые рты широко разевали,

Прыгали, злились. Наскучил их крик –
И придавил их ногою мужик.

Утром работа опять закипела.
Саша туда и ходить не хотела,

Да через месяц – пришла. Перед ней
Взрытые глыбы и тысячи пней;

Только, уныло повиснув ветвями,
Старые сосны стояли местами,

Так на селе остаются одни
Старые люди в рабочие дни.

Верхние ветви так плотно сплелися,
Словно там гнезда жар-птиц завелися,

Что, по словам долговечных людей,
Дважды в полвека выводят детей.

Саше казалось, пришло уже время:
Вылетит скоро волшебное племя,

Чудные птицы посядут на пни,
Чудные песни споют ей они!

Саша стояла и чутко внимала.
В красках вечерних заря догорала –

Через соседний несрубленный лес,
С пышно-румяного края небес

Солнце пронзалось стрелой лучезарной,
Шло через пни полосою янтарной

И наводило на дальний бугор
Света и теней недвижный узор.

Долго в ту ночь, не смыкая ресницы,
Думает Саша: что петь будут птицы?

В комнате словно тесней и душней.
Саше не спится, – но весело ей.

Пестрые грезы сменяются живо,
Щеки румянцем горят не стыдливо,

Утренний сон ее крепок и тих…

Первые зорьки страстей молодых!

Полны вы чары и неги беспечной,
Нет еще муки в тревоге сердечной;

Туча близка, но угрюмая тень
Медлит испортить смеющийся день,

Будто жалея… И день еще ясен…
Он и в грозе будет чудно прекрасен,

Но безотчетно пугает гроза…
Эти ли детски живые глаза,

Эти ли полные жизни ланиты
Грустно поблекнут, слезами покрыты?

Эту ли резвую волю во власть
Гордо возьмет всегубящая страсть?..

Мимо идите, угрюмые тучи!
Горды вы силой! свободой могучи:

С вами ли, грозные, вынести бой
Слабой и робкой былинке степной?..

3

Третьего года, наш край покидая,
Старых соседей моих обнимая,

Помню, пророчил я Саше моей
Доброго мужа, румяных детей,

Долгую жизнь без тоски и страданья…
Да не сбылися мои предсказанья!

В страшной беде стариков я застал.
Вот что про Сашу отец рассказал:

«В нашем соседстве усадьба большая
Лет уже сорок стояла пустая:

В третьем году, наконец, прикатил
Барин в усадьбу и нас посетил,

Именем: Лев Алексеич Агарин,
Ласков с прислугой, как будто не барин,

Тонок и бледен. В лорнетку глядел,
Мало волос на макушке имел.

Звал он себя перелетною птицей:
Был – говорит – я теперь за границей,

Много видал я больших городов,
Синих морей и подводных мостов –

Все там приволье и роскошь, и чудо,
Да высылали доходы мне худо,

На пароходе в Кронштадт я пришел,
И надо мной все кружился орел,

Словно пророчил великую долю. –
Мы со старухой дивилися вволю.

Саша смеялась, смеялся он сам…
Начал он часто похаживать к нам,

Начал гулять, разговаривать с Сашей,
Да над природой подтрунивать нашей –

Есть-де на свете такая страна,
Где никогда не проходит весна,

Там и зимою открыты балконы,
Там поспевают на солнце лимоны,

И начинал, в потолок посмотрев,
Грустное что-то читать нараспев.

Право, как песня слова выходили.
Господи! сколько они говорили!

Мало того: он ей книжки читал

И по-французски ее обучал.

Словно брала их чужая кручина,
Всё рассуждали: какая причина,

Вот уж который теперича век
Беден, несчастлив и зол человек?

Но – говорит – не слабейте душою:
Солнышко правды взойдет над землею!..

И в подтвержденье надежды своей
Старой рябиновкой чокался с ней.

Саша туда же – отстать-то не хочет –
Выпить не выпьет, а губы обмочит;

Грешные люди – пивали и мы.
Стал он прощаться в начале зимы:

Бил – говорит – я довольно баклуши,
Будьте вы счастливы, добрые души,

Благословите на дело… пора!
Перекрестился – и съехал с двора…

В первое время печалилась Саша.
Видим: скучна ей компания наша.

Годы ей, что ли, такие пришли?
Только узнать мы ее не могли,

Скучны ей песни, гаданья и сказки.
Вот и зима! – да не тешат салазки.

Думает думу, как будто у ней
Больше забот, чем у старых людей.

Книжки читает, украдкою плачет,
Видели: письма всё пишет и прячет.

Книжки выписывать стала сама –
И наконец набралась же ума!

Что ни спроси, растолкует, научит,
С ней говорить никогда не наскучит;

А доброта… Я такой доброты
Век не видал, не увидишь и ты!

Бедные все ей приятели-други:
Кормит, ласкает и лечит недуги.

Так девятнадцать ей минуло лет.
Мы поживаем – и горюшка нет.

Надо же было вернуться соседу!
Слышим: приехал и будет к обеду.

Как его весело Саша ждала!
В комнату свежих цветов принесла;

Книги свои уложила исправно,
Просто оделась, да так-то ли славно;

Вышла навстречу – и ахнул сосед!
Словно оробел. Мудреного нет:

В два-то последние года на диво
Сашенька стала пышна и красива,

Прежний румянец в лице заиграл.
Он же бледней и плешивее стал…

Все, что ни делала, что ни читала,
Саша тотчас же ему рассказала;

Только не впрок угожденье пошло!
Он ей перечил, как будто назло:

– Оба тогда мы болтали пустое!
Умные люди решили другое,

Род человеческий низок и зол. –
Да и пошел! и пошел! и пошел!..

Что говорил – мы понять не умеем,
Только покоя с тех пор не имеем:

Вот уж сегодня семнадцатый день,
Саша тоскует и бродит, как тень!

Книжки свои то читает, то бросит,
Гость навестит, так молчать его просит.

Был он три раза; однажды застал
Сашу за делом: мужик диктовал

Ей письмецо, да какая-то баба
Травки просила – была у ней жаба.

Он поглядел и сказал нам, шутя:
– Тешится новой игрушкой дитя! –

Саша ушла – не ответила слова…
Он было к ней; говорит: «нездорова».

Книжек прислал – не хотела читать
И приказала назад отослать.

Плачет, печалится, молится богу…
Он говорит: «я собрался в дорогу» –

Сашенька вышла, простилась при нас,
Да и опять на верху заперлась.

Что ж?.. он письмо ей прислал. Между нами:
Грешные люди, с испугу, мы сами

Прежде его прочитали тайком:
Руку свою предлагает ей в нем.

Саша сначала отказ отослала,
Да уж потом нам письмо показала.

Мы уговаривать: чем не жених?
Молод, богат, да и нравом-то тих.

«Нет, не пойду». А сама не спокойна;
То говорит: «я его недостойна» –

То: «он меня недостоин: он стал

Зол и печален и духом упал!»

А как уехал, так пуще тоскует,
Письма его потихоньку цалует!..

Что тут такое? родной, объясни!
Хочешь, на бедную Сашу взгляни.

Долго ли будет она убиваться?
Или уж ей не певать, не смеяться,

И погубил он бедняжку навек?
Ты нам скажи: он простой человек

Или какой чернокнижник-губитель?
Или не сам ли он бес-искуситель?..»

Полноте, добрые люди, тужить!
Будете скоро по-прежнему жить:

Саша поправится – бог ей поможет.
Околдовать никого он не может:

Он… не могу приложить головы.
Как объяснить, чтобы поняли вы…

Странное племя, мудреное племя
В нашем отечестве создало время!

Это не бес, искуситель людской,
Это, увы! – современный герой!

Книги читает да по свету рыщет –
Дела себе исполинского ищет,

Благо, наследье богатых отцов
Освободило от малых трудов,

Благо, идти по дороге избитой
Лень помешала да разум развитый.

– Нет, я души не растрачу моей
На муравьиной работе людей:

Или под бременем собственной силы
Сделаюсь жертвою ранней могилы,

Или по свету звездой пролечу!
Мир – говорит – осчастливить хочу!

Что ж под руками, того он не любит,
То мимоходом без умыслу губит.

В наши великие, трудные дни
Книги не шутка: укажут они

Все недостойное, дикое, злое,
Но не дадут они сил на благое,

Но не научат любить глубоко…
Дело веков поправлять не легко!

Все, что высоко, разумно, свободно,
Сердцу его и доступно, и сродно,

Только дающая силу и власть
В слове и деле чужда ему страсть!

Любит он сильно, сильней ненавидит,
А доведись – комара не обидит!

Да говорят, что ему и любовь
Голову больше волнует – не кровь!

Что ему книга последняя скажет,
То на душе его сверху и ляжет:

Верить, не верить – ему все равно,
Лишь бы доказано было умно!

Сам на душе ничего не имеет,
Что вчера сжал, то сегодня и сеет;

Нынче не знает, что́ завтра сожнет,
Только наверное сеять пойдет.

Это в простом переводе выходит,
Что в разговорах он время проводит;

Если ж за дело возьмется – беда!
Мир виноват в неудаче тогда;

Чуть поослабнут нетвердые крылья,
Бедный кричит: «бесполезны усилья!»

И уж куда как становится зол
Крылья свои опаливший орел…

Поняли?.. нет!.. Ну, беда не большая!
Лишь поняла бы бедняжка больная.

Благо, теперь догадалась она,
Что отдаваться ему не должна,

А остальное все сделает время.
Сеет он, все-таки, доброе семя!

В нашей степной полосе, что ни шаг,
Знаете вы, – то бугор, то овраг:

В летнюю пору безводны овраги,
Выжжены солнцем, песчаны и наги,

Осенью грязны, не видны зимой,
Но погодите: повеет весной

С теплого края, оттуда, где люди
Дышат вольнее, – в три четверти груди, –

Красное солнце растопит снега,
Реки покинут свои берега, –

Чуждые волны кругом разливая,
Будет и дерзок, и полон до края

Жалкий овраг… Пролетела весна –
Выжжет опять его солнце до дна,

Но уже зреет на ниве поемной,
Что́ оросил он волною заемной,

Пышная жатва. Нетронутых сил

В Саше так много сосед пробудил…

Эх! говорю я хитро, непонятно!
Знайте и верьте, друзья: благодатна

Всякая буря душе молодой –
Зреет и крепнет душа под грозой.

Чем неутешнее дитятко ваше,
Тем встрепенется светлее и краше:

В добрую почву упало зерно –
Пышным плодом отродится оно!

С работы

– Здравствуй, хозяюшка! Здравствуйте, детки!
Выпить бы. Эки стоят холода!
«Ин ты забыл, что намедни последки
Выпил с десятником?» – Ну, не беда!

И без вина отогреюсь я, грешный,
Ты обряди-ка савраску, жена,
Поголодал он весною, сердечный,
Как подобрались сена.

– Эк я умаялся!.. Что, обрядила?
Дай-ка горяченьких щец.
«Печи я нынче, родной, не топила,
Не было, знаешь, дровец!»

– Ну, и без щей поснедаю я, грешный.
Ты овсеца бы савраске дала, –
В лето один он управил, сердечный,
Пашни четыре тягла.

Трудно и нынче нам с бревнами было,
Портится путь… Ин и хлебушка нет?..
«Вышел, родной… У соседей просила,
Завтра сулили чем свет!»

– Ну, и без хлеба улягусь я, грешный.
Кинь под савраску соломки, жена!

В зиму-то вывез он, вывез, сердечный,
Триста четыре бревна…

Тройка

Что ты жадно глядишь на дорогу
В стороне от веселых подруг?
Знать, забило сердечко тревогу –
Все лицо твое вспыхнуло вдруг.

И зачем ты бежишь торопливо
За промчавшейся тройкой вослед?..
На тебя, подбоченясь красиво,
Загляделся проезжий корнет.

На тебя заглядеться не диво,
Полюбить тебя всякий не прочь:
Вьется алая лента игриво
В волосах твоих, черных как ночь;

Сквозь румянец щеки твоей смуглой
Пробивается легкий пушок,
Из-под брови твоей полукруглой
Смотрит бойко лукавый глазок.

Взгляд один чернобровой дикарки,
Полный чар, зажигающих кровь,
Старика разорит на подарки,
В сердце юноши кинет любовь.

Поживешь и попразднуешь вволю,
Будет жизнь и полна, и легка…
Да не то тебе пало на долю:
За неряху пойдешь мужика.

Завязавши под мышки передник,
Перетянешь уродливо грудь,
Будет бить тебя муж-привередник
И свекровь в три погибели гнуть.

От работы и черной и трудной
Отцветешь, не успевши расцвесть,
Погрузишься ты в сон непробудный,

Будешь нянчить, работать и есть.

И в лице твоем, полном движенья,
Полном жизни – появится вдруг
Выраженье тупого терпенья
И бессмысленный, вечный испуг.

И схоронят в сырую могилу,
Как пройдешь ты тяжелый свой путь,
Бесполезно угасшую силу
И ничем не согретую грудь.

Не гляди же с тоской на дорогу
И за тройкой вослед не спеши,
И тоскливую в сердце тревогу
Поскорей навсегда заглуши!

Не нагнать тебе бешеной тройки:
Кони крепки и сыты и бойки, –
И ямщик под хмельком, и к другой
Мчится вихрем корнет молодой…

Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин 1826–1889

Дикий помещик

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был помещик, жил и на свет глядючи радовался. Всего у него было довольно: и крестьян, и хлеба, и скота, и земли, и садов. И был тот помещик глупый, читал газету «Весть»[57] и тело имел мягкое, белое и рассыпчатое.

Только и взмолился однажды богу этот помещик:

– Господи! всем я от тебя доволен, всем награжден! Одно только сердцу моему непереносно: очень уж много развелось в нашем царстве мужика!

Но бог знал, что помещик тот глупый, и прошению его не внял.

Видит помещик, что мужика с каждым днем не убывает, а все прибывает, – видит и опасается: «А ну, как он у меня все добро приест?»

Заглянет помещик в газету «Весть», как в сем случае поступать должно, и прочитает: «Старайся!»

– Одно только слово написано, – молвит глупый помещик, – а золотое это слово!

И начал он стараться, и не то чтоб как-нибудь, а все по правилу. Курица ли крестьянская в господские овсы забредет – сейчас ее, по правилу, в суп; дровец ли крестьянин нарубить по секрету в господском лесу соберется – сейчас эти самые дрова на господский двор, а с порубщика, по правилу, штраф.

– Больше я нынче этими штрафами на них действую! – говорит помещик соседям своим, – потому что для них это понятнее.

Видят мужики: хоть и глупый у них помещик, а разум ему дан большой. Сократил он их так, что некуда носа высунуть: куда ни глянут – все нельзя, да не позволено, да не ваше! Скотинка на водопой выйдет – помещик кричит: «Моя вода!», курица за околицу выбредет – помещик кричит: «Моя земля!» И земля, и вода, и воздух – все его стало! Лучины не стало мужику в светец зажечь, прута не стало, чем избу вымести. Вот и взмолились крестьяне всем миром к господу богу:

– Господи! легче нам пропасть и с детьми с малыми, нежели всю жизнь так маяться!

Услышал милостивый бог слезную молитву сиротскую,

и не стало мужика на всем пространстве владений глупого помещика. Куда девался мужик – никто того не заметил, а только видели люди, как вдруг поднялся мякинный вихрь и, словно туча черная, пронеслись в воздухе посконные мужицкие портки. Вышел помещик на балкон, потянул носом и чует: чистый-пречистый во всех его владениях воздух сделался. Натурально, остался доволен. Думает: «Теперь-то я понежу свое тело белое, тело белое, рыхлое, рассыпчатое!»

И начал он жить да поживать и стал думать, чем бы ему свою душу утешить.

«Заведу, думает, театр у себя! напишу к актеру Садовскому: приезжай, мол, любезный друг! и актерок с собой привози!»

Послушался его актер Садовский: сам приехал и актерок привез. Только видит, что в доме у помещика пусто и ставить театр и занавес поднимать некому.

– Куда же ты крестьян своих девал? – спрашивает Садовский у помещика.

– А вот бог, по молитве моей, все мои владения от мужика очистил!

– Однако, брат, глупый ты помещик! кто же тебе, глупому, умываться подает?

– Да я уж и то сколько дней немытый хожу!

– Стало быть, шампиньоны на лице ростить собрался? – сказал Садовский, и с этим словом и сам уехал, и актерок увез.

Вспомнил помещик, что есть у него поблизости четыре генерала знакомых; думает: «Что это я все гранпасьянс да гранпасьянс раскладываю! Попробую-ко я с генералами впятером пульку-другую сыграть!»

Сказано – сделано: написал приглашения, назначил день и отправил письма по адресу. Генералы были хоть и настоящие, но голодные, а потому очень скоро приехали. Приехали – и не могут надивиться, отчего такой у помещика чистый воздух стал.

– А оттого это, – хвастается помещик, – что бог, по молитве моей, все владения мои от мужика очистил!

– Ах, как это хорошо! – хвалят помещика генералы, – стало быть, теперь у вас этого холопьего запаху нисколько не будет?

– Нисколько, – отвечает помещик.

Сыграли пульку, сыграли другую; чувствуют генералы, что пришел их час водку пить, приходят в беспокойство, озираются.

– Должно быть, вам, господа генералы, закусить захотелось? – спрашивает помещик.

– Не худо бы, господин помещик!

Встал он из-за стола, подошел к шкапу и вынимает оттуда по леденцу да по печатному прянику на каждого человека.

– Что ж это такое? – спрашивают генералы, вытаращив на него глаза.

– А вот, закусите, чем бог послал!

– Да нам бы говядинки! говядинки бы нам!

– Ну, говядинки у меня про вас нет, господа генералы, потому что с тех пор, как меня бог от мужика избавил, и печка на кухне стоит нетоплена!

Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали.

– Да ведь жрешь же ты что-нибудь сам-то? – накинулись они на него.

– Сырьем кой-каким питаюсь, да вот пряники еще покуда есть…

– Однако, брат, глупый же ты помещик! – сказали генералы и, не докончив пульки, разбрелись по домам.

Видит помещик, что его уж в другой раз дураком чествуют, и хотел было уж задуматься, но так как в это время на глаза попалась колода карт, то махнул на все рукою и начал раскладывать гранпасьянс.

– Посмотрим, – говорит, – господа либералы, кто кого одолеет! Докажу я вам, что может сделать истинная твердость души!

Раскладывает он «дамский каприз» и думает: «Ежели сряду три раза выйдет, стало быть, надо не взирать». И как назло, сколько раз ни разложит – все у него выходит, все выходит! Не осталось в нем даже сомнения никакого.

– Уж если, – говорит, – сама фортуна указывает, стало быть, надо оставаться твердым до конца. А теперь, покуда, довольно гранпасьянс раскладывать, пойду, позаймусь!

И вот ходит он, ходит по комнатам, потом сядет и посидит. И все думает. Думает, какие он машины из Англии выпишет, чтоб все паром да паром, а холопского духу чтоб нисколько не было. Думает, какой он плодовый сад разведет: «Вот тут будут груши, сливы; вот тут – персики, тут – грецкий орех!» Посмотрит в окошко – ан там все, как он задумал, все точно так уж и есть! Ломятся, по щучьему велению, под грузом плодов деревья грушевые, персиковые, абрикосовые, а он только знай фрукты машинами собирает да в рот кладет! Думает, каких он коров разведет, что ни кожи, ни мяса, а все одно молоко, все молоко! Думает, какой он клубники насадит, все двойной да тройной, по пяти ягод на фунт, и сколько он этой клубники в Москве продаст. Наконец устанет думать, пойдет к зеркалу

посмотреться – ан там уж пыли на вершок насело…

– Сенька! – крикнет он вдруг, забывшись, но потом спохватится и скажет, – ну, пускай себе до поры, до времени так постоит! а уж докажу же я этим либералам, что может сделать твердость души!

Промаячит таким манером, покуда стемнеет, – и спать!

А во сне сны еще веселее, нежели наяву, снятся. Снится ему, что сам губернатор о такой его помещичьей непреклонности узнал и спрашивает у исправника: «Какой такой твердый курицын сын у вас в уезде завелся?» Потом снится, что его за эту самую непреклонность министром сделали, и ходит он в лентах, и пишет циркуляры: «Быть твердым и не взирать!» Потом снится, что он ходит по берегам Евфрата и Тигра…[58]

– Ева, мой друг! – говорит он.

Но вот и сны все пересмотрел: надо вставать.

– Сенька! – опять кричит он, забывшись, но вдруг вспомнит… и поникнет головою.

– Чем бы, однако, заняться? – спрашивает он себя, – хоть бы лешего какого-нибудь нелегкая принесла!

И вот по этому его слову вдруг приезжает сам капитан-исправник. Обрадовался ему глупый помещик несказанно; побежал в шкап, вынул два печатных пряника и думает: «Ну, этот, кажется, останется доволен!»

– Скажите, пожалуйста, господин помещик, каким это чудом все ваши временнообязанные[59] вдруг исчезли? – спрашивает исправник.

– А вот так и так, бог, по молитве моей, все владения мои от мужика совершенно очистил!

– Так-с; а не известно ли вам, господин помещик, кто подати за них платить будет?

– Подати?.. это они! это они сами! это их священнейший долг и обязанность!

– Так-с; а каким манером эту подать с них взыскать можно, коли они, по вашей молитве, по лицу земли рассеяны?

– Уж это… не знаю… я, с своей стороны, платить не согласен!

– А известно ли вам, господин помещик, что казначейство без податей и повинностей, а тем паче без винной и соляной регалий[60], существовать не может?

– Я что ж… я готов! рюмку водки… я заплачу!

– Да вы знаете ли, что, по милости вашей, у нас на базаре ни куска мяса, ни фунта хлеба купить нельзя? знаете ли вы, чем это пахнет?

– Помилуйте! я, с своей стороны, готов пожертвовать! вот целых два пряника!

– Глупый же вы, господин помещик! – молвил исправник, повернулся и уехал, не взглянув даже на печатные пряники.

Задумался на этот раз помещик не на шутку. Вот уж третий человек его дураком чествует, третий человек посмотрит-посмотрит на него, плюнет и отойдет. Неужто он в самом деле дурак? неужто та непреклонность, которую он так лелеял в душе своей, в переводе на обыкновенный язык означает только глупость и безумие? и неужто, вследствие одной его непреклонности, остановились и подати, и регалии, и не стало возможности достать на базаре ни фунта муки, ни куска мяса?

И как был он помещик глупый, то сначала даже фыркнул от удовольствия при мысли, какую он штуку сыграл, но потом вспомнил слова исправника: «А знаете ли, чем это пахнет?» – и струсил не на шутку.

Стал он, по обыкновению, ходить взад да вперед по комнатам и все думает: «Чем же это пахнет? уж не пахнет ли водворением каким? например, Чебоксарами? или, быть может, Варнавиным?»

– Хоть бы в Чебоксары, что ли! по крайней мере, убедился бы мир, что значит твердость души! – говорит помещик, а сам по секрету от себя уж думает: «В Чебоксарах-то, я, может быть, мужика бы моего милого увидал!»

Походит помещик, и посидит, и опять походит. К чему ни подойдет, все, кажется, так и говорит: «А глупый ты, господин помещик!» Видит он, бежит чрез комнату мышонок и крадется к картам, которыми он гранпасьянс делал и достаточно уже замаслил, чтоб возбудить ими мышиный аппетит.

– Кшш… – бросился он на мышонка.

Но мышонок был умный и понимал, что помещик без Сеньки никакого вреда ему сделать не может. Он только хвостом вильнул в ответ на грозное восклицание помещика и чрез мгновение уже выглядывал на него из-под дивана, как будто говоря: «Погоди, глупый помещик! то ли еще будет! я не только карты, а и халат твой съем, как ты его позамаслишь как следует!»

Много ли, мало ли времени прошло, только видит помещик, что в саду у него дорожки репейником поросли, в кустах змеи да гады всякие кишмя кишат, а в парке звери дикие воют. Однажды к самой усадьбе подошел медведь, сел на корточках, поглядывает в окошки на помещика и облизывается.

– Сенька! – вскрикнул помещик, но вдруг спохватился… и заплакал.

Однако твердость души все еще не покидала его. Несколько раз он ослабевал, но как только почувствует, что сердце у него начнет растворяться, сейчас бросится к газете «Весть» и в одну минуту ожесточится опять.

– Нет, лучше совсем одичаю, лучше пусть буду с дикими зверьми по лесам скитаться, но да не скажет никто, что российский дворянин, князь Урус-Кучум-Кильдибаев, от принципов отступил!

И вот он одичал. Хоть в это время наступила уже осень и морозцы стояли порядочные, но он не чувствовал даже холода. Весь он, с головы до ног, оброс волосами, словно древний Исав, а ногти у него сделались, как железные. Сморкаться уж он давно перестал, ходил же все больше на четвереньках и даже удивлялся, как он прежде не замечал, что такой способ прогулки есть самый приличный и самый удобный. Утратил даже способность произносить членораздельные звуки и усвоил себе какой-то особенный победный клик, среднее между свистом, шипеньем и рявканьем. Но хвоста еще не приобрел.

Выйдет он в свой парк, в котором он когда-то нежил свое тело рыхлое, белое, рассыпчатое, как кошка, в один миг, взлезет на самую вершину дерева и стережет оттуда. Прибежит, это, заяц, встанет на задние лапки и прислушивается, нет ли откуда опасности, – а он уж тут как тут. Словно стрела соскочит с дерева, вцепится в свою добычу, разорвет ее ногтями, да так со всеми внутренностями, даже со шкурой, и съест.

И сделался он силен ужасно, до того силен, что даже счел себя вправе войти в дружеские сношения с тем самым медведем, который некогда посматривал на него в окошко.

– Хочешь, Михаиле Иваныч, походы вместе на зайцев будем делать? – сказал он медведю.

– Хотеть – отчего не хотеть! – отвечал медведь, – только, брат, ты напрасно мужика этого уничтожил!

– А почему так?

– А потому, что мужика этого есть не в пример способнее было, нежели вашего брата дворянина. И потому скажу тебе прямо: глупый ты помещик, хоть мне и друг!

Между тем капитан-исправник хоть и покровительствовал помещикам, но в виду такого факта, как исчезновение с лица земли мужика, смолчать не посмел. Встревожилось его донесением и губернское начальство, пишет к нему: «А как вы думаете, кто теперь подати будет вносить? кто будет вино по кабакам пить? кто будет невинными занятиями заниматься?» Отвечает капитан-исправник: казначейство-де теперь упразднить следует, а невинные-де занятия и сами собой упразднились, вместо же них распространились в уезде грабежи, разбой и убийства. На днях-де и его, исправника, какой-то медведь не медведь, человек не человек едва не задрал, в каковом человеко-медведе и подозревает он того самого глупого

помещика, который всей смуте зачинщик.

Обеспокоились начальники и собрали совет. Решили: мужика изловить и водворить, а глупому помещику, который всей смуте зачинщик, наиделикатнейше внушить, дабы он фанфаронства свои прекратил и поступлению в казначейство податей препятствия не чинил.

Как нарочно, в это время чрез губернский город летел отроившийся рой мужиков и осыпал всю базарную площадь. Сейчас эту благодать обрали, посадили в плетушку и послали в уезд.

И вдруг опять запахло в том уезде мякиной и овчинами; но в то же время на базаре появились и мука, и мясо, и живность всякая, а податей в один день поступило столько, что казначей, увидав такую груду денег, только всплеснул руками от удивления и вскрикнул:

– И откуда вы, шельмы, берете!!

«Что же сделалось, однако, с помещиком?» – спросят меня читатели. На это я могу сказать, что хотя и с большим трудом, но и его изловили. Изловивши, сейчас же высморкали, вымыли и обстригли ногти. Затем капитан-исправник сделал ему надлежащее внушение, отобрал газету «Весть» и, поручив его надзору Сеньки, уехал.

Он жив и доныне. Раскладывает гранпасьянс, тоскует по прежней своей жизни в лесах, умывается лишь по принуждению и по временам мычит.

Иван Сергеевич Тургенев
1818–1883

Бирюк

Я ехал с охоты вечером один, на беговых дрожках. До дому еще было верст восемь; моя добрая рысистая кобыла бодро бежала по пыльной дороге, изредка похрапывая и шевеля ушами; усталая собака, словно привязанная, ни на шаг не отставала от задних колес. Гроза надвигалась. Впереди огромная лиловая туча медленно поднималась из-за лесу: надо мною и мне навстречу неслись длинные серые облака; ракиты тревожно шевелились и лепетали. Душный жар внезапно сменился влажным холодом; тени быстро густели. Я ударил вожжой по лошади, спустился в овраг, перебрался через сухой ручей, весь заросший лозниками, поднялся в гору и въехал в лес. Дорога вилась передо мною между густыми кустами орешника, уже залитыми мраком; я подвигался вперед с трудом. Дрожки прыгали по твердым корням столетних дубов и лип, беспрестанно пересекавшим глубокие продольные рытвины – следы тележных колес; лошадь моя начала спотыкаться. Сильный ветер внезапно загудел в вышине, деревья забушевали, крупные капли дождя резко застучали, зашлепали по листьям, сверкнула молния, и гроза разразилась. Дождь полил ручьями. Я поехал шагом и скоро принужден был остановиться: лошадь моя вязла, я не видел ни зги. Кое-как приютился я к широкому кусту. Сгорбившись и закутавши лицо, ожидал я терпеливо конца ненастья, как вдруг, при блеске молнии, на дороге почудилась мне высокая фигура. Я стал пристально глядеть в ту сторону, – та же фигура словно выросла из земли подле моих дрожек.

– Кто это? – спросил звучный голос.

– А ты кто сам?

– Я здешний лесник.

Я назвал себя.

– А, знаю! Вы домой едете?

– Домой. Да видишь, какая гроза…

– Да, гроза, – отвечал голос.

Белая молния озарила лесника с головы до ног; трескучий и короткий удар грома раздался тотчас вслед за нею. Дождик хлынул с удвоенной силой.

– Не скоро пройдет, – продолжал лесник.

– Что делать!

– Я вас, пожалуй, в свою избу приведу, – отрывисто проговорил он.

– Сделай одолжение.

– Извольте сидеть.

Он подошел к голове лошади, взял ее за узду и сдернул с места. Мы тронулись. Я держался за подушку дрожек, которые колыхались, «как в море челнок», и кликал собаку. Бедная моя кобыла тяжко шлепала ногами по грязи, скользила, спотыкалась; лесник покачивался перед оглоблями направо и налево, словно привиденье. Мы ехали довольно долго; наконец мой проводник остановился. «Вот мы и дома, барин», – промолвил он спокойным голосом. Калитка заскрипела, несколько щенков дружно залаяли. Я поднял голову и, при свете молнии, увидал небольшую избушку посреди обширного двора, обнесенного плетнем. Из одного окошечка тускло светил огонек. Лесник довел лошадь до крыльца и застучал в дверь. «Сичас, сичас!» – раздался тоненький голосок, послышался топот босых ног, засов заскрипел, и девочка, лет двенадцати, в рубашонке, подпоясанная покромкой, с фонарем в руке, показалась на пороге.

– Посвети барину, – сказал он ей, – а я ваши дрожки под навес поставлю.

Девочка глянула на меня и пошла в избу. Я отправился вслед за ней.

Изба лесника состояла из одной комнаты, закоптелой, низкой и пустой, без полатей и перегородок. Изорванный тулуп висел на стене. На лавке лежало одноствольное ружье, в углу валялась груда тряпок; два больших горшка стояли возле печки. Лучина горела на столе, печально вспыхивая и погасая. На самой середине избы висела люлька, привязанная к концу длинного шеста. Девочка погасила фонарь, присела на крошечную скамейку и начала правой рукой качать люльку, левой поправлять лучину. Я посмотрел кругом, – сердце во мне заныло: не весело войти ночью в мужицкую избу. Ребенок в люльке дышал тяжело и скоро.

– Ты разве одна здесь? – спросил я девочку.

– Одна, – произнесла она едва внятно.

– Ты лесникова дочь?

– Лесникова, – прошептала она.

Дверь заскрипела, и лесник шагнул, нагнув голову, через порог. Он поднял фонарь с полу, подошел к столу и зажег светильню.

– Чай, не привыкли к лучине? – проговорил он и тряхнул кудрями.

Я посмотрел на него. Редко мне случалось видеть такого молодца. Он был высокого росту, плечист и сложен на славу. Из-

под мокрой замашной рубашки выпукло выставлялись его могучие мышцы. Черная курчавая борода закрывала до половины его суровое и мужественное лицо; из-под сросшихся широких бровей смело глядели небольшие карие глаза. Он слегка уперся руками в бока и остановился передо мною.

Я поблагодарил его и спросил его имя.

– Меня зовут Фомой, – отвечал он, – а по прозвищу Бирюк[61].

– А! Ты Бирюк!

Я с удвоенным любопытством посмотрел на него. От моего Ермолая и от других я часто слышал рассказы о леснике Бирюке, которого все окрестные мужики боялись, как огня. По их словам, не бывало еще на свете такого мастера своего дела: «Вязанки хворосту не даст утащить; в какую бы ни было пору, хоть в самую полночь, нагрянет, как снег на голову, и ты не думай сопротивляться, – силен, дескать, и ловок, как бес… И ничем его взять нельзя: ни вином, ни деньгами; ни на какую приманку не идет. Уж не раз добрые люди его сжить со свету собирались, да нет – не дается». Вот как отзывались соседние мужики о Бирюке.

– Так ты Бирюк, – повторил я, – я, брат, слыхал про тебя. Говорят, ты никому спуску не даешь.

– Должность свою справляю, – отвечал он угрюмо, – даром господский хлеб есть не приходится.

Он достал из-за пояса топор, присел на пол и начал колоть лучину.

– Аль у тебя хозяйки нет? – спросил я его.

– Нет, – отвечал он и сильно махнул топором.

– Умерла, знать?

– Нет… да… умерла, – прибавил он и отвернулся.

Я замолчал; он поднял глаза и посмотрел на меня.

– С прохожим мещанином сбежала, – произнес он с жестокой улыбкой. Девочка потупилась; ребенок проснулся и закричал; девочка подошла к люльке. – На, дай ему, – проговорил Бирюк, сунув ей в руку запачканный рожок. – Вот и его бросила, – продолжал он вполголоса, указывая на ребенка. Он подошел к двери, остановился и обернулся.

– Вы, чай, барин, – начал он, – нашего хлеба есть не станете, а у меня окромя хлеба…

– Я не голоден.

– Ну, как знаете. Самовар бы я вам поставил, да чаю у меня нету. Пойду посмотрю, что ваша лошадь.

Он вышел и хлопнул дверью. Я в другой раз осмотрелся. Изба показалась мне еще печальнее прежнего. Горький запах остывшего дыма неприятно стеснял мне дыхание. Девочка

не трогалась с места и не поднимала глаз; изредка поталкивала она люльку, робко наводила на плечо спускавшуюся рубашку; ее голые ноги висели, не шевелясь.

– Как тебя зовут? – спросил я.

– Улитой, – проговорила она, еще более понурив свое печальное личико.

Лесник вошел и сел на лавку.

– Гроза проходит, – заметил он, после небольшого молчанья, – коли прикажете, я вас из лесу провожу.

Я встал. Бирюк взял ружье и осмотрел полку.

– Это зачем? – спросил я.

– А в лесу шалят… У Кобыльего Верху[62] дерево рубят, – прибавил он в ответ на мой вопрошающий взор.

– Будто отсюда слышно?

– Со двора слышно.

Мы вышли вместе. Дождик перестал. В отдалении еще толпились тяжелые громады туч, изредка вспыхивали длинные молнии; но над нашими головами уже виднелось кое-где темно-синее небо, звездочки мерцали сквозь жидкие, быстро летевшие облака. Очерки деревьев, обрызганных дождем и взволнованных ветром, начинали выступать из мрака. Мы стали прислушиваться. Лесник снял шапку и потупился. «Во… вот, – проговорил он вдруг и протянул руку: – вишь, какую ночку выбрал». – Я ничего не слышал, кроме шума листьев. Бирюк вывел лошадь из-под навеса. «А эдак я, пожалуй, – прибавил он вслух, – и прозеваю его». – «Я с тобой пойду… хочешь?» – «Ладно, – отвечал он и попятил лошадь назад, – мы его духом поймаем, а там я вас провожу. Пойдемте».

Мы пошли: Бирюк впереди, я за ним. Бог его знает, как он узнавал дорогу, но он останавливался только изредка, и то для того, чтобы прислушиваться к стуку топора. «Вишь, – бормотал он сквозь зубы, – слышите? слышите?» – «Да где?» Бирюк пожимал плечами. Мы спустились в овраг, ветер затих на мгновенье – мерные удары ясно достигли до моего слуха. Бирюк глянул на меня и качнул головой. Мы пошли далее по мокрому папоротнику и крапиве. Глухой и продолжительный гул раздался…

– Повалил… – пробормотал Бирюк.

Между тем небо продолжало расчищаться; в лесу чуть-чуть светлело. Мы выбрались, наконец, из оврага. «Подождите здесь», – шепнул мне лесник, нагнулся и, подняв ружье кверху, исчез между кустами. Я стал прислушиваться с напряжением. Сквозь постоянный шум ветра чудились мне невдалеке слабые звуки: топор осторожно стучал по сучьям, колеса скрипели, лошадь

фыркала… «Куда? стой!» – загремел вдруг железный голос Бирюка. Другой голос закричал жалобно, по-заячьи… Началась борьба. «Вре-ешь, вре-ешь, – твердил задыхаясь, Бирюк, – не уйдешь…» Я бросился в направлении шума и прибежал, спотыкаясь на каждом шагу, на место битвы. У срубленного дерева, на земле, копошился лесник; он держал под собою вора и закручивал ему кушаком руки на спину. Я подошел. Бирюк поднялся и поставил его на ноги. Я увидал мужика мокрого, в лохмотьях, с длинной растрепанной бородой. Дрянная лошаденка, до половины закрытая угловатой рогожкой, стояла тут же вместе с тележным ходом. Лесник не говорил ни слова; мужик тоже молчал и только головой потряхивал.

– Отпусти его, – шепнул я на ухо Бирюку, – я заплачу за дерево.

Бирюк молча взял лошадь за челку левой рукой: правой он держал вора за пояс. «Ну, поворачивайся, ворона!» – промолвил он сурово. «Топорик-то вон возьмите», – пробормотал мужик. «Зачем ему пропадать?» – сказал лесник и поднял топор. Мы отправились. Я шел позади… Дождик начал опять накрапывать и скоро полил ручьями. С трудом добрались мы до избы. Бирюк бросил пойманную лошаденку посреди двора, ввел мужика в комнату, ослабил узел кушака и посадил его в угол. Девочка, которая заснула было возле печки, вскочила и с молчаливым испугом стала глядеть на нас. Я сел на лавку.

– Эк его, какой полил, – заметил лесник, – переждать придется. Не хотите ли прилечь?

– Спасибо.

– Я бы его, для вашей милости, в чуланчик запер, – продолжал он, указывая на мужика, – да, вишь, засов…

– Оставь его тут, не трогай, – перебил я Бирюка.

Мужик глянул на меня исподлобья. Я внутренно дал себе слово, во что бы то ни стало освободить пленника. Он сидел неподвижно на лавке. При свете фонаря я мог разглядеть его испитое, морщинистое лицо, нависшие желтые брови, беспокойные глаза, худые члены… Девочка улеглась на полу у самых его ног и опять заснула. Бирюк сидел возле стола, опершись головою на руки. Кузнечик кричал в углу… дождик стучал по крыше и скользил по окнам; мы все молчали.

– Фома Кузьмич, – заговорил вдруг мужик голосом глухим и разбитым, – а, Фома Кузьмич.

– Чего тебе?

– Отпусти.

Бирюк не отвечал.

– Отпусти… с голодухи… отпусти.

– Знаю я вас, – угрюмо возразил лесник, – ваша вся слобода такая – вор на воре.

– Отпусти, – твердил мужик, – прикащик… разорены, во как… отпусти!

– Разорены!.. Воровать никому не след.

– Отпусти, Фома Кузьмич… не погуби. Ваш-то, сам знаешь, заест, во как.

Бирюк отвернулся. Мужика подергивало, словно лихорадка его колотила. Он встряхивал головой и дышал неровно.

– Отпусти, – повторял он с унылым отчаяньем, – отпусти, ей-богу, отпусти! я заплачу, во́ как, ей-богу. Ей богу, с голодухи… детки пищат, сам знаешь. Круто, во́ как, приходится.

– А ты все-таки воровать не ходи.

– Лошаденку, – продолжал мужик, – лошаденку-то, хоть ее-то… один живот и есть… отпусти!

– Говорят, нельзя. Я тоже человек подневольный: с меня взыщут. Вас баловать тоже не приходится.

– Отпусти! Нужда, Фома Кузьмич, нужда, как есть того… отпусти!

– Знаю я вас!

– Да отпусти!

– Э, да что с тобой толковать; сиди смирно, а то у меня, знаешь? Не видишь, что ли, барина?

Бедняк потупился… Бирюк зевнул и положил голову на стол. Дождик все не переставал. Я ждал, что будет.

Мужик внезапно выпрямился. Глаза у него загорелись, и на лице выступила краска.

– Ну, на́, ешь, на́, подавись, на́, – начал он, прищурив глаза и опустив углы губ, – на́, душегубец окаянный, пей христианскую кровь, пей…

Лесник обернулся.

– Тебе говорю, тебе, азият, кровопийца, тебе!

– Пьян ты, что ли, что ругаться вздумал? – заговорил с изумлением лесник. – С ума сошел, что ли?

– Пьян!.. не на твои деньги, душегубец окаянный, зверь, зверь, зверь!

– Ах, ты… да я тебя!..

– А мне что? Все едино – пропадать; куда я без лошади пойду? Пришиби – один конец; что с голоду, что так – все едино. Пропадай все: жена, дети, – околевай все… А до тебя, погоди, доберемся!

Бирюк приподнялся.

– Бей, бей, – подхватил мужик свирепым голосом, – бей, на́, на́, бей… (Девочка торопливо вскочила с полу и уставилась

на него.) Бей! Бей!

– Молчать! – загремел лесник и шагнул два раза.

– Полно, полно, Фома! – закричал я. – Оставь его… бог с ним.

– Не стану я молчать, – продолжал несчастный. – Все едино – околевать-то. Душегубец ты, зверь, погибели на тебя нету… Да постой, недолго тебе царствовать! затянут тебе глотку, постой!

Бирюк схватил его за плечо… Я бросился на помощь мужику…

– Не троньте, барин! – крикнул на меня лесник.

Я бы не побоялся его угрозы и уже протянул было руку, но, к крайнему моему изумлению, он одним поворотом сдернул с локтей мужика кушак, схватил его за шиворот, нахлобучил ему шапку на глаза, растворил дверь и вытолкнул его вон.

– Убирайся к черту с своею лошадью! – закричал он ему вслед, – да смотри, в другой раз у меня…

Он вернулся в избу и стал копаться в углу.

– Ну, Бирюк, – промолвил я, наконец, – удивил ты меня: ты, я вижу, славный малый.

– Э, полноте, барин, – перебил он меня с досадой, – не извольте только сказывать. Да уж я лучше вас провожу, – прибавил он, – знать, дождика-то вам не переждать…

На дворе застучали колеса мужицкой телеги.

– Вишь, поплелся! – пробормотал он, – да я его!..

Через полчаса он простился со мной на опушке леса.

Певцы

Небольшое сельцо Колотовка, принадлежавшее некогда помещице, за лихой и бойкий прав прозванной в околотке Стрыганихой (настоящее имя ее осталось неизвестным), а ныне состоящее за каким-то петербургским немцем, лежит на скате голого холма, сверху донизу рассеченного страшным оврагом, который, зияя как бездна, вьется, разрытый и размытый, по самой середине улицы и пуще реки, – через реку можно по крайней мере навести мост, – разделяет обе стороны бедной деревушки. Несколько тощих ракит боязливо спускаются по песчаным его бокам; на самом дне, сухом и желтом, как медь, лежат огромные плиты глинистого камня. Невеселый вид, нечего сказать, – а между тем всем окрестным жителям хорошо известна дорога в Колотовку: они ездят туда охотно и часто.

У самой головы оврага, в нескольких шагах от той точки, где он начинается узкой трещиной, стоит небольшая четвероугольная избушка, стоит одна, отдельно от других. Она крыта соломой, с трубой; одно окно, словно зоркий глаз,

обращено к оврагу и в зимние вечера, освещенное изнутри, далеко виднеется в тусклом тумане мороза и не одному проезжему мужичку мерцает путеводной звездою. Над дверью избушки прибита голубая дощечка: эта избушка – кабак, прозванный «Притынным»[63]. В этом кабаке вино продается, вероятно, не дешевле положенной цены, но посещается он гораздо прилежнее, чем все окрестные заведения такого же рода. Причиной этому целовальник Николай Иваныч.

Николай Иваныч – некогда стройный, кудрявый и румяный парень, теперь же необычайно толстый, уже поседевший мужчина с заплывшим лицом, хитро-добродушными глазками и жирным лбом, перетянутым морщинами, словно нитками, – уже более двадцати лет проживает в Колотовке. Николай Иваныч человек расторопный и сметливый, как большая часть целовальников. Не отличаясь ни особенной любезностью, ни говорливостью, он обладает даром привлекать и удерживать у себя гостей, которым как-то весело сидеть перед его стойкой, под спокойным и приветливым, хотя зорким взглядом флегматического хозяина. У него много здравого смысла; ему хорошо знаком и помещичий быт, и крестьянский, и мещанский; в трудных случаях он мог бы подать неглупый совет, но, как человек осторожный и эгоист, предпочитает оставаться в стороне и разве только отдаленными, словно без всякого намерения произнесенными намеками наводит своих посетителей – и то любимых им посетителей – на путь истины. Он знает толк во всем, что важно или занимательно для русского человека: в лошадях и в скотине, в лесе, в кирпичах, в посуде, в красном товаре и в кожевенном, в песнях и в плясках. Когда у него нет посещения, он обыкновенно сидит, как мешок, на земле перед дверью своей избы, подвернув под себя свои тонкие ножки, и перекидывается ласковыми словцами со всеми прохожими. Много видал он на своем веку, пережил не один десяток мелких дворян, заезжавших к нему за «очищенным», знает всё, что делается на сто верст кругом, и никогда не пробалтывается, не показывает даже виду, что ему и то известно, чего не подозревает самый проницательный становой. Знай себе помалчивает, да посмеивается, да стаканчиками пошевеливает. Его соседи уважают: штатский генерал Щерепетенко, первый по чину владелец в уезде, всякий раз снисходительно ему кланяется, когда проезжает мимо его домика. Николай Иваныч человек со влиянием: он известного конокрада заставил возвратить лошадь, которую тот свел со двора у одного из его знакомых, образумил мужиков соседней деревни, не хотевших принять нового управляющего, и т. д. Впрочем, не должно думать, чтобы

он это делал из любви к справедливости, из усердия к ближним – нет! Он просто старается предупредить все то, что может как-нибудь нарушить его спокойствие. Николай Иваныч женат, и дети у него есть. Жена его, бойкая, востроносая и быстроглазая мещанка, в последнее время тоже несколько отяжелела телом, подобно своему мужу. Он во всем на нее полагается, и деньги у ней под ключом. Пьяницы-крикуны ее боятся; она их не любит: выгоды от них мало, а шуму много; молчаливые, угрюмые ей скорее по сердцу. Дети Николая Иваныча еще малы; первые все перемерли, но оставшиеся пошли в родителей: весело глядеть на умные личики этих здоровых ребят.

Был невыносимо жаркий июльский день, когда я, медленно передвигая ноги, вместе с моей собакой поднимался вдоль Колотовского оврага в направлении Притынного кабачка. Солнце разгоралось на небе, как бы свирепея; парило и пекло неотступно; воздух был весь пропитан душной пылью. Покрытые лоском грачи и вороны, разинув носы, жалобно глядели на проходящих, словно прося их участья; одни воробьи не горевали и, распуша перышки, еще яростнее прежнего чирикали и дрались по заборам, дружно взлетали с пыльной дороги, серыми тучками носились над зелеными конопляниками. Жажда меня мучила. Воды не было близко: в Колотовке, как и во многих других степных деревнях, мужики, за неименьем ключей и колодцев, пьют какую-то жидкую грязцу из пруда… Но кто же назовет это отвратительное пойло водою? Я хотел спросить у Николая Иваныча стакан пива или квасу.

Признаться сказать, ни в какое время года Колотовка не представляет отрадного зрелища; но особенно грустное чувство возбуждает она, когда июльское сверкающее солнце своими неумолимыми лучами затопляет и бурые полуразметанные крыши домов, и этот глубокий овраг, и выжженный, запыленный выгон, по которому безнадежно скитаются худые, длинноногие курицы, и серый осиновый сруб с дырами вместо окон, остаток прежнего барского дома, кругом заросший крапивой, бурьяном и полынью, и покрытый гусиным пухом, черный, словно раскаленный пруд, с каймой из полувысохшей грязи и сбитой набок плотиной, возле которой на мелко истоптанной, пепеловидной земле овцы, едва дыша и чихая от жара, печально теснятся друг к дружке и с унылым терпеньем наклоняют головы как можно ниже, как будто выжидая, когда ж пройдет наконец этот невыносимый зной. Усталыми шагами приближался я к жилищу Николая Иваныча, возбуждая, как водится, в ребятишках изумление, доходившее до напряженно-бессмысленного созерцания, в собаках –

негодование, выражавшееся лаем, до того хриплым и злобным, что, казалось, у них отрывалась вся внутренность и они сами потом кашляли и задыхались, – как вдруг на пороге кабачка показался мужчина высокого роста, без шапки, во фризовой шинели, низко подпоясанной голубым кушачком. На вид он казался дворовым; густые седые волосы в беспорядке вздымались над сухим и сморщенным его лицом. Он звал кого-то, торопливо действуя руками, которые, очевидно, размахивались гораздо далее, чем он сам того желал. Заметно было, что он уже успел выпить.

– Иди, иди же! – залепетал он, с усилием поднимая густые брови. – Иди, Моргач, иди! Экой ты, братец, ползешь, право слово. Это нехорошо, братец. Тут ждут тебя, а ты вот ползешь… Иди.

– Ну, иду, иду, – раздался дребезжащий голос, и из-за избы направо показался человек низенький, толстый и хромой. На нем была довольно опрятная суконная чуйка, вдетая на один рукав; высокая остроконечная шапка, прямо надвинутая на брови, придавала его круглому, пухлому лицу выражение лукавое и насмешливое. Его маленькие желтые глазки так и бегали, с тонких губ не сходила сдержанная, напряженная улыбка, а нос, острый и длинный, нахально выдвигался вперед, как руль. – Иду, любезный, – продолжал он, ковыляя в направлении питейного заведенья, – зачем ты меня зовешь?.. Кто меня ждет?

– Зачем я тебя зову? – сказал с укоризной человек во фризовой шинели. – Экой ты, Моргач, чудной, братец: тебя зовут в кабак, а ты еще спрашиваешь зачем. А ждут тебя всё люди добрые: Турок-Яшка, да Дикий-Барин, да рядчик с Жиздры. Яшка-то с рядчиком об заклад побились: осьмуху пива поставили – кто кого одолеет, лучше споет то есть… понимаешь?

– Яшка петь будет? – с живостью проговорил человек, прозванный Моргачом. – И ты не врешь, Обалдуй?

– Я не вру, – с достоинством отвечал Обалдуй, – а ты брешешь. Стало быть, будет петь, коли об заклад побился, божья коровка ты этакая, плут ты этакой, Моргач!

– Ну, пойдем, простота, – возразил Моргач.

– Ну, поцелуй же меня по крайней мере, душа ты моя, – залепетал Обалдуй, широко раскрыв объятия.

– Вишь, Езоп изнеженный, – презрительно ответил Моргач, отталкивая его локтем, и оба, нагнувшись, вошли в низенькую дверь.

Слышанный мною разговор сильно возбудил мое любопытство. Уже не раз доходили до меня слухи об Яшке-Турке как о лучшем певце в околотке, и вдруг мне представился случай

услышать его в состязании с другим мастером. Я удвоил шаги и вошел в заведение.

Вероятно, не многие из моих читателей имели случай заглядывать в деревенские кабаки; но наш брат, охотник, куда не заходит! Устройство их чрезвычайно просто. Они состоят обыкновенно из темных сеней и белой избы, разделенной надвое перегородкой, за которую никто из посетителей не имеет права заходить. В этой перегородке, над широким дубовым столом, проделано большое продольное отверстие. На этом столе, или стойке, продается вино. Запечатанные штофы разной величины рядком стоят на полках, прямо против отверстия. В передней части избы, предоставленной посетителям, находятся лавки, две-три пустые бочки, угловой стол. Деревенские кабаки большей частью довольно темны, и почти никогда не увидите вы на их бревенчатых стенах каких-нибудь ярко раскрашенных лубочных картин, без которых редкая изба обходится.

Когда я вошел в Притынный кабачок, в нем уже собралось довольно многочисленное общество.

За стойкой, как водится, почти во всю ширину отверстия, стоял Николай Иваныч, в пестрой ситцевой рубахе, и, с ленивой усмешкой на пухлых щеках, наливал своей полной и белой рукой два стакана вина вошедшим приятелям, Моргачу и Обалдую; а за ним, в углу, возле окна, виднелась его востроглазая жена. Посередине комнаты стоял Яшка-Турок, худой и стройный человек лет двадцати трех, одетый в долгополый нанковый кафтан голубого цвета. Он смотрел удалым фабричным малым и, казалось, не мог похвастаться отличным здоровьем. Его впалые щеки, большие беспокойные серые глаза, прямой нос с тонкими, подвижными ноздрями, белый покатый лоб с закинутыми назад светло-русыми кудрями, крупные, но красивые, выразительные губы – все его лицо изобличало человека впечатлительного и страстного. Он был в большом волненье: мигал глазами, неровно дышал, руки его дрожали, как в лихорадке, – да у него и точно была лихорадка, та тревожная, внезапная лихорадка, которая так знакома всем людям, говорящим или поющим перед собранием. Подле него стоял мужчина лет сорока, широкоплечий, широкоскулый, с низким лбом, узкими татарскими глазами, коротким и плоским носом, четвероугольным подбородком и черными блестящими волосами, жесткими, как щетина. Выражение его смуглого с свинцовым отливом лица, особенно его бледных губ, можно было бы назвать почти свирепым, если б оно не было так спокойно-задумчиво. Он почти не шевелился и только медленно поглядывал кругом, как бык из-под ярма. Одет он был в какой-то поношенный сюртук с медными гладкими

пуговицами; старый черный шелковый платок окутывал его огромную шею. Звали его Диким-Барином. Прямо против него, на лавке под образами, сидел соперник Яшки – рядчик из Жиздры. Это был невысокого роста плотный мужчина лет тридцати, рябой и курчавый, с тупым вздернутым носом, живыми карими глазками и жидкой бородкой. Он бойко поглядывал кругом, подсунув под себя руки, беспечно болтал и постукивал ногами, обутыми в щегольские сапоги с оторочкой. На нем был новый тонкий армяк из серого сукна с плисовым воротником, от которого резко отделялся край алой рубахи, плотно застегнутой вокруг горла. В противоположном углу, направо от двери, сидел за столом какой-то мужичок в узкой изношенной свите, с огромной дырой на плече. Солнечный свет струился жидким желтоватым потоком сквозь запыленные стекла двух небольших окошек и, казалось, не мог победить обычной темноты комнаты: все предметы были освещены скупо, словно пятнами. Зато в ней было почти прохладно, и чувство духоты и зноя, словно бремя, свалилось у меня с плеч, как только я переступил порог.

Мой приход – я это мог заметить – сначала несколько смутил гостей Николая Иваныча; но, увидев, что он поклонился мне, как знакомому человеку, они успокоились и уже более не обращали на меня внимания. Я спросил себе пива и сел в уголок, возле мужичка в изорванной свите.

– Ну, что ж! – возопил вдруг Обалдуй, выпив духом стакан вина и сопровождая свое восклицание теми странными размахиваниями рук, без которых он, по-видимому, не произносил ни одного слова. – Чего еще ждать? Начинать так начинать. А? Яша?..

– Начинать, начинать, – одобрительно подхватил Николай Иваныч.

– Начнем, пожалуй, – хладнокровно и с самоуверенной улыбкой промолвил рядчик, – я готов.

– И я готов, – с волнением произнес Яков.

– Ну, начинайте, ребятки, начинайте, – пропищал Моргач. Но, несмотря на единодушно изъявленное желание, никто не начинал; рядчик даже не приподнялся с лавки, – все словно ждали чего-то.

– Начинай! – угрюмо и резко проговорил Дикий-Барин.

Яков вздрогнул. Рядчик встал, осунул кушак и откашлялся.

– А кому начать? – спросил он слегка изменившимся голосом у Дикого-Барина, который все продолжал стоять неподвижно посередине комнаты, широко расставив толстые ноги и почти по локоть засунув могучие руки в карманы шаровар.

– Тебе, тебе, рядчик, – залепетал Обалдуй, – тебе, братец. Дикий-Барин посмотрел на него исподлобья. Обалдуй слабо пискнул, замялся, глянул куда-то в потолок, повел плечами и умолк.

– Жеребий кинуть, – с расстановкой произнес Дикий-Барин, – да осьмуху на стойку.

Николай Иваныч нагнулся, достал, кряхтя, с полу осьмуху и поставил ее на стол.

Дикий-Барин глянул на Якова и промолвил: «Ну!»

Яков зарылся у себя в карманах, достал грош и наметил его зубом. Рядчик вынул из-под полы кафтана новый кожаный кошелек, не торопясь распутал шнурок и, насыпав множество мелочи на руку, выбрал новенький грош. Обалдуй подставил свой затасканный картуз с обломанным и отставшим козырьком; Яков кинул в него свой грош, рядчик – свой.

– Тебе выбирать, – проговорил Дикий-Барин, обратившись к Моргачу.

Моргач самодовольно усмехнулся, взял картуз в обе руки и начал его встряхивать.

Мгновенно воцарилась глубокая тишина: гроши слабо звякали, ударяясь друг о друга. Я внимательно поглядел кругом: все лица выражали напряженное ожидание; сам Дикий-Барин прищурился; мой сосед, мужичок в изорванной свитке, и тот даже с любопытством вытянул шею. Моргач запустил руку в картуз и достал рядчиков грош; все вздохнули. Яков покраснел, а рядчик провел рукой по волосам.

– Ведь я же говорил, что тебе, – воскликнул Обалдуй, – я ведь говорил.

– Ну, ну, не «циркай»![64] – презрительно заметил Дикий-Барин.

– Начинай, – продолжал он, качнув головой на рядчика.

– Какую же мне песню петь? – спросил рядчик, приходя в волненье.

– Какую хочешь, – отвечал Моргач. – Какую вздумается, ту и пой.

– Конечно, какую хочешь, – прибавил Николай Иваныч, медленно складывая руки на груди. – В этом тебе указу нету. Пой какую хочешь; да только пой хорошо; а мы уж потом решим по совести.

– Разумеется, по совести, – подхватил Обалдуй и полизал край пустого стакана.

– Дайте, братцы, откашляться маленько, – заговорил рядчик, перебирая пальцами вдоль воротника кафтана.

– Ну, ну, не прохлаждайся – начинай! – решил Дикий-Барин

и потупился.

Рядчик подумал немного, встряхнул головой и выступил вперед. Яков впился в него глазами…

Но прежде, чем я приступлю к описанию самого состязания, считаю не лишним сказать несколько слов о каждом из действующих лиц моего рассказа. Жизнь некоторых из них была уже мне известна, когда я встретился с ними в Притынном кабачке; о других я собрал сведения впоследствии.

Начнем с Обалдуя. Настоящее имя этого человека было Евграф Иванов; но никто во всем околотке не звал его иначе как Обалдуем, и он сам величал себя тем же прозвищем: так хорошо оно к нему пристало. И действительно, оно как нельзя лучше шло к его незначительным, вечно встревоженным чертам. Это был загулявший, холостой дворовый человек, от которого собственные господа давным-давно отступились и который, не имея никакой должности, не получая ни гроша жалованья, находил, однако, средство каждый день покутить на чужой счет. У него было множество знакомых, которые поили его вином и чаем, сами не зная зачем, потому что он не только не был в обществе забавен, но даже, напротив, надоедал всем своей бессмысленной болтовней, несносной навязчивостью, лихорадочными телодвижениями и беспрестанным неестественным хохотом. Он не умел ни петь, ни плясать; отроду не сказал не только умного, даже путного слова: все «лотошил» да врал что ни попало – прямой Обалдуй! И между тем ни одной попойки на сорок верст кругом не обходилось без того, чтобы его долговязая фигура не вертелась тут же между гостями, – так уж к нему привыкли и переносили его присутствие как неизбежное зло. Правда, обходились с ним презрительно, но укрощать его нелепые порывы умел один Дикий-Барин.

Моргач нисколько не походил на Обалдуя. К нему тоже шло названье Моргача, хотя он глазами не моргал более других людей; известное дело: русский народ на прозвища мастер. Несмотря на мое старанье выведать пообстоятельнее прошедшее этого человека, в жизни его остались для меня – и, вероятно, для многих других – темные пятна, места, как выражаются книжники, покрытые глубоким мраком неизвестности. Я узнал только, что он некогда был кучером у старой бездетной барыни, бежал со вверенной ему тройкой лошадей, пропадал целый год и, должно быть, убедившись на деле в невыгодах и бедствиях бродячей жизни, вернулся сам, но уже хромой, бросился в ноги своей госпоже и, в течение нескольких лет примерным поведеньем загладив свое преступленье, понемногу вошел к ней в милость, заслужил наконец ее полную доверенность, попал

в приказчики, а по смерти барыни, неизвестно каким образом, оказался отпущенным на волю, приписался в мещане, начал снимать у соседей бакши, разбогател и живет теперь припеваючи. Это человек опытный, себе на уме, не злой и не добрый, а более расчетливый; это тертый калач, который знает людей и умеет ими пользоваться. Он осторожен и в то же время предприимчив, как лисица; болтлив, как старая женщина, и никогда не проговаривается, а всякого другого заставит высказаться; впрочем, не прикидывается простачком, как это делают иные хитрецы того же десятка, да ему и трудно было бы притворяться: я никогда не видывал более проницательных и умных глаз, как его крошечные, лукавые «гляделки»[65]. Они никогда не смотрят просто – всё высматривают да подсматривают. Моргач иногда по целым неделям обдумывает какое-нибудь, по-видимому, простое предприятие, а то вдруг решится на отчаянно смелое дело; кажется, тут ему и голову сломить… смотришь – все удалось, все как по маслу пошло. Он счастлив и верит в свое счастье, верит приметам. Он вообще очень суеверен. Его не любят, потому что ему самому ни до кого дела нет, но уважают. Все его семейство состоит из одного сынишки, в котором он души не чает и который, воспитанный таким отцом, вероятно, пойдет далеко. «А Моргачонок в отца вышел», – уже и теперь говорят о нем вполголоса старики, сидя на завалинках и толкуя меж собой в летние вечера; и все понимают, что это значит, и уже не прибавляют ни слова.

Об Якове-Турке и рядчике нечего долго распространяться. Яков, прозванный Турком, потому что действительно происходил от пленной турчанки, был по душе – художник во всех смыслах этого слова, а по званию – черпальщик на бумажной фабрике у купца; что же касается до рядчика, судьба которого, признаюсь, мне осталась неизвестной, то он показался мне изворотливым и бойким городским мещанином. Но о Диком-Барине стоит поговорить несколько поподробнее.

Первое впечатление, которое производил на вас вид этого человека, было чувство какой-то грубой, тяжелой, но неотразимой силы. Сложен он был неуклюже, «сбитнем», как говорят у нас, но от него так и несло несокрушимым здоровьем, и – странное дело – его медвежеватая фигура не была лишена какой-то своеобразной грации, происходившей, может быть, от совершенно спокойной уверенности в собственном могуществе. Трудно было решить с первого разу, к какому сословию принадлежал этот Геркулес; он не походил ни на дворового, ни на мещанина, ни на обеднявшего подьячего в отставке, ни на мелкопоместного разорившегося дворянина – псаря и драчуна: он был уж точно сам

по себе. Никто не знал, откуда он свалился к нам в уезд; поговаривали, что происходил он от однодворцев и состоял будто где-то прежде на службе; но ничего положительного об этом не знали; да и от кого было и узнавать, – не от него же самого: не было человека более молчаливого и угрюмого. Также никто не мог положительно сказать, чем он живет; он никаким ремеслом не занимался, ни к кому не ездил, не знался почти ни с кем, а деньги у него водились; правда, небольшие, но водились. Вел он себя не то что скромно, – в нем вообще не было ничего скромного – но тихо; он жил, словно никого вокруг себя не замечал и решительно ни в ком не нуждался. Дикий-Барин (так его прозвали; настоящее же его имя было Перевлесов) пользовался огромным влиянием во всем округе; ему повиновались тотчас и с охотой, хотя он не только не имел никакого права приказывать кому бы то ни было, но даже сам не изъявлял малейшего притязания на послушание людей, с которыми случайно сталкивался. Он говорил – ему покорялись; сила всегда свое возьмет. Он почти не пил вина, не знался с женщинами и страстно любил пение. В этом человеке было много загадочного; казалось, какие-то громадные силы угрюмо покоились в нем, как бы зная, что раз поднявшись, что сорвавшись раз на волю, они должны разрушить и себя и все, до чего ни коснутся; и я жестоко ошибаюсь, если в жизни этого человека не случилось уже подобного взрыва, если он, наученный опытом и едва спасшись от гибели, неумолимо не держал теперь самого себя в ежовых рукавицах. Особенно поражала меня в нем смесь какой-то врожденной, природной свирепости и такого же врожденного благородства, – смесь, которой я не встречал ни в ком другом.

Итак, рядчик выступил вперед, закрыл до половины глаза и запел высочайшим фальцетом. Голос у него был довольно приятный и сладкий, хотя несколько сиплый; он играл и вилял этим голосом, как юлою, беспрестанно заливался и переливался сверху вниз и беспрестанно возвращался к верхним нотам, которые выдерживал и вытягивал с особенным стараньем, умолкал и потом вдруг подхватывал прежний напев с какой-то залихватской, заносистой удалью. Его переходы были иногда довольно смелы, иногда довольно забавны: знатоку они бы много доставили удовольствия; немец пришел бы от них в негодование. Это был русский tenore di grazia, tenor leger[66]. Пел он веселую, плясовую песню, слова которой, сколько я мог уловить сквозь бесконечные украшения, прибавленные согласные и восклицания, были следующие:

Распашу я, молода-молоденька,
Землицы маленько;
Я посею, молода-молоденька,
Цветика аленька.

Он пел; все слушали его с большим вниманьем. Он, видимо, чувствовал, что имеет дело с людьми сведущими, и потому, как говорится, просто лез из кожи. Действительно, в наших краях знают толк в пении, и недаром село Сергиевское, на большой орловской дороге, славится во всей России своим особенно приятным и согласным напевом. Долго рядчик пел, не возбуждая слишком сильного сочувствия в своих слушателях; ему недоставало поддержки, хора; наконец, при одном особенно удачном переходе, заставившем улыбнуться самого Дикого-Барина, Обалдуй не выдержал и вскрикнул от удовольствия. Все встрепенулись. Обалдуй с Моргачом начали вполголоса подхватывать, подтягивать, покрикивать: «Лихо!.. Забирай, шельмец!.. Забирай, вытягивай, аспид! Вытягивай еще! Накаливай еще, собака ты этакая, пес!.. Погуби Ирод твою душу!» и пр. Николай Иваныч из-за стойки одобрительно закачал головой направо и налево. Обалдуй наконец затопал, засеменил ногами и задергал плечиком, а у Якова глаза так и разгорелись, как уголья, и он весь дрожал как лист и беспорядочно улыбался. Один Дикий-Барин не изменился в лице и по-прежнему не двигался с места; но взгляд его, устремленный на рядчика, несколько смягчился, хотя выражение губ оставалось презрительным. Ободренный знаками всеобщего удовольствия, рядчик совсем завихрился и уж такие начал отделывать завитушки, так защелкал и забарабанил языком, так неистово заиграл горлом, что, когда наконец, утомленный, бледный и облитый горячим потом, он пустил, перекинувшись назад всем телом, последний замирающий возглас, – общий, слитный крик ответил ему неистовым взрывом. Обалдуй бросился ему на шею и начал душить его своими длинными, костлявыми руками; на жирном лице Николая Иваныча выступила краска, и он словно помолодел; Яков как сумасшедший закричал: «Молодец, молодец!» Даже мой сосед, мужик в изорванной свите, не вытерпел и, ударив кулаком по столу, воскликнул: «А-га! хорошо, черт побери, хорошо!» – и с решительностью плюнул в сторону.

– Ну, брат, потешил! – кричал Обалдуй, не выпуская изнеможенного рядчика из своих объятий. – Потешил, нечего сказать! Выиграл, брат, выиграл! Поздравляю – осьмуха твоя!

Яшке до тебя далеко… Уж я тебе говорю: далеко… А ты мне верь! (И он снова прижал рядчика к своей груди.)

– Да пусти же его; пусти, неотвязная… – с досадой заговорил Моргач, – дай ему присесть на лавку-то; вишь, он устал… Экой ты фофан, братец, право, фофан! Что пристал, словно банный лист?

– Ну что ж, пусть садится, а я за его здоровье выпью, – сказал Обалдуй и подошел к стойке. – На твой счет, брат, – прибавил он, обращаясь к рядчику.

Тот кивнул головой, сел на лавку, достал из шапки полотенце и начал утирать лицо; а Обалдуй с торопливой жадностью выпил стакан и, по привычке горьких пьяниц, крякая, принял грустно-озабоченный вид.

– Хорошо поешь, брат, хорошо, – ласково заметил Николай Иваныч. – А теперь за тобой очередь, Яша: смотри, не сробей. Посмотрим, кто кого, посмотрим… А хорошо поет рядчик, ей-богу хорошо.

– Очинна хорошо, – заметила Николай-Иванычева жена и с улыбкой поглядела на Якова.

– Хорошо-га! – повторил вполголоса мой сосед.

– А, заворотень-полеха![67] – завопил вдруг Обалдуй и, подойдя к мужичку с дырой на плече, уставился на него пальцем, запрыгал и залился дребезжащим хохотом. – Полеха! полеха! Га, баде паняй[68], заворотень! Зачем пожаловал, заворотень? – кричал он сквозь смех.

Бедный мужик смутился и уже собрался было встать да уйти поскорей, как вдруг раздался медный голос Дикого-Барина:

– Да что ж это за несносное животное такое? – произнес он, скрыпнув зубами.

– Я ничего, – забормотал Обалдуй, – я ничего… я так…

– Ну, хорошо, молчать же! – возразил Дикий-Барин. – Яков, начинай!

Яков взялся рукой за горло.

– Что, брат, того… что-то… Гм… Не знаю, право, что-то того…

– Ну, полно, не робей. Стыдись!.. чего вертишься?.. Пой, как бог тебе велит.

И Дикий-Барин потупился, выжидая.

Яков помолчал, взглянул кругом и закрылся рукой. Все так и впились в него глазами, особенно рядчик, у которого на лице, сквозь обычную самоуверенность и торжество успеха, проступило невольное, легкое беспокойство. Он прислонился к стене и опять положил под себя обе руки, но уже не болтал ногами. Когда же наконец Яков открыл свое лицо – оно было бледно, как у мертвого; глаза едва мерцали сквозь опущенные ресницы.

Он глубоко вздохнул и запел… Первый звук его голоса был слаб и неровен и, казалось, не выходил из его груди, но принесся откуда-то издалека, словно залетел случайно в комнату. Странно подействовал этот трепещущий, звенящий звук на всех нас; мы взглянули друг на друга, а жена Николая Иваныча так и выпрямилась. За этим первым звуком последовал другой, более твердый и протяжный, но все еще видимо дрожащий, как струна, когда, внезапно прозвенев под сильным пальцем, она колеблется последним, быстро замирающим колебаньем, за вторым – третий, и, понемногу разгорячаясь и расширяясь, полилась заунывная песня. «Не одна во поле дороженька пролегала», – пел он, и всем нам сладко становилось и жутко. Я, признаюсь, редко слыхивал подобный голос: он был слегка разбит и звенел, как надтреснутый; он даже сначала отзывался чем-то болезненным; но в нем была и неподдельная глубокая страсть, и молодость, и сила, и сладость, и какая-то увлекательно-беспечная, грустная скорбь. Русская, правдивая, горячая душа звучала и дышала в нем и так и хватала вас за сердце, хватала прямо за его русские струны. Песнь росла, разливалась. Яковом, видимо, овладевало упоение: он уже не робел, он отдавался весь своему счастью; голос его не трепетал более – он дрожал, но той едва заметной внутренней дрожью страсти, которая стрелой вонзается в душу слушателя, и беспрестанно крепчал, твердел и расширялся. Помнится, я видел однажды, вечером, во время отлива, на плоском песчаном берегу моря, грозно и тяжко шумевшего вдали, большую белую чайку: она сидела неподвижно, подставив шелковистую грудь алому сиянью зари, и только изредка медленно расширяла свои длинные крылья навстречу знакомому морю, навстречу низкому, багровому солнцу: я вспомнил о ней, слушая Якова. Он пел, совершенно позабыв и своего соперника, и всех нас, но, видимо, поднимаемый, как бодрый пловец волнами, нашим молчаливым, страстным участьем. Он пел, и от каждого звука его голоса веяло чем-то родным и необозримо широким, словно знакомая степь раскрывалась перед вами, уходя в бесконечную даль. У меня, я чувствовал, закипали на сердце и поднимались к глазам слезы; глухие, сдержанные рыданья внезапно поразили меня… Я оглянулся – жена целовальника плакала, припав грудью к окну. Яков бросил на нее быстрый взгляд и залился еще звонче, еще слаще прежнего; Николай Иваныч потупился, Моргач отвернулся; Обалдуй, весь разнеженный, стоял, глупо разинув рот; серый мужичок тихонько всхлипывал в уголку, с горьким шепотом покачивая головой; и по железному лицу Дикого-Барина, из-под совершенно надвинувшихся бровей, медленно

прокатилась тяжелая слеза; рядчик поднес сжатый кулак ко лбу и не шевелился… Не знаю, чем бы разрешилось всеобщее томленье, если б Яков вдруг не кончил на высоком, необыкновенно тонком звуке – словно голос у него оборвался. Никто не крикнул, даже не шевельнулся; все как будто ждали, не будет ли он еще петь; но он раскрыл глаза, словно удивленный нашим молчаньем, вопрошающим взором обвел всех кругом и увидал, что победа была его…

– Яша, – проговорил Дикий-Барин, положил ему руку на плечо и – смолк.

Мы все стояли как оцепенелые. Рядчик тихо встал и подошел к Якову. «Ты… твоя… ты выиграл», – произнес он наконец с трудом и бросился вон из комнаты.

Его быстрое, решительное движение как будто нарушило очарованье: все вдруг заговорили шумно, радостно. Обалдуй подпрыгнул кверху, залепетал, замахал руками, как мельница крыльями; Моргач, ковыляя, подошел к Якову и стал с ним целоваться; Николай Иваныч приподнялся и торжественно объявил, что прибавляет от себя еще осьмуху пива; Дикий-Барин посмеивался каким-то добрым смехом, которого я никак не ожидал встретить на его лице; серый мужичок то и дело твердил в своем уголку, утирая обоими рукавами глаза, щеки, нос и бороду: «А хорошо, ей-богу хорошо, ну, вот будь я собачий сын, хорошо!» – а жена Николая Иваныча, вся раскрасневшаяся, быстро встала и удалилась. Яков наслаждался своей победой, как дитя; все его лицо преобразилось; особенно его глаза так и засияли счастьем. Его потащили к стойке; он подозвал к ней расплакавшегося серого мужичка, послал целовальникова сынишку за рядчиком, которого, однако, тот не сыскал, и начался пир. «Ты еще нам споешь, ты до вечера нам петь будешь», – твердил Обалдуй, высоко поднимая руки.

Я еще раз взглянул на Якова и вышел. Я не хотел остаться – я боялся испортить свое впечатление. Но зной был нестерпим по-прежнему. Он как будто висел над самой землей густым тяжелым слоем; на темно-синем небе, казалось, крутились какие-то мелкие, светлые огоньки сквозь тончайшую, почти черную пыль. Все молчало; было что-то безнадежное, придавленное в этом глубоком молчании обессиленной природы. Я добрался до сеновала и лег на только что скошенную, но уже почти высохшую траву. Долго я не мог задремать; долго звучал у меня в ушах неотразимый голос Якова… Наконец жара и усталость взяли, однако ж, свое, и я заснул мертвым сном. Когда я проснулся – все уже потемнело; вокруг разбросанная трава сильно пахла и чуть-чуть отсырела; сквозь тонкие жерди

полураскрытой крыши слабо мигали бледные звездочки. Я вышел. Заря уже давно погасла, и едва белел на небосклоне ее последний след; но в недавно раскаленном воздухе сквозь ночную свежесть чувствовалась еще теплота, и грудь все еще жаждала холодного дуновенья. Ветра не было, не было и туч; небо стояло кругом все чистое и прозрачно-темное, тихо мерцая бесчисленными, но чуть видными звездами. По деревне мелькали огоньки; из недалекого, ярко освещенного кабака несся нестройный, смутный гам, среди которого, мне казалось, я узнавал голос Якова. Ярый смех по временам поднимался оттуда взрывом. Я подошел к окошку и приложился лицом к стеклу. Я увидел невеселую, хотя пеструю и живую картину: всё было пьяно – всё, начиная с Якова. С обнаженной грудью сидел он на лавке и, напевая осиплым голосом какую-то плясовую, уличную песню, лениво перебирал и щипал струны гитары. Мокрые волосы клочьями висели над его страшно побледневшим лицом. Посередине кабака Обалдуй, совершенно «развинченный» и без кафтана, выплясывал вперепрыжку перед мужиком в сероватом армяке; мужичок, в свою очередь, с трудом топотал и шаркал ослабевшими ногами и, бессмысленно улыбаясь сквозь взъерошенную бороду, изредка помахивал одной рукой, как бы желая сказать: «Куда ни шло!» Ничего не могло быть смешней его лица; как он ни вздергивал кверху свои брови, отяжелевшие веки не хотели подняться, а так и лежали на едва заметных, посоловелых, но сладчайших глазках. Он находился в том милом состоянии окончательно подгулявшего человека, когда всякий прохожий, заглянув ему в лицо, непременно скажет: «Хорош, брат, хорош!» Моргач, весь красный как рак и широко раздув ноздри, язвительно посмеивался из угла; один Николай Иваныч, как и следует истинному целовальнику, сохранял свое неизменное хладнокровие. В комнату набралось много новых лиц; но Дикого-Барина я в ней не видал.

Я отвернулся и быстрыми шагами стал спускаться с холма, на котором лежит Колотовка. У подошвы этого холма расстилается широкая равнина; затопленная мглистыми волнами вечернего тумана, она казалась еще необъятней и как будто сливалась с потемневшим небом. Я сходил большими шагами по дороге вдоль оврага, как вдруг где-то далеко в равнине раздался звонкий голос мальчика. «Антропка! Антропка-а-а!..» – кричал он с упорным и слезливым отчаянием, долго, долго вытягивая последний слог.

Он умолкал на несколько мгновений и снова принимался кричать. Голос его звонко разносился в неподвижном, чутко дремлющем воздухе. Тридцать раз, по крайней мере, прокричал

он имя Антропки, как вдруг с противоположного конца поляны, словно с другого света, принесся едва слышный ответ:

– Чего-о-о-о-о?

Голос мальчика тотчас с радостным озлоблением закричал:

– Иди сюда, черт леши-и-и-ий!

– Заче-е-е-ем? – ответил тот спустя долгое время.

– А затем, что тебя тятя высечь хочи-и-ит, – поспешно прокричал первый голос.

Второй голос более не откликнулся, и мальчик снова принялся взывать к Антропке. Возгласы его, более и более редкие и слабые, долетали еще до моего слуха, когда уже стало совсем темно и я огибал край леса, окружающего мою деревеньку и лежащего в четырех верстах от Колотовки…

«Антропка-а-а!» – все еще чудилось в воздухе, наполненном тенями ночи.

Стихотворения в прозе

Воробей

Я возвращался с охоты и шел по аллее сада. Собака бежала впереди меня.

Вдруг она уменьшила свои шаги и начала красться, как бы зачуяв перед собою дичь.

Я глянул вдоль аллеи и увидал молодого воробья с желтизной около клюва и пухом на голове. Он упал из гнезда (ветер сильно качал березы аллеи) и сидел неподвижно, беспомощно растопырив едва прораставшие крылышки.

Моя собака медленно приближалась к нему, как вдруг, сорвавшись с близкого дерева, старый черногрудый воробей камнем упал перед самой ее мордой – и весь взъерошенный, искаженный, с отчаянным и жалким писком прыгнул раза два в направлении зубастой раскрытой пасти.

Он ринулся спасать, он заслонил собою свое детище… но все его маленькое тело трепетало от ужаса, голосок одичал и охрип, он замирал, он жертвовал собою!

Каким громадным чудовищем должна была ему казаться собака! И все-таки он не мог усидеть на своей высокой, безопасной ветке… Сила, сильнее его воли, сбросила его оттуда.

Мой Трезор остановился, попятился… Видно, и он признал эту силу.

Я поспешил отозвать смущенного пса – и удалился, благоговея.

Да, не смейтесь. Я благоговел перед той маленькой,

героической птицей, перед любовным ее порывом.

Любовь, думал я, сильнее смерти и страха смерти. Только ею, только любовью держится и движется жизнь.

Восточная легенда

Кто в Багдаде не знает великого Джиаффара, солнца вселенной?

Однажды, много лет тому назад, – он был еще юношей, – прогуливался Джиаффар в окрестностях Багдада.

Вдруг до слуха его долетел хриплый крик; кто-то отчаянно взывал о помощи.

Джиаффар отличался между своими сверстниками благоразумием и обдуманностью; но сердце у него было жалостливое – и он наделся на свою силу.

Он побежал на крик и увидел дряхлого старика, притиснутого к городской стене двумя разбойниками, которые его грабили.

Джиаффар выхватил свою саблю и напал на злодеев: одного убил, другого прогнал.

Освобожденный старец пал к ногам своего избавителя и, облобызав край его одежды, воскликнул:

– Храбрый юноша, твое великодушие не останется без награды. На вид я – убогий нищий; но только на вид. Я человек не простой. Приходи завтра ранним утром на главный базар; я буду ждать тебя у фонтана – и ты убедишься в справедливости моих слов.

Джиаффар подумал: «На вид человек этот нищий, точно; однако – всяко бывает. Отчего не попытаться?» – и отвечал:

– Хорошо, отец мой, приду.

Старик взглянул ему в глаза – и удалился.

На другое утро, чуть забрезжил свет, Джиаффар отправился на базар. Старик уже ожидал его, облокотясь на мраморную чашу фонтана.

Молча взял он Джиаффара за руку и привел его в небольшой сад, со всех сторон окруженный высокими стенами.

По самой середине этого сада, на зеленой лужайке, росло дерево необычайного вида.

Оно походило на кипарис; только листва на нем была лазоревого цвета.

Три плода – три яблока – висело на тонких, кверху загнутых ветках: одно, средней величины, продолговатое, молочно-белое; другое, большое, круглое, ярко-красное; третье маленькое, сморщенное, желтоватое.

Все дерево слабо шумело, хоть и не было ветра. Оно звенело тонко и жалобно, словно стеклянное; казалось, оно чувствовало приближение Джиаффара.

– Юноша! – промолвил старец. – Сорви любой из этих плодов и знай: сорвешь и съешь белый – будешь умнее всех людей; сорвешь и съешь красный – будешь богат, как еврей Ротшильд; сорвешь и съешь желтый – будешь нравиться старым женщинам. Решайся!.. и не мешкай. Через час и плоды завянут, и само дерево уйдет в немую глубь земли!

Джиаффар понурил голову – и задумался.

– Как тут поступить? – произнес он вполголоса, как бы рассуждая сам с собою. – Сделаешься слишком умным – пожалуй, жить не захочется; сделаешься богаче всех людей – будут все тебе завидовать; лучше же я сорву и съем третье, сморщенное, яблоко!

Он так и поступил; а старец засмеялся беззубым смехом и промолвил:

– О мудрейший юноша! Ты избрал благую часть! На что тебе белое яблоко? Ты и так умнее Соломона. Красное яблоко также тебе не нужно… И без него ты будешь богат. Только богатству твоему никто завидовать не станет.

– Поведай мне, старец, – промолвил, встрепенувшись, Джиаффар, – где живет почтенная мать нашего богоспасаемого халифа?

Старик поклонился до земли – и указал юноше дорогу.

Кто в Багдаде не знает солнца вселенной, великого, знаменитого Джиаффара?

Голуби

Я стоял на вершине пологого холма; передо мною – то золотым, то посеребренным морем раскинулась и пестрела спелая рожь.

Но не бегало зыби по этому морю; не струился душный воздух: назревала гроза великая.

Около меня солнце еще светило – горячо и тускло; но там, за рожью, не слишком далеко, темно-синяя туча лежала грузной громадой на целой половине небосклона.

Все притаилось… все изнывало под зловещим блеском последних солнечных лучей. Не слыхать, не видать ни одной птицы; попрятались даже воробьи. Только где-то вблизи упорно шептал и хлопал одинокий, крупный лист лопуха.

Как сильно пахнет полынь на межах! Я глядел на синюю громаду… и смутно было на душе. Ну скорей же, скорей! – думалось мне, – сверкни, золотая змейка, дрогни, гром! двинься,

покатись, пролейся, злая туча, прекрати тоскливое томленье!

Но туча не двигалась. Она по-прежнему давила безмолвную землю… и только словно пухла да темнела.

И вот по одноцветной ее синеве замелькало что-то ровно и плавно; ни дать ни взять белый платочек или снежный комок. То летел со стороны деревни белый голубь.

Летел, летел все прямо, прямо… и потонул за лесом.

Прошло несколько мгновений – та же стояла жестокая тишь… Но глядь! Уже *два* платка мелькают, *два* комочка несутся назад: то летят домой ровным полетом *два* белых голубя.

И вот, наконец, сорвалась буря – и пошла потеха!

Я едва домой добежал. Визжит ветер, мечется как бешеный, мчатся рыжие, низкие, словно в клочья разорванные облака, все закрутилось, смешалось, захлестал, закачался отвесными столбами рьяный ливень, молнии слепят огнистой зеленью, стреляет как из пушки отрывистый гром, запахло серой…

Но под навесом крыши, на самом кра́юшке слухового окна, рядышком сидят два белых голубя – и тот, кто слетал за товарищем, и тот, кого он привел и, может быть, спас.

Нахохлились оба – и чувствует каждый своим крылом крыло соседа…

Хорошо им! И мне хорошо, глядя на них… Хоть я и один… один, как всегда.

Деревня

Последний день июня месяца; на тысячу верст кругом Россия – родной край.

Ровной синевой залито все небо; одно лишь облачко на нем – не то плывет, не то тает. Безветрие, теплынь… воздух – молоко парное!

Жаворонки звенят; воркуют зобастые голуби; молча реют ласточки; лошади фыркают и жуют, собаки не лают и стоят, смирно повиливая хвостами.

И дымком-то пахнет, и травой – и дегтем маленько – и маленько кожей. Конопляники уже вошли в силу и пускают свой тяжелый, но приятный дух.

Глубокий, но пологий овраг. По бокам в несколько рядов головастые, книзу исщепленные ракиты. По оврагу бежит ручей; на дне его мелкие камешки словно дрожат сквозь светлую рябь. Вдали, на конце-крае земли и неба, синеватая черта большой реки.

Вдоль оврага – по одной стороне опрятные амбарчики, клетушки с плотно закрытыми дверями; по другой стороне пять-

шесть сосновых изб с тесовыми крышами. Над каждой крышей высокий шест скворечницы; над каждым крылечком вырезной железный крутогривый конек. Неровные стекла окон отливают цветами радуги. Кувшины с букетами намалеваны на ставнях. Перед каждой избой чинно стоит исправная лавочка; на завалинках кошки свернулись клубочком, насторожив прозрачные ушки; за высокими порогами прохладно темнеют сени.

Я лежу у самого края оврага на разостланной попоне; кругом – целые вороха только что скошенного, до истомы душистого сена. Догадливые хозяева разбросали сено перед избами: пусть еще немного посохнет на припеке, а там и в сарай! То-то будет спать на нем славно!

Курчавые детские головки торчат из каждого вороха; хохлатые курицы ищут в сене мошек да букашек; белогубый щенок барахтается в спутанных былинках.

Русокудрые парни, в чистых, низко подпоясанных рубахах, в тяжелых сапогах с оторочкой, перекидываются бойкими словами, опершись грудью на отпряженную телегу, зубоскалят.

Из окна выглядывает круглолицая молодка; смеется не то их словам, не то возне ребят в наваленном сене.

Другая молодка сильными руками тащит большое мокрое ведро из колодца… Ведро дрожит и качается на веревке, роняя длинные, огнистые капли.

Передо мной стоит старуха хозяйка в новой клетчатой паневе, в новых котах.

Крупные, дутые бусы в три ряда обвились вокруг смуглой, худой шеи; седая голова повязана желтым платком с красными крапинками; низко навис он над потускневшими глазами.

Но приветливо улыбаются старческие глаза; улыбается все морщинистое лицо. Чай, седьмой десяток доживает старушка… а и теперь еще видать: красавица была в свое время!

Растопырив загорелые пальцы правой руки, держит она горшок с холодным, неснятым молоком, прямо из погреба; стенки горшка покрыты росинками, точно бисером. На ладони левой руки старушка подносит мне большой ломоть еще теплого хлеба. «Кушай, мол, на здоровье, заезжий гость!»

Петух вдруг закричал и хлопотливо захлопал крыльями; ему в ответ, не спеша, промычал запертой теленок.

«Ай да овес!» – слышится голос моего кучера.

О, довольство, покой, избыток русской, вольной деревни! О, тишь и благодать!

И думается мне: к чему нам тут и крест на куполе Святой Софии в Царь-Граде и все, чего так добиваемся мы, городские

люди?

Дрозд

Я лежал на постели, но мне не спалось. Забота грызла меня; тяжелые, утомительно однообразные думы медленно проходили в уме моем, подобно сплошной цепи туманных облаков, безостановочно ползущих, в ненастный день, по вершинам серых холмов.

Ах! я любил тогда безнадежной, горестной любовью, какою можно любить лишь под снегом и холодом годов, когда сердце, не затронутое жизнию, осталось… не молодым! нет… но ненужно и напрасно моложавым.

Белесоватым пятном стоял передо мною призрак окна; все предметы в комнате смутно виднелись: они казались еще неподвижнее и тише в дымчатом полусвете раннего летнего утра. Я посмотрел на часы: было без четверти три часа. И за стенами дома чувствовалась та же неподвижность… И роса, целое море росы!

А в этой росе, в саду, над самым моим окном уже пел, свистал, тюрюлюкал – немолчно, громко, самоуверенно – черный дрозд. Переливчатые звуки проникали в мою затихшую комнату, наполняли ее всю, наполняли мой слух, мою голову, отягченную сухостью бессонницы, горечью болезненных дум.

Они дышали вечностью, эти звуки – всею свежестью, всем равнодушием, всею силою вечности. Голос самой природы слышался мне в них, тот красивый, бессознательный голос, который никогда не начинался – и не кончится никогда.

Он пел, он воспевал, самоуверенно, этот черный дрозд; он знал, что скоро, обычной чередою, блеснет неизменное солнце; в его песне не было ничего своего, личного; он был тот же самый черный дрозд, который тысячу лет тому назад приветствовал то же самое солнце и будет его приветствовать через другие тысячи лет, когда то, что останется от меня, быть может, будет вертеться незримыми пылинками вокруг его живого звонкого тела, в воздушной струе, порванной его пением.

И я, бедный, смешной, влюбленный, личный человек, говорю тебе: спасибо, маленькая птица, спасибо твоей сильной и вольной песенке, так неожиданно зазвеневшей под моим окном в тот невеселый час.

Она не утешила меня, да я и не искал утешения… Но глаза мои омочились слезами, и шевельнулось в груди, приподнялось на миг недвижное, мертвое бремя. Ах! и то существо – не так же ли оно молодо и свеже, как твои ликующие звуки,

передрассветный певец!

Да и стоит ли горевать и томиться, и думать о самом себе, когда уже кругом, со всех сторон разлиты те холодные волны, которые не сегодня-завтра увлекут меня в безбрежный океан?

Слезы лились… а мой милый черный дрозд продолжал как ни в чем не бывало свою безучастную, свою счастливую, свою вечную песнь!

О, какие слезы на разгоревшихся щеках моих осветило взошедшее, наконец, солнце!

Но я улыбался по-прежнему.

Морское плавание

Я плыл из Гамбурга в Лондон на небольшом пароходе. Нас было двое пассажиров: я да маленькая обезьяна, самка из породы уистити, которую один гамбургский купец отправлял в подарок своему английскому компаньону.

Она была привязана тонкой цепочкой к одной из скамеек на палубе и металась и пищала жалобно, по-птичьи.

Всякий раз, когда я проходил мимо, она протягивала мне свою черную, холодную ручку – и взглядывала на меня своими грустными, почти человеческими глазенками. Я брал ее руку – и она переставала пищать и метаться.

Стоял полный штиль. Море растянулось кругом неподвижной скатертью свинцового цвета. Оно казалось невеликим; густой туман лежал на нем, заволакивая самые концы мачт, и слепил и утомлял взор своей мягкой мглою. Солнце висело тускло-красным пятном в этой мгле; а перед вечером она вся загоралась и алела таинственно и странно.

Длинные прямые складки, подобные складкам тяжелых шелковых тканей, бежали одна за другой от носа парохода и, все ширясь, морщась да ширясь, сглаживались наконец, колыхались, исчезали. Взбитая пена клубилась под однообразно топотавшими колесами; молочно белея и слабо шипя, разбивалась она на змеевидные струи, – а там сливалась, исчезала тоже, поглощенная мглою.

Непрестанно и жалобно, не хуже писка обезьяны, звякал небольшой колокол у кормы.

Изредка всплывал тюлень – и, круто кувыркнувшись, уходил под едва возмущенную гладь.

А капитан, молчаливый человек с загорелым сумрачным лицом, курил короткую трубку и сердито плевал в застывшее море.

На все мои запросы он отвечал отрывистым ворчанием;

поневоле приходилось обращаться к моему единственному спутнику – обезьяне.

Я садился возле нее; она переставала пищать – и опять протягивала мне руку.

Снотворной сыростью обдавал нас обоих неподвижный туман; и погруженные в одинаковую, бессознательную думу, мы пребывали друг возле друга, словно родные.

Я улыбаюсь теперь… но тогда во мне было другое чувство.

Все мы дети одной матери – и мне было приятно, что бедный зверок так доверчиво утихал и прислонялся ко мне, словно к родному.

Посещение

Я сидел у раскрытого окна… утром, ранним утром первого мая.

Заря еще не занималась; но уже бледнела, уже холодела темная, теплая ночь.

Туман не вставал, не бродил ветерок, все было одноцветно и безмолвно… но чуялась близость пробуждения – и в поредевшем воздухе пахло жесткой сыростью росы.

Вдруг в мою комнату, сквозь раскрытое окно, легко позванивая и шурша, влетела большая птица.

Я вздрогнул, вгляделся… То была не птица, то была крылатая, маленькая женщина, одетая в тесное, длинное, книзу волнистое платье.

Вся она была серая, перламутрового цвета; одна лишь внутренняя сторона ее крылышек алела нежной алостью распускающейся розы; венок из ландышей охватывал разбросанные кудри круглой головки, и, подобные усикам бабочки, два павлиньих пера забавно колебались над красивым, выпуклым лобиком.

Она пронеслась раза два под потолком; ее крошечное лицо смеялось; смеялись также огромные, черные, светлые глаза.

Веселая резвость прихотливого полета дробила их алмазные лучи.

Она держала в руке длинный стебель степного цветка: «царским жезлом» зовут его русские люди, – он и то похож на скипетр.

Стремительно пролетая надо мною, коснулась она моей головы тем цветком.

Я рванулся к ней… Но она уже выпорхнула из окна – и умчалась.

В саду, в глуши сиреневых кустов, горлинка встретила ее

первым воркованьем – а там, где она скрылась, молочно-белое небо тихонько закраснелось.

Я узнал тебя, богиня фантазии! Ты посетила меня случайно – ты полетела к молодым поэтам.

О поэзия! Молодость! Женская, девственная красота! Вы только на миг можете блеснуть передо мною – ранним утром ранней весны.

Роза

Последние дни августа… Осень уже наступала.

Солнце садилось. Внезапный порывистый ливень, без грому и без молний, только что промчался над нашей широкой равниной.

Сад перед домом горел и дымился, весь залитый пожаром зари и потопом дождя.

Она сидела за столом в гостиной и с упорной задумчивостью глядела в сад сквозь полураскрытую дверь.

Я знал, что свершалось тогда в ее душе; я знал, что после недолгой, хоть и мучительной борьбы она в этот самый миг отдавалась чувству, с которым уже не могла более сладить.

Вдруг она поднялась, проворно вышла в сад и скрылась.

Пробил час… пробил другой; она не возвращалась.

Тогда я встал и, выйдя из дому, отправился по аллее, по которой – я в том не сомневался – пошла и она.

Все потемнело вокруг; ночь уже надвинулась. Но на сыром песку дорожки, ярко алея даже сквозь разлитую мглу, виднелся кругловатый предмет.

Я наклонился… То была молодая, чуть распустившаяся роза. Два часа тому назад я видел эту самую розу на ее груди.

Я бережно поднял упавший в грязь цветок и, вернувшись в гостиную, положил его на стол, перед ее креслом.

Вот и она вернулась, наконец, – нелегкими шагами пройдя всю комнату, села за стол.

Ее лицо и побледнело и ожило; быстро, с веселым смущением бегали по сторонам опущенные, как бы уменьшенные глаза.

Она увидала розу, схватила ее, взглянула на ее измятые, запачканные лепестки, взглянула на меня – и глаза ее, внезапно остановившись, засияли слезами.

– О чем вы плачете? – спросил я.

– Да вот об этой розе. Посмотрите, что с ней сталось.

Тут я вздумал выказать глубокомыслие.

– Ваши слезы смоют эту грязь, – промолвил я с значительным выражением.

– Слезы не моют, слезы жгут, – отвечала она и, обернувшись к камину, бросила цветок в умиравшее пламя.

– Огонь сожжет еще лучше слез, – воскликнула она не без удали, – и прекрасные глаза, еще блестевшие от слез, засмеялись дерзостно и счастливо.

Я понял, что и она была сожжена.

Русский язык

Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий о судьбах моей родины, – ты один мне поддержка и опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык! Не будь тебя – как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома? Но нельзя верить, чтобы такой язык не был дан великому народу!

Федор Иванович Тютчев
1818–1883

Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,
Когда весенний, первый гром,
Как бы резвяся и играя,
Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,
Вот дождик брызнул, пыль летит,
Повисли перлы дождевые,
И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,
В лесу не молкнет птичий гам,
И гам лесной и шум нагорный –
Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,
Кормя Зевесова орла,
Громокипящий кубок с неба,
Смеясь, на землю пролила.

«Умом Россию не понять…»

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить.

Афанасий Афанасьевич Фет
1820–1892

Вечер

Прозвучало над ясной рекою,
Прозвенело в померкшем лугу,
Прокатилось над рощей немою,
Засветилось на том берегу.

Далеко, в полумраке, луками
Убегает на запад река.
Погорев золотыми каймами,
Разлетелись, как дым, облака.

На пригорке то сыро, то жарко,
Вздохи дня есть в дыханье ночном, –
Но зарница уж теплится ярко
Голубым и зеленым огнем.

Мотылек мальчику

Цветы кивают мне, головки наклоня,
И манит куст душистой веткой;
Зачем же ты один преследуешь меня
Своею шелковою сеткой?

Дитя кудрявое, любимый нежно сын
Неувядающего мая,
Позволь мне жизнию упиться день один,
На солнце радостном играя.

Постой, оно уйдет, и блеск его лучей
Замрет на западе далеком,
И в час таинственный я упаду в ручей,
И унесет меня потоком.

Осенняя роза

Осыпал лес свои вершины,

Сад обнажил свое чело,
Дохнул сентябрь, и георгины
Дыханьем ночи обожгло.

Но в дуновении мороза
Между погибшими одна,
Лишь ты одна, царица-роза,
Благоуханна и пышна.

Назло жестоким испытаньям
И злобе гаснущего дня
Ты очертаньем и дыханьем
Весною веешь на меня.

Сосны

Средь кленов девственных и плачущих берез
Я видеть не могу надменных этих сосен;
Они смущают рой живых и сладких грез,
И трезвый вид мне их несносен.

В кругу воскреснувших соседей лишь оне
Не знают трепета, не шепчут, не вздыхают
И, неизменные, ликующей весне
Пору зимы напоминают.

Когда уронит лес последний лист сухой
И, смолкнув, станет ждать весны и возрожденья, –
Они останутся холодною красой
Пугать иные поколенья.

«Это утро, радость эта…»

Это утро, радость эта,
Эта мощь и дня и света,
Этот синий свод,
Этот крик и вереницы,
Эти стаи, эти птицы,
Этот говор вод,
Эти ивы и березы,
Эти капли – эти слезы,
Этот пух – не лист,

Эти горы, эти долы,
Эти мошки, эти пчелы,
Этот зык и свист,
Эти зори без затменья,
Этот вздох ночной селенья,
Эта ночь без сна,
Эта мгла и жар постели,
Эта дробь и эти трели,
Это всё – весна.

Русская литература XX века

Константин Дмитриевич Бальмонт
1867–1942

* * *

Бог создал мир из ничего.
Учись, художник, у него, –
И, если твой талант крупица,
Соделай с нею чудеса,
Взрасти безмерные леса,
И сам, как сказочная птица,
Умчись высоко в небеса,
Где светит вольная зарница,
Где вечный облачный прибой
Бежит по бездне голубой.

Грусть

Внемля ветру, тополь гнется, с неба дождь осенний льется,
Надо мною раздается мерный стук часов стенных;
Мне никто не улыбнется, и тревожно сердце бьется,
И из уст невольно рвется монотонный грустный стих;

И как тихий дальний топот, за окном я слышу ропот,
Непонятный странный шепот – шепот капель дождевых.

Отчего так ветру скучно? Плачет, ноет он докучно, –
И в ответ ему стозвучно капли бьются и бегут;
Я внемлю, мне так же скучно, грусть со мною неразлучна,

Равномерно, однозвучно рифмы стройные текут;
В эту пору непогоды, под унылый плач Природы,
Дни, мгновенья, точно годы – годы медленно идут.

Валерий Яковлевич Брюсов
1873–1924

Труд

В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, –
Золотых, стальных, алмазных, –
Нет священней слова: «труд»!

Троглодит стал человеком
В тот заветный день, когда
Он сошник повел к просекам,
Начиная круг труда.

Все, что пьем мы полной чашей,
В прошлом создано трудом:
Все довольство жизни нашей,
Все, чем красен каждый дом.

Новой лампы свет победный,
Бег моторов, поездов,
Монопланов лет бесследный, –
Все – наследие трудов!

Все искусства, знанья, книги –
Воплощенные труды!
В каждом шаге, в каждом миге
Явно видны их следы.

И на место в жизни право
Только тем, чьи дни – в трудах:
Только труженикам – слава,
Только им – венок в веках!

Но когда заря смеется,
Встретив позднюю звезду, –
Что за радость в душу льется
Всех, кто бодро встал к труду!

И, окончив день, усталый,
Каждый щедро награжден,

Если труд, хоть скромный, малый,
Был с успехом завершен!

Хвала человеку

Молодой моряк вселенной,
Мира древний дровосек,
Неуклонный, неизменный,
Будь прославлен, Человек!

По глухим тропам столетий
Ты проходишь с топором,
Целишь луком, ставишь сети.
Торжествуешь над врагом!

Камни, ветер, воду, пламя
Ты смирил своей уздой,
Взвил ликующее знамя
Прямо в купол голубой.

Вечно властен, вечно молод,
В странах Сумрака и Льда,
Петь заставил вещий молот,
Залил блеском города.

Сквозь пустыню и над бездной
Ты провел свои пути,
Чтоб нервущейся, железной
Нитью землю оплести.

В древних, вольных Океанах,
Где играли лишь киты,
На стальных левиафанах
Пробежал державно ты.

Змея, жалившего жадно
С неба выступы дубов,
Изловил ты беспощадно,
Неустанный зверолов.

И шипя под хрупким шаром,
И в стекле согнут в дугу,
Он теперь, покорный чарам,

Светит хитрому врагу.

Царь несытый и упрямый
Четырех подлунных царств,
Не стыдясь, ты роешь ямы,
Множишь тысячи коварств, –

Но, отважный, со стихией
После бьешься, с грудью грудь,
Чтоб еще над новой выей
Петлю рабства захлестнуть.

Верю, дерзкий! Ты поставишь
Над землей ряды ветрил,
Ты своей рукой направишь
Бег в пространстве, меж светил, –

И насельники вселенной,
Те, чей путь ты пересек,
Повторят привет священный:
Будь прославлен, Человек!

Александр Александрович Блок
1880–1921

«Я никогда не понимал…»

Я никогда не понимал
Искусства музыки священной,
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос сокровенный –

Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной приносят из забвенья.

Под звуки прошлое встает
И близким кажется и ясным:
То для меня мечта поет,
То веет таинством прекрасным.

Иван Алексеевич Бунин
1870–1953

Изгнание

Темнеют, свищут сумерки в пустыне.
Поля и океан…
Кто утолит в пустыне, на чужбине
Боль крестных ран?
Гляжу вперед, на черное Распятье
Среди дорог –
И простирает скорбные объятья
Почивший Бог.

Лапти

Пятый день несло непроглядной вьюгой. В белом от снега и холодном хуторском доме стоял бледный сумрак и было большое горе: был тяжело болен ребенок. И в жару, в бреду он часто плакал и все просил дать ему какие-то красные лапти. И мать, не отходившая от постели, где он лежал, тоже плакала горькими слезами, – от страха и от своей беспомощности. Что сделать, чем помочь? Муж в отъезде, лошади плохие, а до больницы, до доктора тридцать верст, да и не поедет никакой доктор в такую страсть…

Стукнуло в прихожей, – Нефед принес соломы на топку, свалил ее на пол, отдуваясь, утираясь, дыша холодом и вьюжной свежестью, приотворил дверь, заглянул:

– Ну что, барыня, как? Не полегчало?

– Куда там, Нефедушка! Верно, и не выживет! Все какие-то красные лапти просит…

– Лапти? Что за лапти такие?

– А господь его знает. Бредит, весь огнем горит…

Мотнул шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубок, разбитые валенки – все в снегу, все обмерзло… И вдруг твердо:

– Значит, надо добывать. Значит, душа желает. Надо добывать.

– Как добывать?

– В Новоселки идти. В лавку. Покрасить фуксином нехитрое дело.

– Бог с тобой, до Новоселок шесть верст! Где ж в такой ужас дойти!

Еще подумал.

– Нет, пойду. Ничего, пойду. Доехать не доедешь, а пешком, может, ничего. Она будет мне в зад, пыль-то.

И, притворив дверь, ушел. А на кухне, ни слова не говоря, натянул зипун поверх полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взял в руки кнут и вышел вон, пошел, утопая по сугробам, через двор, выбрался за ворота и потонул в белом, куда-то бешено несущемся степном море.

Пообедали, стало смеркаться, смерклось – Нефеда не было. Решили, что, значит, ночевать остался, если бог донес. Обыденкой в такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обеда. Но оттого, что его все-таки не было, ночь была еще страшнее. Весь дом гудел, ужасала одна мысль, что теперь там, в поле, в бездне снежного урагана и мрака. Сальная свеча пылала дрожащим хмурым пламенем. Мать поставила ее на пол, за отвал кровати. Ребенок лежал в тени, но стена казалась ему огненной и вся бежала причудливыми, несказанно великолепными и грозными видениями. А порой он как будто приходил в себя и тотчас же начинал горько и жалобно плакать, умоляя (и как будто вполне разумно) дать ему красные лапти:

– Мамочка, дай! Мамочка, дорогая, ну что тебе стоит!

И мать кидалась на колени и била себя в грудь:

– Господи, помоги! Господи, защити!

А когда наконец рассвело, послышалось под окнами сквозь гул и грохот вьюги уже совсем явственно, совсем не так, как всю ночь мерещилось, что кто-то подъехал, что раздаются чьи-то глухие голоса, а затем торопливый, зловещий стук в окно.

Это были новосельские мужики, привезшие мертвое тело, – белого, мерзлого, всего забитого снегом, навзничь лежавшего в розвальнях Нефеда. Мужики ехали из города, сами всю ночь плутали, а на рассвете свалились в какие-то луга, потонули вместе с лошадью в страшный снег и совсем было отчаялись, решили пропадать, как вдруг увидали торчащие из снега чьи-то ноги в валенках. Кинулись разгребать снег, подняли тело – оказывается, знакомый человек…

Тем только и спаслись – поняли, что, значит, эти луга хуторские, протасовские, и что на горе, в двух шагах, жилье…

За пазухой Нефеда лежали новенькие ребячьи лапти и пузырек с фуксином.

Листопад

Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Веселой, пестрою стеной
Стоит над светлою поляной.
Березы желтою резьбой
Блестят в лазури голубой,
Как вышки, елочки темнеют,
А между кленами синеют
То там, то здесь в листве сквозной
Просветы в небо, что оконца.
Лес пахнет дубом и сосной,
За лето высох он от солнца,
И Осень тихою вдовой
Вступает в пестрый терем свой.

Сегодня на пустой поляне,
Среди широкого двора,
Воздушной паутины ткани
Блестят, как сеть из серебра.
Сегодня целый день играет
В дворе последний мотылек
И, точно белый лепесток,
На паутине замирает,
Пригретый солнечным теплом;
Сегодня так светло кругом,
Такое мертвое молчанье
В лесу и в синей вышине,
Что можно в этой тишине
Расслышать листика шуршанье.
Лес, точно терем расписной,
Лиловый, золотой, багряный,
Стоит над солнечной поляной,
Завороженный тишиной;
Заквохчет дрозд, перелетая
Среди подседа, где густая
Листва янтарный отблеск льет;
Играя, в небе промелькнет
Скворцов рассыпанная стая –
И снова все кругом замрет.

Последние мгновенья счастья!
Уж знает Осень, что такой
Глубокий и немой покой –
Предвестник долгого ненастья.

Глубоко, странно лес молчал
И на заре, когда с заката
Пурпурный блеск огня и злата
Пожаром терем освещал.
Потом угрюмо в нем стемнело.
Луна восходит, а в лесу
Ложатся тени на росу…
Вот стало холодно и бело
Среди полян, среди сквозной
Осенней чащи помертвелой,
И жутко Осени одной
В пустынной тишине ночной.

Теперь уж тишина другая:
Прислушайся – она растет,
А с нею, бледностью пугая,
И месяц медленно встает.
Все тени сделал он короче,
Прозрачный дым навел на лес
И вот уж смотрит прямо в очи
С туманной высоты небес.
О, мертвый сон осенней ночи!
О, жуткий час ночных чудес!
В сребристом и сыром тумане
Светло и пусто на поляне;
Лес, белым светом залитой,
Своей застывшей красотой
Как будто смерть себе пророчит;
Сова и та молчит: сидит
Да тупо из ветвей глядит,
Порою дико захохочет,
Сорвется с шумом с высоты,
Взмахнувши мягкими крылами,
И снова сядет на кусты
И смотрит круглыми глазами,
Водя ушастой головой
По сторонам, как в изумленье;
А лес стоит в оцепененье,
Наполнен бледной, легкой мглой
И листьев сыростью гнилой…

Не жди: наутро не проглянет
На небе солнце. Дождь и мгла
Холодным дымом лес туманят, –

Недаром эта ночь прошла!
Но Осень затаит глубоко
Все, что она пережила
В немую ночь, и одиноко
Запрется в тереме своем:
Пусть бор бушует под дождем,
Пусть мрачны и ненастны ночи
И на поляне волчьи очи
Зеленым светятся огнем!
Лес, точно терем без призора,
Весь потемнел и полинял,
Сентябрь, кружась по чащам бора,
С него местами крышу снял
И вход сырой листвой усыпал;
А там зазимок ночью выпал
И таять стал, все умертвив…

Трубят рога в полях далеких,
Звенит их медный перелив,
Как грустный вопль, среди широких
Ненастных и туманных нив.
Сквозь шум деревьев, за долиной,
Теряясь в глубине лесов,
Угрюмо воет рог туриный,
Скликая на добычу псов,
И звучный гам их голосов
Разносит бури шум пустынный.
Льет дождь, холодный, точно лед,
Кружатся листья по полянам,
И гуси длинным караваном
Над лесом держат перелет.
Но дни идут. И вот уж дымы
Встают столбами на заре,
Леса багряны, недвижимы,
Земля в морозном серебре,
И в горностаевом шугае,
Умывши бледное лицо,
Последний день в лесу встречая,
Выходит Осень на крыльцо.
Двор пуст и холоден. В ворота,
Среди двух высохших осин,
Видна ей синева долин
И ширь пустынного болота,
Дорога на далекий юг:

Туда от зимних бурь и вьюг,
От зимней стужи и метели
Давно уж птицы улетели;
Туда и Осень поутру
Свой одинокий путь направит
И навсегда в пустом бору
Раскрытый терем свой оставит.

Прости же, лес! Прости, прощай,
День будет ласковый, хороший,
И скоро мягкою порошей
Засеребрится мертвый край.
Как будут странны в этот белый
Пустынный и холодный день
И бор, и терем опустелый,
И крыши тихих деревень,
И небеса, и без границы
В них уходящие поля!
Как будут рады соболя,
И горностаи, и куницы,
Резвясь и греясь на бегу
В сугробах мягких на лугу!
А там, как буйный пляс шамана,
Ворвутся в голую тайгу
Ветры из тундры, с океана,
Гудя в крутящемся снегу
И завывая в поле зверем.
Они разрушат старый терем,
Оставят колья и потом
На этом остове пустом
Повесят инеи сквозные,
И будут в небе голубом
Сиять чертоги ледяные
И хрусталем и серебром.
А в ночь, меж белых их разводов,
Взойдут огни небесных сводов,
Заблещет звездный щит Стожар –
В тот час, когда среди молчанья
Морозный светится пожар,
Расцвет полярного сиянья.

«Ночь и даль седая…»

Ночь и даль седая, –
В инее леса.
Звездами мерцая,
Светят небеса.

Звездный свет белеет,
И земля окрест
Стынет-цепенеет
В млечном свете звезд.

Тишина пустыни…
Четко за горой
На реке в долине
Треснет лед порой…

Метеор зажжется,
Озаряя снег…
Шорох пронесется –
Зверя легкий бег…

И опять – молчанье…
В бледной мгле равнин,
Затаив дыханье,
Я стою один.

Огонь

Нет ничего грустней ночного
Костра, забытого в бору.
О, как дрожит он, потухая
И разгораясь на ветру!

Ночной холодный ветер с моря
Внезапно залетает в бор;
Он, бешено кружась, бросает
В костер истлевший хвойный сор –

И пламя вспыхивает жадно,
И тьма, висевшая шатром,
Вдруг затрепещет, открывая
Стволы и ветви над костром.

Но ветер пролетает мимо,

Теряясь в черной высоте,
И ветру отвечает гулом
Весь бор, невидный в темноте,

И снова затопляет тьмою
Свет замирающий… О, да!
Еще порыв, еще усилье –
И он исчезнет без следа,

И явственней во мраке станет
Звон сонной хвои, скрип стволов
И этот жуткий, все растущий
Протяжный гул морских валов.

Родина

Под небом мертвенно-свинцовым
Угрюмо меркнет зимний день,
И нет конца лесам сосновым,
И далеко до деревень.

Один туман молочно-синий,
Как чья-то кроткая печаль,
Над этой снежною пустыней
Смягчает сумрачную даль.

Слово

Молчат гробницы, мумии и кости, –
Лишь слову жизнь дана:
Из древней тьмы, на мировом погосте,
Звучат лишь Письмена.

И нет у нас иного достоянья!
Умейте же беречь
Хоть в меру сил, в дни злобы и страданья,
Наш дар бессмертный – речь.

«У птицы есть гнездо, у зверя есть нора…»

У птицы есть гнездо, у зверя есть нора.

Как горько было сердцу молодому,
Когда я уходил с отцовского двора,
Сказать прости родному дому!

У зверя есть нора, у птицы есть гнездо.
Как бьется сердце, горестно и громко,
Когда вхожу, крестясь, в чужой, наемный дом
С своей уж ветхою котомкой!

Цифры

I

Мой дорогой, когда ты вырастешь, вспомнишь ли ты, как однажды зимним вечером ты вышел из детской в столовую, остановился на пороге, – это было после одной из наших ссор с тобой, – и, опустив глаза, сделал такое грустное личико?

Должен сказать тебе: ты большой шалун. Когда что-нибудь увлечет тебя, ты не знаешь удержу. Ты часто с раннего утра до поздней ночи не даешь покоя всему дому своим криком и беготней. Зато я и не знаю ничего трогательнее тебя, когда ты, насладившись своим буйством, притихнешь, побродишь по комнатам и, наконец, подойдешь и сиротливо прижмешься к моему плечу! Если же дело происходит после ссоры и если я в эту минуту скажу тебе хоть одно ласковое слово, то нельзя выразить, что ты тогда делаешь с моим сердцем! Как порывисто кидаешься ты целовать меня, как крепко обвиваешь руками мою шею, в избытке той беззаветной преданности, той страстной нежности, на которую способно только детство!

Но это была слишком крупная ссора.

Помнишь ли, что в этот вечер ты даже не решился близко подойти ко мне?

– Покойной ночи, дядечка, – тихо сказал ты мне и, поклонившись, шаркнул ножкой.

Конечно, ты хотел, после всех своих преступлений, показаться особенно деликатным, особенно приличным и кротким мальчиком. Нянька, передавая тебе единственный известный ей признак благовоспитанности, когда-то учила тебя: «Шаркни ножкой!» И вот ты, чтобы задобрить меня, вспомнил, что у тебя есть в запасе хорошие манеры. И я понял это – и поспешил ответить так, как будто между нами ничего не произошло, но все-таки очень сдержанно:

– Покойной ночи.

Но мог ли ты удовлетвориться таким миром? Да и лукавить ты не горазд еще. Перестрадав свое горе, твое сердце с новой страстью вернулось к той заветной мечте, которая так пленяла тебя весь этот день. И вечером, как только эта мечта опять овладела тобою, ты забыл и свою обиду, и свое самолюбие, и свое твердое решение всю жизнь ненавидеть меня. Ты помолчал, собрал силы и вдруг, торопясь и волнуясь, сказал мне:

– Дядечка, прости меня… Я больше не буду… И, пожалуйста, все-таки покажи мне цифры! Пожалуйста!

Можно ли было после этого медлить ответом? А я все-таки помедлил. Я, видишь ли, очень, очень умный дядя…

II

Ты в этот день проснулся с новой мыслью, с новой мечтой, которая захватила всю твою душу.

Только что открылись для тебя еще не изведанные радости: иметь свои собственные книжки с картинками, пенал, цветные карандаши – непременно цветные! – и выучиться читать, рисовать и писать цифры. И все это сразу, в один день, как можно скорее. Открыв утром глаза, ты тотчас же позвал меня в детскую и засыпал горячими просьбами: как можно скорее выписать тебе детский журнал, купить книг, карандашей, бумаги и немедленно приняться за цифры.

– Но сегодня царский день, все заперто, – соврал я, чтобы оттянуть дело до завтра или хоть до вечера: уж очень не хотелось мне идти в город.

Но ты замотал головою.

– Нет, нет, не царский! – закричал ты тонким голоском, поднимая брови. – Вовсе не царский, – я знаю.

– Да уверяю тебя, царский! – сказал я.

– А я знаю, что не царский! Ну, пожа-алуйста!

– Если ты будешь приставать, – сказал я строго и твердо то, что говорят в таких случаях все дяди, – если ты будешь приставать, так и совсем не куплю ничего.

Ты задумался.

– Ну, что ж делать! – сказал ты со вздохом. – Ну, царский, так царский. Ну, а цифры? Ведь можно же, – сказал ты, опять поднимая брови, но уже басом, рассудительно, – ведь можно же в царский день показывать цифры?

– Нет, нельзя, – поспешно сказала бабушка. – Придет полицейский и арестует… И не приставай к дяде.

– Ну, это-то уж лишнее, – ответил я бабушке. – А просто мне не хочется сейчас. Вот завтра или вечером – покажу.

– Нет, ты сейчас покажи!

– Сейчас не хочу. Сказал, – завтра.

– Ну, во-от, – протянул ты. – Теперь говоришь – завтра, а потом скажешь – еще завтра. Нет, покажи сейчас!

Сердце тихо говорило мне, что я совершаю в эту минуту великий грех – лишаю тебя счастья, радости… Но тут пришло в голову мудрое правило: вредно, не полагается баловать детей.

И я твердо отрезал:

– Завтра. Раз сказано – завтра, значит, так и надо сделать.

– Ну, хорошо же, дядька! – пригрозил ты дерзко и весело. – Помни ты это себе!

Я стал поспешно одеваться.

И как только оделся, как только пробормотал вслед за бабушкой: «Отче наш, иже еси на небеси…» – и проглотил чашку молока, – вихрем понесся в зал. А через минуту оттуда уже слышались грохот опрокидываемых стульев и удалые крики…

И весь день нельзя было унять тебя. И обедал ты наспех, рассеянно, болтая ногами, и все смотрел на меня блестящими странными глазами.

– Покажешь? – спрашивал ты иногда. – Непременно покажешь?

– Завтра непременно покажу, – отвечал я.

– Ах, как хорошо! – вскрикивал ты. – Дай бог поскорее, поскорее завтра!

Но радость, смешанная с нетерпением, волновала тебя все больше и больше. И вот, когда мы – бабушка, мама и я – сидели перед вечером за чаем, ты нашел еще один исход своему волнению.

III

Ты придумал отличную игру: подпрыгивать, бить изо всей силы ногами в пол и при этом так звонко вскрикивать, что у нас чуть не лопались барабанные перепонки.

– Перестань, Женя, – сказала мама.

В ответ на это ты – трах ногами в пол!

– Перестань же, деточка, когда мама просит, – сказала бабушка.

Но бабушки-то ты уж и совсем не боишься.

Трах ногами в пол!

– Да перестань, – сказал я, досадливо морщась и пытаясь

продолжать разговор.

– Сам перестань! – звонко крикнул ты мне в ответ, с дерзким блеском в глазах и, подпрыгнув, еще сильнее ударил в пол и еще пронзительнее крикнул в такт.

Я пожал плечом и сделал вид, что больше не замечаю тебя.

Но вот тут-то и начинается история.

Я, говорю, сделал вид, что не замечаю тебя. Но сказать ли правду? Я не только не забыл о тебе после твоего дерзкого крика, но весь похолодел от внезапной ненависти к тебе. И уже должен был употреблять усилия, чтобы делать вид, что не замечаю тебя, и продолжать разыгрывать роль спокойного и рассудительного.

Но и этим дело не кончилось.

Ты крикнул снова. Крикнул, совершенно позабыв о нас и весь отдавшись тому, что происходило в твоей переполненной жизнью душе, – крикнул таким звонким криком беспричинной божественной радости, что сам господь бог улыбнулся бы при этом крике. Я же в бешенстве вскочил со стула.

– Перестань! – рявкнул я вдруг, неожиданно для самого себя, во все горло.

Какой черт окатил меня в эту минуту целым ушатом злобы? У меня помутилось сознание. И надо было видеть, как дрогнуло, как исказилось на мгновение твое лицо молнией ужаса!

– А! – звонко и растерянно крикнул ты еще раз.

И уже без всякой радости, а только для того, чтобы показать, что ты не испугался, криво и жалко ударил в пол каблуками.

А я – я кинулся к тебе, дернул тебя за руку, да так, что ты волчком перевернулся передо мною, крепко и с наслаждением шлепнул тебя и, вытолкнув из комнаты, захлопнул дверь.

Вот тебе и цифры!

IV

От боли, от острого и внезапного оскорбления, так грубо ударившего тебя в сердце в один из самых радостных моментов твоего детства, ты, вылетевши за дверь, закатился таким страшным, таким пронзительным альтом, на какой не способен ни один певец в мире. И надолго, надолго замер… Затем набрал в легкие воздуху еще больше и поднял альт уже до невероятной высоты…

Затем паузы между верхней и нижней нотами стали сокращаться, – вопли потекли без умолку. К воплям прибавились рыдания, к рыданиям – крики о помощи. Сознание твое стало проясняться, и ты начал играть, с мучительным наслаждением

играть роль умирающего.

– О-ой, больно! Ой, мамочка, умираю!

– Небось не умрешь, – холодно сказал я. – Покричишь, покричишь, да и смолкнешь.

Но ты не смолкал.

Разговор, конечно, оборвался. Мне было уже стыдно, и я зажигал папиросу, не поднимая глаз на бабушку. А у бабушки вдруг задрожали губы, брови, и, отвернувшись к окну, она стала быстро, быстро колотить чайной ложкой по столу.

– Ужасно испорченный ребенок! – сказала, нахмуриваясь и стараясь быть беспристрастной, мама и снова взялась за свое вязанье. – Ужасно избалован!

– Ой, бабушка! Ой, милая моя бабушка! – вопил ты диким голосом, взывая теперь к последнему прибежищу – к бабушке.

И бабушка едва сидела на месте.

Ее сердце рвалось в детскую, но, в угоду мне и маме, она крепилась, смотрела из-под дрожащих бровей на темневшую улицу и быстро стучала ложечкой по столу.

Понял тогда и ты, что мы решили не сдаваться, что никто не утолит твоей боли и обиды поцелуями, мольбами о прощении. Да и слез уже не хватало. Ты до изнеможения упился своими рыданиями, своим детским горем, с которым не сравнится, может быть, ни одно человеческое горе, но прекратить вопли сразу было невозможно, хотя бы из-за одного самолюбия.

Ясно было слышно: кричать тебе уже не хочется, голос охрип и срывается, слез нет. Но ты все кричал и кричал!

Было невмоготу и мне. Хотелось встать с места, распахнуть дверь в детскую и сразу, каким-нибудь одним горячим словом, пресечь твои страдания. Но разве это согласуется с правилами разумного воспитания и с достоинством справедливого, хотя и строгого дяди?

Наконец ты затих…

V

– И мы тотчас помирились? – спрашиваешь ты.

Нет, я таки выдержал характер. Я, по крайней мере, через полчаса после того, как ты затих, заглянул в детскую. И то как? Подошел к дверям, сделал серьезное лицо и растворил их с таким видом, точно у меня было какое-то дело. А ты в это время уже возвращался мало-помалу к обыденной жизни.

Ты сидел на полу, изредка подергивался от глубоких прерывистых вздохов, обычных у детей после долгого плача,

и с потемневшим от размазанных слез личиком забавлялся своими незатейливыми игрушками – пустыми коробочками от спичек, – расставляя их по полу, между раздвинутых ног, в каком-то, только тебе одному известном порядке.

Как сжалось мое сердце при виде этих коробочек!

Но, делая вид, что отношения наши прерваны, что я оскорблен тобою, я едва взглянул на тебя. Я внимательно и строго осмотрел подоконники, столы… Где это мой портсигар?.. И уже хотел выйти, как вдруг ты поднял голову и, глядя на меня злыми, полными презрения глазами, хрипло сказал:

– Теперь я никогда больше не буду любить тебя.

Потом подумал, хотел сказать еще что-то очень обидное, но запнулся, не нашелся и сказал первое, что пришло в голову:

– И никогда ничего не куплю тебе.

– Пожалуйста! – небрежно ответил я, пожимая плечом. – Пожалуйста! Я от такого дурного мальчика и не взял бы ничего.

– Даже и японскую копеечку, какую тогда подарил, назад возьму! – крикнул ты тонким, дрогнувшим голосом, делая последнюю попытку уязвить меня.

– А вот это уж и совсем нехорошо! – ответил я. – Дарить и потом отнимать! Впрочем, это твое дело.

Потом заходили к тебе мама и бабушка. И так же, как я, делали сначала вид, что вошли случайно… по делу… Затем качали головами и, стараясь не придавать своим словам значения, заводили речь о том, как это нехорошо, когда дети растут непослушными, дерзкими и добиваются того, что их никто не любит. А кончали тем, что советовали тебе пойти ко мне и попросить у меня прощения.

– А то дядя рассердится и уедет в Москву, – говорила бабушка грустным тоном. – И никогда больше не приедет к нам.

– И пускай не приедет! – отвечал ты едва слышно, все ниже опуская голову.

– Ну, я умру, – говорила бабушка еще печальнее, совсем не думая о том, к какому жестокому средству прибегает она, чтобы заставить тебя переломить свою гордость.

– И умирай, – отвечал ты сумрачным шепотом.

– Хорош! – сказал я, снова чувствуя приступ раздражения. – Хорош! – повторил я, дымя папиросой и поглядывая в окно на темную пустую улицу.

И, переждав, пока пожилая худая горничная, всегда молчаливая и печальная от сознания, что она – вдова машиниста, зажгла в столовой лампу, прибавил:

– Вот так мальчик!

– Да не обращай на него внимания, – сказала мама,

заглядывая под матовый колпак лампы, не коптит ли. – Охота тебе разговаривать с такой злючкой!

И мы сделали вид, что совсем забыли о тебе.

VI

В детской огня еще не зажигали, и стекла ее окон казались теперь синими-синими. Зимний вечер стоял за ними, и в детской было сумрачно и грустно. Ты сидел на полу и передвигал коробочки. И эти коробочки мучили меня. Я встал и решил побродить по городу.

Но тут послышался шепот бабушки.

– Бесстыдник, бесстыдник! – зашептала она укоризненно. – Дядя тебя любит, возит тебе игрушки, гостинцы…

Я громко прервал:

– Бабушка, этого говорить не следует. Это лишнее. Тут дело не в гостинцах.

Но бабушка знала, что делает.

– Как же не в гостинцах? – ответила она. – Не дорог гостинец, а дорога память.

И, помолчав, ударила по самой чувствительной струне твоего сердца.

– А кто же купит ему теперь пенал, бумаги, книжку с картинками? Да что пенал! Пенал – туда-сюда. А цифры? Ведь уж этого не купишь ни за какие деньги. Впрочем, – прибавила она, – делай, как знаешь. Сиди тут один в темноте.

И вышла из детской.

Конечно, – самолюбие твое было сломлено! Ты был побежден.

Чем неосуществимее мечта, тем пленительнее, чем пленительнее, тем неосуществимее. Я уже знаю это.

С самых ранних дней моих я у нее во власти. Но я знаю и то, что чем дороже мне моя мечта, тем менее надежд на достижение ее. И я уже давно в борьбе с нею. Я лукавлю: делаю вид, что я равнодушен. Но что мог сделать ты?

Счастье, счастье!

Ты открыл утром глаза, переполненный жаждою счастья. И с детской доверчивостью, с открытым сердцем кинулся к жизни: скорее, скорее!

Но жизнь ответила:

– Потерпи.

– Ну пожалуйста! – воскликнул ты страстно.

– Замолчи, иначе ничего не получишь!

– Ну погоди же! – крикнул ты злобно.

И на время смолк.

Но сердце твое буйствовало. Ты бесновался, с грохотом валял стулья, бил ногами в пол, звонко вскрикивал от переполнявшей твое сердце радостной жажды… Тогда жизнь со всего размаха ударила тебя в сердце тупым ножом обиды. И ты закатился бешеным криком боли, призывом на помощь.

Но и тут не дрогнул ни один мускул на лице жизни… Смирись, смирись!

И ты смирился.

VII

Помнишь ли, как робко вышел ты из детской и что ты сказал мне?

– Дядечка! – сказал ты мне, обессиленный борьбой за счастье и все еще алкая его. – Дядечка, прости меня. И дай мне хоть каплю того счастья, жажда которого так сладко мучит меня.

Но жизнь обидчива.

Она сделала притворно печальное лицо.

– Цифры! Я понимаю, что это счастье. Но ты не любишь дядю, огорчаешь его…

– Да нет, неправда, – люблю, очень люблю! – горячо воскликнул ты.

И жизнь наконец смилостивилась.

– Ну уж бог с тобою! Неси сюда к столу стул, давай карандаши, бумагу…

И какой радостью засияли твои глаза!

Как хлопал ты! Как боялся рассердить меня, каким покорным, деликатным, осторожным в каждом своем движении старался ты быть! И как жадно ловил ты каждое мое слово!

Глубоко дыша от волнения, поминутно слюнявя огрызок карандаша, с каким старанием налегал ты на стол грудью и крутил головой, выводя таинственные, полные какого-то божественного значения черточки!

Теперь уже и я наслаждался твоею радостью, с нежностью обоняя запах твоих волос: детские волосы хорошо пахнут, – совсем как маленькие птички.

– Один… Два… Пять… – говорил ты, с трудом водя по бумаге.

– Да нет, не так. Один, два, три, четыре.

– Сейчас, сейчас, – говорил ты поспешно. – Я сначала: один, два…

И смущенно глядел на меня.

– Ну, три…
– Да, да, три! – подхватывал ты радостно. – Я знаю.
И выводил три, как большую прописную букву Е.

«Шумели листья, облетая…»

Шумели листья, облетая,
Лес заводил осенний вой…
Каких-то серых птичек стая
Кружилась по ветру с листвой.

А я был мал, – беспечной шуткой
Смятенье их казалось мне:
Под гул и шорох пляски жуткой
Мне было весело вдвойне.

Хотелось вместе с вихрем шумным
Кружиться по лесу, кричать –
И каждый медный лист встречать
Восторгом радостно-безумным!

Сергей Александрович Есенин
1895–1925

Сестре Шуре

«Ах, как много на свете кошек…»

Ах, как много на свете кошек,
Нам с тобой их не счесть никогда.
Сердцу снится душистый горошек,
И звенит голубая звезда.

Наяву ли, в бреду иль спросонок,
Только помню с далекого дня –
На лежанке мурлыкал котенок,
Безразлично смотря на меня.

Я еще тогда был ребенок,
Но под бабкину песню вскок
Он бросался, как юный тигренок,
На оброненный ею клубок.

Все прошло. Потерял я бабку,
А еще через несколько лет
Из кота того сделали шапку,
А ее износил наш дед.

«Все живое особой метой…»

Все живое особой метой
Отмечается с ранних пор.
Если не был бы я поэтом,
То, наверно, был мошенник и вор.

Худощавый и низкорослый,
Средь мальчишек всегда герой,
Часто, часто с разбитым носом
Приходил я к себе домой.

И навстречу испуганной маме
Я цедил сквозь кровавый рот:

«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет».

И теперь вот, когда простыла
Этих дней кипятковая вязь,
Беспокойная, дерзкая сила
На поэмы мои пролилась.

Золотая, словесная груда,
И над каждой строкой без конца
Отражается прежняя удаль
Забияки и сорванца.

Как тогда, я отважный и гордый,
Только новью мой брызжет шаг…
Если раньше мне били в морду,
То теперь вся в крови душа.

И уже говорю я не маме,
А в чужой и хохочущий сброд:
«Ничего! Я споткнулся о камень,
Это к завтраму все заживет!»

В хате

Пахнет рыхлыми драченами;
У порога в дежке квас,
Над печурками точеными
Тараканы лезут в паз.

Вьется сажа над заслонкою,
В печке нитки попелиц,
А на лавке за солонкою –
Шелуха сырых яиц.

Мать с ухватами не сладится,
Нагибается низко́,
Старый кот к махотке крадется
На парное молоко.

Квохчут куры беспокойные
Над оглоблями сохи,
На дворе обедню стройную

Запевают петухи.

А в окне на сени скатые,
От пугливой шумоты,
Из углов щенки кудлатые
Заползают в хомуты.

Мой путь

Жизнь входит в берега.
Села давнишний житель,
Я вспоминаю то,
Что видел я в краю.
Стихи мои,
Спокойно расскажите
Про жизнь мою.

Изба крестьянская.
Хомутный запах дегтя,
Божница старая,
Лампады кроткий свет.
Как хорошо,
Что я сберег те
Все ощущенья детских лет.

Под окнами
Костер метели белой.
Мне девять лет.
Лежанка, бабка, кот…
И бабка что-то грустное
Степное пела,
Порой зевая
И крестя свой рот.

Метель ревела.
Под оконцем
Как будто бы плясали мертвецы.
Тогда империя
Вела войну с японцем,
И всем далекие
Мерещились кресты.

Тогда не знал я

Черных дел России.
Не знал, зачем
И почему война.
Рязанские поля,
Где мужики косили,
Где сеяли свой хлеб,
Была моя страна.

Я помню только то,
Что мужики роптали,
Бранились в черта,
В бога и в царя.
Но им в ответ
Лишь улыбались дали
Да наша жидкая
Лимонная заря.

Тогда впервые
С рифмой я схлестнулся.
От сонма чувств
Вскружилась голова.
И я сказал:
Коль этот зуд проснулся,
Всю душу выплещу в слова.

Года далекие,
Теперь вы как в тумане.
И помню, дед мне
С грустью говорил:
«Пустое дело…
Ну, а если тянет –
Пиши про рожь,
Но больше про кобыл».

Тогда в мозгу,
Влеченьем к музе сжатом,
Текли мечтанья
В тайной тишине,
Что буду я
Известным и богатым
И будет памятник
Стоять в Рязани мне.

В пятнадцать лет

Взлюбил я до печенок
И сладко думал,
Лишь уединюсь,
Что я на этой
Лучшей из девчонок,
Достигнув возраста, женюсь.
……

Года текли.
Года меняют лица –
Другой на них
Ложится свет.
Мечтатель сельский –
Я в столице
Стал первоклассней поэт.

И, заболев
Писательскою скукой,
Пошел скитаться я
Средь разных стран,
Не веря встречам,
Не томясь разлукой,
Считая мир весь за обман.

Тогда я понял,
Что такое Русь.
Я понял, что такое слава.
И потому мне
В душу грусть
Вошла, как горькая отрава.

На кой мне черт,
Что я поэт!..
И без меня в достатке дряни.
Пускай я сдохну,
Только…
Нет,
Не ставьте памятник в Рязани!

Россия… Царщина…
Тоска…
И снисходительность дворянства.
Ну что ж!
Так принимай, Москва,

Отчаянное хулиганство.

Посмотрим –
Кто кого возьмет!
И вот в стихах моих
Забила
В салонный вылощенный
Сброд
Мочой рязанская кобыла.

Не нравится?
Да, вы правы –
Привычка к Лориган
И к розам…
Но этот хлеб,
Что жрете вы, –
Ведь мы его того-с…
Навозом…

Еще прошли года.
В годах такое было,
О чем в словах
Всего не рассказать:
На смену царщине
С величественной силой
Рабочая предстала рать.

Устав таскаться
По чужим пределам,
Вернулся я
В родимый дом.
Зеленокосая,
В юбчонке белой
Стоит береза над прудом.

Уж и береза!
Чудная… А груди…
Таких грудей
У женщин не найдешь.
С полей обрызганные солнцем
Люди
Везут навстречу мне
В телегах рожь.

Им не узнать меня,
Я им прохожий.
Но вот проходит
Баба, не взглянув.
Какой-то ток
Невыразимой дрожи
Я чувствую во всю спину.

Ужель она?
Ужели не узнала?
Ну и пускай,
Пускай себе пройдет…
И без меня ей
Горечи немало –
Недаром лег
Страдальчески так рот.

По вечерам,
Надвинув ниже кепи,
Чтобы не выдать
Холода очей, –
Хожу смотреть я
Скошенные степи
И слушать,
Как звенит ручей.

Ну что же?
Молодость прошла!
Пора приняться мне
За дело,
Чтоб озорливая душа
Уже по-зрелому запела.

И пусть иная жизнь села
Меня наполнит
Новой силой,
Как раньше
К славе привела
Родная русская кобыла.

«Нивы сжаты, рощи голы…»

Нивы сжаты, рощи голы,

От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы
Солнце тихое скатилось.

Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного
Ждать зимы седой осталось.

Ах, и сам я в чаще звонкой
Увидал вчера в тумане:
Рыжий месяц жеребенком
Запрягался в наши сани.

«Отговорила роща золотая…»

Отговорила роща золотая
Березовым, веселым языком,
И журавли, печально пролетая,
Уж не жалеют больше ни о ком.

Кого жалеть? Ведь каждый в мире странник, –
Пройдет, зайдет и вновь покинет дом.
О всех ушедших грезит конопляник
С широким месяцем над голубым прудом.

Стою один среди равнины голой,
А журавлей относит ветер в даль,
Я полон дум о юности веселой,
Но ничего в прошедшем мне не жаль.

Не жаль мне лет, растраченных напрасно,
Не жаль души сиреневую цветь.
В саду горит костер рябины красной,
Но никого не может он согреть.

Не обгорят рябиновые кисти,
От желтизны не пропадет трава.
Как дерево роняет тихо листья,
Так я роняю грустные слова.

И если время, ветром разметая,
Сгребет их все в один ненужный ком…

Скажите так… что роща золотая
Отговорила милым языком.

Песнь о собаке

Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых ощенила сука,
Рыжих семерых щенят.

До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым ее животом.

А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклал в мешок.

По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать…
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.

А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.

В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.

И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег.

Письмо матери

Ты жива еще, моя старушка?
Жив и я. Привет тебе, привет!
Пусть струится над твоей избушкой
Тот вечерний несказа́нный свет.

Пишут мне, что ты, тая тревогу,
Загрустила шибко обо мне,
Что ты часто ходишь на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

И тебе в вечернем синем мраке
Часто видится одно и то ж:
Будто кто-то мне в кабацкой драке
Саданул под сердце финский нож.

Ничего, родная! Успокойся.
Это только тягостная бредь.
Не такой уж горький я пропойца,
Чтоб, тебя не видя, умереть.

Я по-прежнему такой же нежный
И мечтаю только лишь о том,
Чтоб скорее от тоски мятежной
Воротиться в низенький наш дом.

Я вернусь, когда раскинет ветви
По-весеннему наш белый сад.
Только ты меня уж на рассвете
Не буди, как восемь лет назад.

Не буди того, что отмечталось,
Не волнуй того, что не сбылось, –
Слишком раннюю утрату и усталость
Испытать мне в жизни привелось.

И молиться не учи меня. Не надо!
К старому возврата больше нет.
Ты одна мне помощь и отрада,
Ты одна мне несказанный свет.

Так забудь же про свою тревогу,
Не грусти так шибко обо мне.
Не ходи так часто на дорогу
В старомодном ветхом шушуне.

Александр Иванович Куприн
1870–1938

Изумруд

Посвящаю памяти несравненного
пегого рысака Холстомера

I

Четырехлетний жеребец Изумруд – рослая беговая лошадь американского склада, серой, ровной, серебристо-стальной масти – проснулся, по обыкновению, около полуночи в своем деннике. Рядом с ним, слева и справа и напротив через коридор, лошади мерно и часто, все точно в один такт, жевали сено, вкусно хрустя зубами и изредка отфыркиваясь от пыли. В углу на ворохе соломы храпел дежурный конюх. Изумруд по чередованию дней и по особым звукам храпа знал, что это – Василий, молодой малый, которого лошади не любили за то, что он курил в конюшне вонючий табак, часто заходил в денники пьяный, толкал коленом в живот, замахивался кулаком над глазами, грубо дергал за недоуздок и всегда кричал на лошадей ненатуральным, сиплым, угрожающим басом.

Изумруд подошел к дверной решетке. Напротив него, дверь в дверь, стояла в своем деннике молодая вороная, еще не сложившаяся кобылка Щеголиха. Изумруд не видел в темноте ее тела, но каждый раз, когда она, отрываясь от сена, поворачивала назад голову, ее большой глаз светился на несколько секунд красивым фиолетовым огоньком. Расширив нежные ноздри, Изумруд долго потянул в себя воздух, услышал чуть заметный, но крепкий, волнующий запах ее кожи и коротко заржал. Быстро обернувшись назад, кобыла ответила тоненьким, дрожащим, ласковым и игривым ржанием.

Тотчас же рядом с собою направо Изумруд услышал ревнивое, сердитое дыхание. Тут помещался Онегин, старый, норовистый бурый жеребец, изредка еще бегавший на призы в городских одиночках. Обе лошади были разделены легкой дощатой переборкой и не могли видеть друг друга, но, приложившись храпом к правому краю решетки, Изумруд ясно учуял теплый запах пережеванного сена, шедший из часто дышащих ноздрей Онегина… Так жеребцы некоторое время

обнюхивали друг друга в темноте, плотно приложив уши к голове, выгнув шеи и все больше и больше сердясь. И вдруг оба разом злобно взвизгнули, закричали и забили копытами.

– Бал-луй, черт! – сонно, с привычной угрозой, крикнул конюх.

Лошади отпрянули от решетки и насторожились. Они давно уже не терпели друг друга, но теперь, как три дня тому назад в ту же конюшню поставили грациозную вороную кобылу, – чего обыкновенно не делается и что произошло лишь от недостатка мест при беговой спешке, – то у них не проходило дня без нескольких крупных ссор. И здесь, и на кругу, и на водопое они вызывали друг друга на драку. Но Изумруд чувствовал в душе некоторую боязнь перед этим длинным самоуверенным жеребцом, перед его острым запахом злой лошади, крутым верблюжьим кадыком, мрачными запавшими глазами и особенно перед его крепким, точно каменным, костяком, закаленным годами, усиленным бегом и прежними драками.

Делая вид перед самим собою, что он вовсе не боится и что сейчас ничего не произошло, Изумруд повернулся, опустил голову в ясли и принялся ворошить сено мягкими, подвижными, упругими губами. Сначала он только прикусывал капризно отдельные травки, но скоро вкус жвачки во рту увлек его, и он по-настоящему вник в корм. И в то же время в его голове текли медленные равнодушные мысли, сцепляясь воспоминаниями образов, запахов и звуков и пропадая навеки в той черной бездне, которая была впереди и позади теперешнего мига.

«Сено», – думал он и вспомнил старшего конюха Назара, который с вечера задавал сено.

Назар – хороший старик; от него всегда так уютно пахнет черным хлебом и чуть-чуть вином; движения у него неторопливые и мягкие, овес и сено в его дни кажутся вкуснее, и приятно слушать, когда он, убирая лошадь, разговаривает с ней вполголоса с ласковой укоризной и все кряхтит. Но нет в нем чего-то главного, лошадиного, и во время прикидки чувствуется через вожжи, что его руки неуверенны и неточны.

В Ваське тоже этого нет, и хотя он кричит и дерется, но все лошади знают, что он трус, и не боятся его. И ездить он не умеет – дергает, суетится. Третий конюх, что с кривым глазом, лучше их обоих, но он не любит лошадей, жесток и нетерпелив, и руки у него не гибки, точно деревянные. А четвертый – Андрияшка, еще совсем мальчик; он играет с лошадьми, как жеребенок-сосунок, и украдкой целует в верхнюю губу и между ноздрями, – это не особенно приятно и смешно.

Вот тот, высокий, худой, сгорбленный, у которого бритое

лицо и золотые очки, – о, это совсем другое дело. Он весь точно какая-то необыкновенная лошадь – мудрая, сильная и бесстрашная. Он никогда не сердится, никогда не ударит хлыстом, даже не погрозит, а между тем когда он сидит в американке, то как радостно, гордо и приятно-страшно повиноваться каждому намеку его сильных, умных, все понимающих пальцев. Только он один умеет доводить Изумруда до того счастливого гармонического состояния, когда все силы тела напрягаются в быстроте бега, и это так весело и так легко.

И тотчас же Изумруд увидел воображением короткую дорогу на ипподром и почти каждый дом и каждую тумбу на ней, увидел песок ипподрома, трибуну, бегущих лошадей, зелень травы и желтизну ленточки. Вспомнился вдруг караковый трехлеток, который на днях вывихнул ногу на проминке и захромал. И, думая о нем, Изумруд сам попробовал мысленно похромать немножко.

Один клок сена, попавший Изумруду в рот, отличался особенным, необыкновенно нежным вкусом. Жеребец долго пережевывал его, и когда проглотил, то некоторое время еще слышал у себя во рту тонкий душистый запах каких-то увядших цветов и пахучей сухой травки. Смутное, совершенно неопределенное, далекое воспоминание скользнуло в уме лошади. Это было похоже на то, что бывает иногда у курящих людей, которым случайная затяжка папиросой на улице вдруг воскресит на неудержимое мгновение полутемный коридор с старинными обоями и одинокую свечу на буфете, или дальнюю ночную дорогу, мерный звон бубенчиков и томную дремоту, или синий лес невдалеке, снег, слепящий глаза, шум идущей облавы, страстное нетерпение, заставляющее дрожать колени, – и вот на миг пробегут по душе, ласково, печально и неясно тронув ее, тогдашние, забытые, волнующие и теперь неуловимые чувства.

Между тем черное оконце над яслями, до сих пор невидимое, стало сереть и слабо выделяться в темноте. Лошади жевали ленивее и одна за другою вздыхали тяжело и мягко. На дворе закричал петух знакомым криком, звонким, бодрым и резким, как труба. И еще долго и далеко кругом разливалось в разных местах, не прекращаясь, очередное пение других петухов.

Опустив голову в кормушку, Изумруд все старался удержать во рту и вновь вызвать и усилить странный вкус, будивший в нем этот тонкий, почти физический отзвук непонятного воспоминания. Но оживить его не удавалось, и, незаметно для себя, Изумруд задремал.

II

Ноги и тело у него были безупречные, совершенных форм, поэтому он всегда спал стоя, чуть покачиваясь вперед и назад. Иногда он вздрагивал, и тогда крепкий сон сменялся у него на несколько секунд легкой чуткой дремотой, но недолгие минуты сна были так глубоки, что в течение их отдыхали и освежались все мускулы, нервы и кожа.

Перед самым рассветом он увидел во сне раннее весеннее утро, красную зарю над землей и низкий ароматный луг. Трава была так густа и сочна, так ярко, сказочно-прелестно зелена и так нежно розовела от зари, как это видят люди и звери только в раннем детстве, и всюду на ней сверкала дрожащими огнями роса. В легком редком воздухе всевозможные запахи доносятся удивительно четко. Слышен сквозь прохладу утра запах дымка, который сине и прозрачно вьется над трубой и деревне, все цветы на лугу пахнут по-разному, на колеистой влажной дороге за изгородью смешалось множество запахов: пахнет и людьми, и дегтем, и лошадиным навозом, и пылью, и парным коровьим молоком от проходящего стада, и душистой смолой от еловых жердей забора.

Изумруд, семимесячный стригунок, носится бесцельно по полю, нагнув вниз голову и взбрыкивая задними ногами. Весь он точно из воздуха и совсем не чувствует веса своего тела. Белые пахучие цветы ромашки бегут под его ногами назад, назад. Он мчится прямо на солнце. Мокрая трава хлещет по бабкам, по коленкам и холодит и темнит их. Голубое небо, зеленая трава, золотое солнце, чудесный воздух, пьяный восторг молодости, силы и быстрого бега!

Но вот он слышит короткое, беспокойное, ласковое и призывающее ржание, которое так ему знакомо, что он всегда узнает его издали, среди тысяч других голосов. Он останавливается на всем скаку, прислушивается одну секунду, высоко подняв голову, двигая тонкими ушами и отставив метелкой пушистый короткий хвост, потом отвечает длинным заливчатым криком, от которого сотрясается все его стройное, худощавое, длинноногое тело, и мчится к матери.

Она – костлявая, старая, спокойная кобыла – поднимает мокрую морду из травы, быстро и внимательно обнюхивает жеребенка и тотчас же опять принимается есть, точно торопится делать неотложное дело. Склонив гибкую шею под ее живот и изогнув кверху морду, жеребенок привычно тычет губами между задних ног, находит теплый упругий сосок, весь переполненный сладким, чуть кисловатым молоком, которое брызжет ему в рот

тонкими горячими струйками, и все пьет и не может оторваться. Матка сама убирает от него зад и делает вид, что хочет укусить жеребенка за пах.

В конюшне стало совсем светло. Бородатый, старый, вонючий козел, живший между лошадей, подошел к дверям, заложенным изнутри брусом, и заблеял, озираясь назад, на конюха. Васька, босой, чеша лохматую голову, пошел отворять ему. Стояло холодноватое, синее крепкое осеннее утро. Правильный четырехугольник отворенной двери тотчас же застлался теплым паром, повалившим из конюшни. Аромат инея и опавшей листвы тонко потянул по стойлам.

Лошади хорошо знали, что сейчас будут засыпать овес, и от нетерпения негромко покряхтывали у решеток. Жадный и капризный Онегин бил копытом о деревянную настилку и, закусывая, по дурной привычке, верхними зубами за окованный железом изжеванный борт кормушки, тянулся шеей, глотал воздух и рыгал. Изумруд чесал морду о решетку.

Пришли остальные конюхи – их всех было четверо – и стали в железных мерках разносить по денникам овес. Пока Назар сыпал тяжелый шелестящий овес в ясли Изумруда, жеребец суетливо совался к корму, то через плечо старика, то из-под его рук, трепеща теплыми ноздрями. Конюх, которому нравилось это нетерпение кроткой лошади, нарочно не торопился, загораживал ясли локтями и ворчал с добродушною грубостью:

– Ишь ты, зверь жадная… Но-о, успеишь… А, чтоб тебя… Потычь мне еще мордой-то. Вот я тебя ужотко потычу.

Из оконца над яслями тянулся косо вниз четырехугольный веселый солнечный столб, и в нем клубились миллионы золотых пылинок, разделенных длинными тенями от оконного переплета.

III

Изумруд только что доел овес, когда за ним пришли, чтобы вывести его на двор. Стало теплее, и земля слегка размякла, но стены конюшни были еще белы от инея. От навозных куч, только что выгребенных из конюшни, шел густой пар, и воробьи, копошившиеся в навозе, возбужденно кричали, точно ссорясь между собой. Нагнув шею в дверях и осторожно переступив через порог, Изумруд с радостью долго потянул в себя пряный воздух, потом затрясся шеей и всем телом и звучно зафыркал. «Будь здоров!» – серьезно сказал Назар. Изумруду не стоялось. Хотелось сильных движений, щекочущего ощущения воздуха, быстро бегущего в глаза и ноздри, горячих толчков сердца, глубокого

дыхания. Привязанный к коновязи, он ржал, плясал задними ногами и, изгибая набок шею, косил назад, на вороную кобылу, черным большим выкатившимся глазом с красными жилками на белке.

Задыхаясь от усилия, Назар поднял вверх выше головы ведро с водой и вылил ее на спину жеребца от холки до хвоста. Это было знакомое Изумруду бодрое, приятное и жуткое своей всегдашней неожиданностью ощущение. Назар принес еще воды и оплескал ему бока, грудь, ноги и под репицей. И каждый раз он плотно проводил мозолистой ладонью вдоль его шерсти, отжимая воду. Оглядываясь назад, Изумруд видел свой высокий, немного вислозадый круп, вдруг потемневший и заблестевший глянцем на солнце.

Был день бегов. Изумруд знал это по особенной нервной спешке, с которой конюхи хлопотали около лошадей; некоторым, которые по короткости туловища имели обыкновение засекаться подковами, надевали кожаные ногавки на бабки, другим забинтовывали ноги полотняными поясами от путового сустава до колена или подвязывали под грудь за передними ногами широкие подмышники, отороченные мехом. Из сарая выкатывали легкие двухколесные с высокими сиденьями американки; их металлические спицы весело сверкали на ходу, а красные ободья и красные широкие выгнутые оглобли блестели новым лаком.

Изумруд был уже окончательно высушен, вычищен щетками и вытерт шерстяной рукавицей, когда пришел главный наездник конюшни, англичанин. Этого высокого, худого, немного сутуловатого, длиннорукого человека одинаково уважали и боялись и лошади и люди. У него было бритое загорелое лицо и твердые, тонкие, изогнутые губы насмешливого рисунка. Он носил золотые очки; сквозь них его голубые, светлые глаза глядели твердо и упорно-спокойно. Он следил за уборкой, расставив длинные ноги в высоких сапогах, заложив руки глубоко в карманы панталон и пожевывая сигару то одним, то другим углом рта. На нем была серая куртка с меховым воротником, черный картуз с узкими полями и прямым длинным четырехугольным козырьком. Иногда он делал короткие замечания отрывистым, небрежным тоном, и тотчас же все конюхи и рабочие поворачивали к нему головы и лошади настораживали уши в его сторону.

Он особенно следил за запряжкой Изумруда, оглядывая все тело лошади от челки до копыт, и Изумруд, чувствуя на себе этот точный, внимательный взгляд, гордо подымал голову, слегка полуоборачивал гибкую шею и ставил торчком тонкие, просвечивающие уши. Наездник сам испытал крепость подпруги,

просовывая палец между ней и животом. Затем на лошадей надели серые полотняные попоны с красными каймами, красными кругами около глаз и красными вензелями внизу у задних ног. Два конюха, Назар и кривоглазый, взяли Изумруда с обеих сторон под уздцы и повели на ипподром по хорошо знакомой мостовой, между двумя рядами редких больших каменных зданий. До бегового круга не было и четверти версты.

Во дворе ипподрома было уже много лошадей, их проваживали по кругу, всех в одном направлении – в том же, в котором они ходят по беговому кругу, то есть обратном движению часовой стрелки. Внутри двора водили поддужных лошадей, небольших, крепконогих, с подстриженными короткими хвостами. Изумруд тотчас же узнал белого жеребчика, всегда скакавшего с ним рядом, и обе лошади тихо и ласково поржали в знак приветствия.

IV

На ипподроме зазвонили. Конюхи сняли с Изумруда попону. Англичанин, щуря под очками глаза от солнца и оскаливая длинные желтые лошадиные зубы, подошел, застегивая на ходу перчатки, с хлыстом под мышкой. Один из конюхов подобрал Изумруду пышный, до самых бабок, хвост и бережно уложил его на сиденье американки, так что его светлый конец свесился назад. Гибкие оглобли упруго качнулись от тяжести тела. Изумруд покосился назад и увидел наездника, сидящего почти вплотную за его крупом, с ногами, вытянутыми вперед и растопыренными по оглоблям. Наездник, не торопясь, взял вожжи, односложно крикнул конюхам, и они разом отняли руки. Радуясь предстоящему бегу, Изумруд рванулся было вперед, но, сдержанный сильными руками, поднялся лишь немного на задних ногах, встряхнул шеей и широкой, редкой рысью выбежал из ворот на ипподром.

Вдоль деревянного забора, образуя верстовой эллипс, шла широкая беговая дорожка из желтого песка, который был немного влажен и плотен и потому приятно пружинился под ногами, возвращая им их давление. Острые следы копыт и ровные, прямые полосы, оставляемые гуттаперчей шин, бороздили ленточку.

Мимо протянулась трибуна, высокое деревянное здание в двести лошадиных корпусов длиною, где горой от земли до самой крыши, поддержанной тонкими столбами, двигалась и гудела черная человеческая толпа. По легкому, чуть слышному

шевелению вожжей Изумруд понял, что ему можно прибавить ходу, и благодарно фыркнул.

Он шел ровной машистой рысью, почти не колеблясь спиной, с вытянутой вперед и слегка привороченной к левой оглобле шеей, с прямо поднятой мордой. Благодаря редкому, хотя необыкновенно длинному шагу его бег издали не производил впечатления быстроты; казалось, что рысак меряет, не торопясь, дорогу прямыми, как циркуль, передними ногами, чуть притрогиваясь концами копыт к земле. Это была настоящая американская выездка, в которой все сводится к тому, чтобы облегчить лошади дыхание и уменьшить сопротивление воздуха до последней степени, где устранены все ненужные для бега движения, непроизводительно расходующие силу, и где внешняя красота форм приносится в жертву легкости, сухости, долгому дыханию и энергии бега, превращая лошадь в живую безукоризненную машину.

Теперь, в антракте между двумя бегами, шла проминка лошадей, которая всегда делается для того, чтобы открыть рысакам дыхание. Их много бежало во внешнем кругу по одному направлению с Изумрудом, а во внутреннем – навстречу. Серый, в темных яблоках, рослый беломордый рысак, чистой орловской породы, с крутой собранной шеей а с хвостом трубой, похожий на ярмарочного коня, перегнал Изумруда. Он трясся на ходу жирной, широкой, уже потемневшей от пота грудью и сырыми пахами, откидывал передние ноги от колен вбок, и при каждом шаге у него звучно ёкала селезенка.

Потом подошла сзади стройная, длиннотелая гнедая кобыла-метиска с жидкой темной гривой. Она была прекрасно выработана по той же американской системе, как и Изумруд. Короткая холеная шерсть так и блестела на ней, переливаясь от движения мускулов под кожей. Пока наездники о чем-то говорили, обе лошади шли некоторое время рядом. Изумруд обнюхал кобылу и хотел было заиграть на ходу, но англичанин не позволил, и он подчинился.

Навстречу им пронесся полной рысью огромный вороной жеребец, весь обмотанный бинтами, наколенниками и подмышниками. Левая оглобля выступала у него прямо вперед на пол-аршина длиннее правой, а через кольцо, укрепленное над головой, проходил ремень стального оберчека, жестоко охватившего сверху и с обеих сторон нервный храп лошади. Изумруд и кобыла одновременно поглядели на него, и оба мгновенно оценили в нем рысака необыкновенной силы, быстроты и выносливости, но страшно упрямого, злого, самолюбивого и обидчивого. Следом за вороным пробежал

до смешного маленький, светло-серый нарядный жеребчик. Со стороны можно было подумать, что он мчится с невероятной скоростью: так часто топотал он ногами, так высоко вскидывал их в коленях и такое усердное, деловитое выражение было в его подобранной шее с красивой маленькой головой. Изумруд только презрительно скосил на него свой глаз и повел одним ухом в его сторону.

Другой наездник окончил разговор, громко и коротко засмеялся, точно проржал, и пустил кобылу свободной рысью. Она без всякого усилия, спокойно, точно быстрота ее бега совсем от нее не зависела, отделилась от Изумруда и побежала вперед, плавно неся ровную, блестящую спину с едва заметным темным ремешком вдоль хребта.

Но тотчас же и Изумруда и ее обогнал и быстро кинул назад несшийся галопом огненно-рыжий рысак с большим белым пятном на храпе. Он скакал частыми длинными прыжками, то растягиваясь и пригибаясь к земле, то почти соединяя на воздухе передние ноги с задними. Его наездник, откинувшись назад всем телом, не сидел, а лежал на сиденье, повиснув на натянутых вожжах. Изумруд заволновался и горячо метнулся в сторону, но англичанин незаметно сдержал вожжи, и его руки, такие гибкие и чуткие к каждому движению лошади, вдруг стали точно железными. Около трибуны рыжий жеребец, успевший проскакать еще один круг, опять обогнал Изумруда. Он до сих пор скакал, но теперь уже был в пене, с кровавыми глазами и дышал хрипло. Наездник, перегнувшись вперед, стегал его изо всех сил хлыстом вдоль спины. Наконец конюхам удалось близ ворот пересечь ему дорогу и схватить за вожжи и за узду у морды. Его свели с ипподрома, мокрого, задыхающегося, дрожащего, похудевшего в одну минуту.

Изумруд сделал еще полкруга полной рысью, потом свернул на дорожку, пересекавшую поперек беговой плац, и через ворота въехал во двор.

V

На ипподроме несколько раз звонили. Мимо отворенных ворот изредка проносились молнией бегущие рысаки, люди на трибунах вдруг принимались кричать и хлопать в ладоши. Изумруд в линии других рысаков часто шагал рядом с Назаром, мотая опущенною головой и пошевеливая ушами в полотняных футлярах. От проминки кровь весело и горячо струилась в его жилах, дыхание становилось все глубже и свободнее, по мере того

как отдыхало и охлаждалось его тело, – во всех мускулах чувствовалось нетерпеливое желание бежать еще.

Прошло с полчаса. На ипподроме опять зазвонили. Теперь наездник сел на американку без перчаток. У него были белые, широкие, волшебные руки, внушавшие Изумруду привязанность и страх.

Англичанин неторопливо выехал на ипподром, откуда одна за другой съезжали во двор лошади, окончившие проминку. На кругу остались только Изумруд и тот огромный вороной жеребец, который повстречался с ним на проездке. Трибуны сплошь от низу до верху чернели густей человеческой толпой, и в этой черной массе бесчисленно, весело и беспорядочно светлели лица и руки, пестрели зонтики и шляпки и воздушно колебались белые листики программ. Постепенно увеличивая ход и пробегая вдоль трибуны, Изумруд чувствовал, как тысяча глаз неотступно провожала его, и он ясно понимал, что эти глаза ждут от него быстрых движений, полного напряжения сил, могучего биения сердца, – и это понимание сообщало его мускулам счастливую легкость и кокетливую сжатость. Белый знакомый жеребец, на котором сидел верхом мальчик, скакал укороченным галопом рядом, справа.

Ровной, размеренной рысью, чуть-чуть наклоняясь телом влево, Изумруд описал крутой заворот и стал подходить к столбу с красным кругом. На ипподроме коротко ударили в колокол. Англичанин едва заметно поправился на сиденье, и руки его вдруг окрепли. «Теперь иди, но береги силы. Еще рано», – понял Изумруд и в знак того, что понял, обернул на секунду назад и опять поставил прямо свои тонкие, чуткие уши. Белый жеребец ровно скакал сбоку, немного позади. Изумруд слышал у себя около холки его свежее равномерное дыхание.

Красный столб остался позади, еще один крутой поворот, дорожка выпрямляется, вторая трибуна, приближаясь, чернеет и пестреет издали гудящей толпой и быстро растет с каждым шагом. «Еще! – позволяет наездник, – еще, еще!» Изумруд немного горячится и хочет сразу напрячь все свои силы в беге. «Можно ли?» – думает он. «Нет, еще рано, не волнуйся, – отвечают, успокаивая, волшебные руки. – Потом».

Оба жеребца проходят призовые столбы секунда в секунду, но с противоположных сторон диаметра, соединяющего обе трибуны. Легкое сопротивление туго натянутой нитки и быстрый разрыв ее на мгновение заставляют Изумруда запрясть ушами, но он тотчас же забывает об этом, весь поглощенный вниманием к чудесным рукам. «Еще немного! Не горячиться! Идти ровно!» – приказывает наездник. Черная колеблющаяся трибуна

проплывает мимо. Еще несколько десятков сажен, и все четверо – Изумруд, белый жеребчик, англичанин и мальчик-поддужный, припавший, стоя на коротких стременах, к лошадиной гриве, – счастливо слаживаются в одно плотное, быстро несущееся тело, одухотворенное одной волей, одной красотой мощных движений, одним ритмом, звучащим, как музыка. Та-та-та-та! – ровно и мерно выбивает ногами Изумруд. Тра-та́, тра-та́! – коротко и резко двоит поддужный. Еще один поворот, и бежит навстречу вторая трибуна. «Я прибавлю?» – спрашивает Изумруд. «Да, – отвечают руки, – но спокойно».

Вторая трибуна проносится назад мимо глаз. Люди кричат что-то. Это развлекает Изумруда, он горячится, теряет ощущение вожжей и, на секунду выбившись из общего, наладившегося такта, делает четыре капризных скачка с правой ноги. Но вожжи тотчас же становятся жесткими и, раздирая ему рот, скручивают шею вниз и ворочают голову направо. Теперь уже неловко скакать с правой ноги. Изумруд сердится и не хочет переменить ногу, но наездник, поймав этот момент, повелительно и спокойно ставит лошадь на рысь. Трибуна осталась далеко позади, Изумруд опять входит в такт, и руки снова делаются дружественно-мягкими. Изумруд чувствует свою вину и хочет усилить вдвое рысь. «Нет, нет, еще рано, – добродушно замечает наездник. – Мы успеем это поправить. Ничего».

Так они проходят в отличном согласии без сбоев еще круг и половину. Но и вороной сегодня в великолепном порядке. В то время, когда Изумруд разладился, он успел бросить его на шесть длин лошадиного тела, но теперь Изумруд набирает потерянное и у предпоследнего столба оказывается на три с четвертью секунды впереди. «Теперь можно. Иди!» – приказывает наездник. Изумруд прижимает уши и бросает всего один быстрый взгляд назад. Лицо англичанина все горит острым, решительным, прицеливающимся выражением, бритые губы сморщились нетерпеливой гримасой и обнажают желтые, большие, крепко стиснутые зубы. «Давай все, что можно! – приказывают вожжи в высоко поднятых руках. – Еще, еще!» И англичанин вдруг кричит громким вибрирующим голосом, повышающимся, как звук сирены:

– О-э-э-э-эй!

– Вот, вот, вот, вот!.. – пронзительно и звонко в такт бегу кричит мальчишка-поддужный.

Теперь чувство темпа достигает самой высшей напряженности и держится на каком-то тонком волоске, вот-вот готовом порваться. Та-та-та-та! – ровно отпечатывают по земле ноги Изумруда. Трра-трра-трра! – слышится впереди галоп белого

жеребца, увлекающего за собой Изумруда. В такт бегу колеблются гибкие оглобли, и в такт галопу подымается и опускается на седле мальчик, почти лежащий на шее у лошади.

Воздух, бегущий навстречу, свистит в ушах и щекочет ноздри, из которых пар бьет частыми большими струями. Дышать труднее, и коже становится жарко. Изумруд обегает последний заворот, наклоняясь вовнутрь его всем телом. Трибуна вырастает, как живая, и от нее навстречу летит тысячеголосый рев, который пугает, волнует и радует Изумруда. У него не хватает больше рыси, и он уже хочет скакать, но эти удивительные руки позади и умоляют, и приказывают, и успокаивают: «Милый, не скачи!.. Только не скачи!.. Вот так, вот так, вот так». И Изумруд, проносясь стремительно мимо столба, разрывает контрольную нитку, даже не заметя этого. Крики, смех, аплодисменты водопадом низвергаются с трибуны. Белые листки афиш, зонтики, палки, шляпы кружатся и мелькают между движущимися лицами и руками. Англичанин мягко бросает вожжи. «Кончено. Спасибо, милый!» – говорит Изумруду это движение, и он, с трудом сдерживая инерцию бега, переходит в шаг. В этот момент вороной жеребец только-только подходит к своему столбу на противоположной стороне, семью секундами позже.

Англичанин, с трудом подымая затекшие ноги, тяжело спрыгивает с американки и, сняв бархатное сиденье, идет с ним на весы. Подбежавшие конюхи покрывают горячую спину Изумруда попоной и уводят на двор. Вслед им несется гул человеческой толпы и длинный звонок из членской беседки. Легкая желтоватая пена падает с морды лошади на землю и на руки конюхов.

Через несколько минут Изумруда, уже распряженного, приводят опять к трибуне. Высокий человек в длинном пальто и новой блестящей шляпе, которого Изумруд часто видит у себя в конюшне, треплет его по шее и сует ему на ладони в рот кусок сахару. Англичанин стоит тут же, в толпе, и улыбается, морщась и скаля длинные зубы. С Изумруда снимают попону и устанавливают его перед ящиком на трех ногах, покрытым черной материей, под которую прячется и что-то там делает господин в сером.

Но вот люди свергаются с трибун черной рассыпающейся массой. Они тесно обступают лошадь со всех сторон, и кричат, и машут руками, наклоняя близко друг к другу красные, разгоряченные лица с блестящими глазами. Они чем-то недовольны, тычут пальцами в ноги, в голову и в бока Изумруду, взъерошивают шерсть на левой стороне крупа, там, где стоит тавро, и опять кричат все разом. «Поддельная лошадь,

фальшивый рысак, обман, мошенничество, деньги назад!» – слышит Изумруд и не понимает этих слов и беспокойно шевелит ушами. «О чем они? – думает он с удивлением. – Ведь я так хорошо бежал!» И на мгновение ему бросается в глаза лицо англичанина. Всегда такое спокойное, слегка насмешливое и твердое, оно теперь пылает гневом. И вдруг англичанин кричит что-то высоким гортанным голосом, взмахивает быстро рукой, и звук пощечины сухо разрывает общий гомон.

VI

Изумруда отвели домой, через три часа дали ему овса, а вечером, когда его поили у колодца, он видел, как из-за забора подымалась желтая большая луна, внушавшая ему темный ужас.

А потом пошли скучные дни.

Ни на прикидки, ни на проминки, ни на бега его не водили больше. Но ежедневно приходили незнакомые люди, много людей, и для них выводили Изумруда на двор, где они рассматривали и ощупывали его на все лады, лазили ему в рот, скребли его шерсть пемзой и все кричали друг на друга.

Потом он помнил, как его однажды поздним вечером вывели из конюшни и долго вели по длинным, каменным, пустынным улицам, мимо домов с освещенными окнами. Затем вокзал, темный трясущийся вагон, утомление и дрожь в ногах от дальнего переезда, свистки паровозов, грохот рельсов, удушливый запах дыма, скучный свет качающегося фонаря. На одной станции его выгрузили из вагона и долго везли незнакомой дорогой, среди просторных, голых осенних полей, мимо деревень, пока не привели в незнакомую конюшню и не заперли отдельно, вдали от других лошадей.

Сначала он все вспоминал о бегах, о своем англичанине, о Ваське, о Назаре и об Онегине и часто видел их во сне, но с течением времени позабыл обо всем. Его от кого-то прятали, и все его молодое, прекрасное тело томилось, тосковало и опускалось от бездействия. То и дело подъезжали новые, незнакомые люди и снова толклись вокруг Изумруда, щупали и теребили его и сердито бранились между собою.

Иногда случайно Изумруд видел сквозь отворенную дверь других лошадей, ходивших и бегавших на воле, иногда он кричал им, негодуя и жалуясь. Но тотчас же закрывали дверь, и опять скучно и одиноко тянулось время.

Главным в этой конюшне был большеголовый, заспанный человек с маленькими черными глазками и тоненькими черными

усами на жирном лице. Он казался совсем равнодушным к Изумруду, но тот чувствовал к нему непонятный ужас.

И вот однажды, ранним утром, когда все конюхи спали, этот человек тихонько, без малейшего шума, на цыпочках вошел к Изумруду, сам засыпал ему овес в ясли и ушел. Изумруд немного удивился этому, но покорно стал есть. Овес был сладок, слегка горьковат и едок на вкус. «Странно, – подумал Изумруд, – я никогда не пробовал такого овса».

И вдруг он почувствовал легкую резь в животе. Она пришла, потом прекратилась и опять пришла сильнее прежнего и увеличивалась с каждой минутой. Наконец боль стала нестерпимой. Изумруд глухо застонал. Огненные колеса завертелись перед его глазами, от внезапной слабости все его тело стало мокрым и дряблым, ноги задрожали, подогнулись, и жеребец грохнулся на пол. Он еще пробовал подняться, но мог встать только на одни передние ноги и опять валился на бок. Гудящий вихрь закружился у него в голове; проплыл англичанин, скаля по-лошадиному длинные зубы. Онегин пробежал мимо, выпятя свой верблюжий кадык и громко ржа. Какая-то сила несла Изумруда беспощадно и стремительно глубоко вниз, в темную и холодную яму. Он уже не мог шевелиться.

Судороги вдруг свели его ноги и шею и выгнули спину. Вся кожа на лошади задрожала мелко и быстро и покрылась остро пахнувшей пеной.

Желтый движущийся свет фонаря на миг резнул ему глаза и потух вместе с угасшим зрением. Ухо его еще уловило грубый человеческий окрик, но он уже не почувствовал, как его толкнули в бок каблуком. Потом все исчезло – навсегда.

Владимир Владимирович Маяковский 1893–1930

Гимн обеду

Слава вам, идущие обедать миллионы!
И уже успевшие наесться тысячи!
Выдумавшие каши, бифштексы, бульоны
и тысячи блюдищ всяческой пищи.

Если ударами ядр
тысячи Реймсов разбить удалось бы –
по-прежнему будут ножки у пулярд,
и дышать по-прежнему будет ростбиф!

Желудок в панаме! Тебя ль заразят
величием смерти для новой эры?!
Желудку ничем болеть нельзя,
кроме аппендицита и холеры!

Пусть в сале совсем потонут зрачки –
все равно их зря отец твой выделал;
на слепую кишку хоть надень очки,
кишка все равно ничего б не видела.

Ты так не хуже! Наоборот,
если б рот один, без глаз, без затылка –
сразу могла б поместиться в рот
целая фаршированная тыква.

Лежи спокойно, безглазый, безухий,
с куском пирога в руке,
а дети твои у тебя на брюхе
будут играть в крокет.

Спи, не тревожась картиной крови
и тем, что пожаром мир опоясан, –
молоком богаты силы коровьи,
и безмерно богатство бычьего мяса.

Если взрежется последняя шея бычья
и злак последний с камня серого,

ты, верный раб твоего обычая,
из звезд сфабрикуешь консервы.

А если умрешь от котлет и бульонов,
на памятнике прикажем высечь:
«Из стольких-то и стольких-то котлет миллионов –
твоих четыреста тысяч».

О дряни

Слава, Слава, Слава героям!!!

Впрочем,
им
довольно воздали дани.
Теперь
поговорим
о дряни.

Утихомирились бури революционных лон.
Подернулась тиной советская мешанина.
И вылезло
из-за спины РСФСР
мурло
мещанина.

(Меня не поймаете на слове,
я вовсе не против мещанского сословия.
Мещанам
без различия классов и сословий
мое славословие.)

Со всех необъятных российских нив,
с первого дня советского рождения
стеклись они,
наскоро оперенья переменив,
и засели во все учреждения.

Намозолив от пятилетнего сидения зады,
крепкие, как умывальники,
живут и поныне –
тише воды.
Свили уютные кабинеты и спаленки.

И вечером
та или иная мразь,
на жену,
за пианином обучающуюся, глядя,
говорит,
от самовара разморясь:
«Товарищ Надя!
К празднику прибавка –
24 тыщи.
Тариф.
Эх и заведу я себе
тихоокеанские галифища,
чтоб из штанов
выглядывать,
как коралловый риф!»
А Надя:
«И мне с эмблемами платья.
Без серпа и молота не покажешься в свете!
В чем
сегодня
буду фигурять я
на балу в Реввоенсовете?!»
На стенке Маркс.
Рамочка а́ла.
На «Известиях» лежа, котенок греется.
А из-под потолочка
верещала
оголтелая канареица.

Маркс со стенки смотрел, смотрел…
И вдруг
разинул рот
да как заорет:
«Опутали революцию обывательщины нити,
Страшнее Врангеля обывательский быт.
Скорее
головы канарейкам сверните –
чтоб коммунизм
канарейками не был побит!»

«Послушайте!..»

Послушайте!
Ведь, если звезды зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – кто-то хочет, чтобы они были?
Значит – кто-то называет эти плевочки
жемчужиной?
И, надрываясь
в метелях полуденной пыли,
врывается к богу,
боится, что опоздал,
плачет,
целует ему жилистую руку,
просит –
чтоб обязательно была звезда! –
клянется –
не перенесет эту беззвездную муку!

А после
ходит тревожный,
но спокойный наружно.
Говорит кому-то:
«Ведь теперь тебе ничего?
Не страшно?
Да?!»
Послушайте!
Ведь, если звезды
зажигают –
значит – это кому-нибудь нужно?
Значит – это необходимо,
чтобы каждый вечер
над крышами
загоралась хоть одна звезда?!

Игорь Северянин
1887–1941

В парке плакала девочка

Всеволоду Светланову

В парке плакала девочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка –
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»

И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы, и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.

Выйди в сад

Выйди в сад… Как погода ясна!
Как застенчиво август увял!
Распустила коралл бузина,
И янтарный боярышник – вял…
Эта ягода – яблочко-гном…
Как кудрявый кротекус красив.
Скоро осень окутает сном
Теплый садик, дождем оросив.
А пока еще – зелень вокруг
И вверху безмятежная синь;
И у клена причудливых рук –
Много сходного с лапой гусынь.
Как оливковы листики груш!
Как призывно плоды их висят!
Выйди в сад и чуть-чуть поразрушь, –
Это осень простит… Выйди в сад.

Запевка

О России петь – что стремиться в храм
По лесным горам, полевым коврам…

О России петь – что весну встречать,

Что невесту ждать, что утешить мать…

О России петь – что тоску забыть,
Что Любовь любить, что бессмертным быть!

Классические розы

Как хороши, как свежи были розы
В моем саду! Как взор прельщали мой!
Как я молил весенние морозы
Не трогать их холодною рукой!

И. Мятлев. 1843 г.

В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы…
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут – уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп…
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

«Не завидуй другу, если друг богаче…»

Не завидуй другу, если друг богаче,
Если он красивей, если он умней.
Пусть его достатки, пусть его удачи
У твоих сандалий не сотрут ремней…

Двигайся бодрее по своей дороге,

Улыбайся шире от его удач:
Может быть, блаженство – на твоем пороге,
А его, быть может, ждут нужда и плач.

Плачь его слезою! Смейся шумным смехом!
Чувствуй полным сердцем вдоль и поперек!
Не препятствуй другу ликовать успехом:
Это – преступленье! Это – сверхпорок!

Ты не шла…

Карменсите

Целый день хохотала сирень
Фиолетово-розовым хохотом.
Солнце жалило высохший день.
Ты не шла (Может быть, этот вздох о том?)
Ты не шла. Хохотала сирень,
Удушая пылающим хохотом…
Вдалеке у слепых деревень
Пробежал паровоз тяжким грохотом.
Зло-презло хохотала сирень,
Убивая мечты острым хохотом.
Да. А ты все не шла – целый день.
А я ждал (Может быть, этот вздох о том?..)
До луны хохотала сирень
Беспощадно осмысленным хохотом…
Ты не шла. В парке влажная тень.
Сердце ждет. Сердце бесится грохотом.
– Отхохочет ли эта сирень?
Иль увянет, сожженная хохотом?!

Фиалка

Морозову-Гоголю

Снежеет дружно, снежеет нежно,
Над ручейками хрусталит хрупь.
Куда ни взглянешь – повсюду снежно,
И сердце хочет в лесную глубь.

Мне больно-больно… Мне жалко-жалко…

Зачем мне больно? Чего мне жаль?
Ах, я не знаю, ах, я – фиалка,
Так тихо-тихо ушла я в шаль.

О ты, чье сердце крылит к раздолью,
Ты, триумфатор, ты, властелин!
Приди, любуйся моей фиолью –
Моей печалью в снегах долин.

О ты, чьи мысли всегда крылаты,
Всегда победны, внемли, о ты:
Возьми в ладони меня, как в латы,
Моей фиолью святя мечты!..

Леонид Николаевич Андреев
1871–1919

Баргамот и Гараська

Было бы несправедливо сказать, что природа обидела Ивана Акиндиныча Бергамотова, в своей официальной части именовавшегося «городовой бляха № 20», а в неофициальной попросту «Баргамот». Обитатели одной из окраин губернского города Орла, в свою очередь, по отношению к месту жительства называвшиеся пушкарями (от названия Пушкарной улицы), а с духовной стороны характеризовавшиеся прозвищем «пушкари – проломленные головы», давая Ивану Акиндиновичу это имя, без сомнения, не имели в виду свойств, присущих столь нежному и деликатному плоду, как бергамот. По своей внешности «Баргамот» скорее напоминал мастодонта или вообще одного из тех милых, но погибших созданий, которые за недостатком помещения давно уже покинули землю, заполненную мозгляками-людишками. Высокий, толстый, сильный, громогласный Баргамот составлял на полицейском горизонте видную фигуру и давно, конечно, достиг бы известных степеней, если бы душа его, сдавленная толстыми стенами, не была погружена в богатырский сон. Внешние впечатления, проходя в душу Баргамота через его маленькие, заплывшие глазки, по дороге теряли всю свою остроту и силу и доходили до места назначения лишь в виде слабых отзвуков и отблесков. Человек с возвышенными требованиями назвал бы его куском мяса, околоточные надзиратели величали его дубиной, хоть и исполнительной, для пушкарей же – наиболее заинтересованных в этом вопросе лиц – он был степенным, серьезным и солидным человеком, достойным всякого почета и уважения. То, что знал Баргамот, он знал твердо. Пусть это была одна инструкция для городовых, когда-то с напряжением всего громадного тела усвоенная им, но зато эта инструкция так глубоко засела в его неповоротливом мозгу, что вытравить ее оттуда нельзя было даже крепкой водкой. Не менее прочную позицию занимали в его душе немногие истины, добытые путем житейского опыта и безусловно господствовавшие над местностью. Чего не знал Баргамот, о том он молчал с такой несокрушимой солидностью, что людям знающим становилось как будто немного совестно за свое знание. А самое главное – Баргамот обладал непомерной силищей, сила же на Пушкарной

улице была все. Населенная сапожниками, пенькотрепальщиками, кустарями-портными и иных свободных профессий представителями, обладая двумя кабаками, воскресеньями и понедельниками, все свои часы досуга Пушкарная посвящала гомерической драке, в которой принимали непосредственное участие жены, растрепанные, простоволосые, растаскивавшие мужей, и маленькие ребятишки, с восторгом взиравшие на отвагу тятек. Вся эта буйная волна пьяных пушкарей, как о каменный оплот, разбивалась о непоколебимого Баргамота, забиравшего методически в свои мощные длани пару наиболее отчаянных крикунов и самолично доставлявшего их «за клин». Крикуны покорно вручали свою судьбу в руки Баргамота, протестуя лишь для порядка. Таков был Баргамот в области международных отношений. В сфере внутренней политики он держался с неменьшим достоинством. Маленькая, покосившаяся хибарка, в которой обитал Баргамот с женой и двумя детишками и которая с трудом вмещала его грузное тело, трясясь от дряхлости и страха за свое существование, когда Баргамот ворочался, – могла быть спокойна если не за свои деревянные устои, то за устои семейного союза. Хозяйственный, рачительный, любивший в свободные дни копаться в огороде, Баргамот был строг. Путем того же физического воздействия он учил жену и детей, не столько сообразуясь с их действительными потребностями в науке, сколько с теми неясными на этот счет указаниями, которые существовали где-то в закоулке его большой головы. Это не мешало жене его Марье, еще моложавой и красивой женщине, с одной стороны, уважать мужа как человека степенного и непьющего, а с другой – вертеть им, при всей его грузности, с такой легкостью и силой, на которую только и способны слабые женщины.

Часу в десятом теплого весеннего вечера Баргамот стоял на своем обычном посту, на углу Пушкарной и 3-й Посадской улиц. Настроение Баргамота было скверное. Завтра светлое Христово воскресение, сейчас люди пойдут в церковь, а ему стоять на дежурстве до трех часов ночи, только к разговинам домой попадешь. Потребности молиться Баргамот не ощущал, но праздничное, светлое настроение, разлитое по необычайно тихой и спокойной улице, коснулось и его. Ему не нравилось место, на котором он ежедневно спокойно стоял в течение десятка годов, хотелось тоже делать что-нибудь такое праздничное, что делают другие. В виде смутных ощущений поднимались в нем недовольство и нетерпение. Кроме того, он был голоден. Жена нынче совсем не дала ему обедать. Так, только тюри пришлось похлебать. Большой живот настоятельно

требовал пищи, а разговляться-то когда еще!

– Тьфу! – плюнул Баргамот, сделав цигарку, и начал нехотя сосать ее. Дома у него были хорошие папиросы, презентованные местным лавочником, но и они откладывались до «разговленья».

Вскоре потянулись в церковь и пушкари, чистые, благообразные, в пиджаках и жилетах поверх красных и синих шерстяных рубах, в длинных, с бесконечным количеством сборок, сапогах на высоких и острых каблучках. Завтра всему этому великолепию предстояло частью попасть на стойку кабаков, а частью быть разорванным в дружеской схватке за гармонию, но сегодня пушкари сияли. Каждый бережно нес узелок с пасхой и куличами. На Баргамота никто не обращал внимания, да и он с неособенной любовью посматривал на своих «крестников», смутно предчувствуя, сколько путешествий придется ему завтра совершить в участок. В сущности, ему было завидно, что они свободные и идут туда, где будет светло, шумно и радостно, а он торчи тут как неприкаянный.

«Стой тут из-за вас, пьяниц!» – резюмировал он свои размышления и еще раз плюнул – сосало под ложечкой.

Улица опустела. Отзвонили к обедне. Потом радостный, переливчатый трезвон, такой веселый после заунывных великопостных колоколов, разнес по миру благостную весть о воскресении Христа. Баргамот снял шапку и перекрестился. Скоро и домой. Баргамот повеселел, представляя себе стол, накрытый чистой скатертью, куличи, яйца. Он, не торопясь, со всеми похристосуется. Разбудят и принесут Ванюшку, который первым делом потребует крашеного яичка, о котором целую неделю вел обстоятельные беседы с более опытной сестренкой. Вот-то разинет он рот, когда отец преподнесет ему не линючее, окрашенное фуксином яйцо, а настоящее мраморное, что самому ему презентовал все тот же обязательный лавочник!

«Потешный мальчик!» – ухмыльнулся Баргамот, чувствуя, как что-то вроде родительской нежности поднимается со дна его души.

Но благодушие Баргамота было нарушено самым подлым образом. За углом послышались неровные шаги и сиплое бормотанье. «Кого это несет нелегкая?» – подумал Баргамот, заглянул за угол и всей душой оскорбился. Гараська! Сам с своей собственной пьяной особой, – его только недоставало! Где он поспел до свету наклюкаться, составляло его тайну, но что он наклюкался, было вне всякого сомнения. Его поведение, загадочное для всякого постороннего человека, для Баргамота, изучившего душу пушкаря вообще и подлую Гараськину натуру в частности, было вполне ясно. Влекомый непреодолимой силой,

Гараська со средины улицы, по которой он имел обыкновение шествовать, был притиснут к забору. Упершись обеими руками и сосредоточенно-вопросительно вглядываясь в стену, Гараська покачивался, собирая силы для новой борьбы с неожиданными препятствиями. После непродолжительного напряженного размышления Гараська энергично отпихнулся от стены, допятился задом до средины улицы и, сделав решительный поворот, крупными шагами устремился в пространство, оказавшееся вовсе не таким бесконечным, как о нем говорят, и в действительности ограниченное массой фонарей. С первым же из них Гараська вступил в самые тесные отношения, заключив его в дружеские и крепкие объятия.

– Фонарь. Тпру! – кратко констатировал Гараська совершившийся факт. Вопреки обыкновению, Гараська был настроен чрезвычайно добродушно. Вместо того чтобы обсыпать столб заслуженными ругательствами, Гараська обратился к нему с кроткими упреками, носившими несколько фамильярный оттенок.

– Стой, дурашка, куда ты?! – бормотал он, откачиваясь от столба и снова всей грудью припадая к нему и чуть не сплющивая носа об его холодную и сыроватую поверхность. – Вот, вот!.. – Гараська, уже наполовину скользнувший вдоль столба, успел удержаться и погрузился в задумчивость.

Баргамот с высоты своего роста, презрительно скосив губы, смотрел на Гараську. Никто ему так не досаждал на Пушкарной, как этот пьянчужка. Так посмотришь, – в чем душа держится, а скандалист первый на всей окраине. Не человек, а язва. Пушкарь напьется, побуянит, переночует в участке – и все это выходит у него по-благородному, а Гараська все исподтишка, с язвительностью. И били-то его до полусмерти, и в части впроголодь держали, а все не могли отучить от ругани, самой обидной и злоязычной. Станет под окнами кого-нибудь из наиболее почетных лиц на Пушкарной и начнет костить, без всякой причины, здорово живешь. Приказчики ловят Гараську и бьют, – толпа хохочет, рекомендуя поддать жару. Самого Баргамота Гараська ругал так фантастически реально, что тот, не понимая даже всей соли Гараськиных острот, чувствовал, что он обижен более, чем если бы его выпороли.

Чем промышлял Гараська, оставалось для пушкарей одной из тайн, которыми было облечено все его существование. Трезвым его не видел никто, даже та нянька, которая в детстве ушибает ребят, после чего от них слышится спиртный запах, – от Гараськи и до ушиба несло сивухой. Жил, то есть ночевал, Гараська по огородам, по берегу, под кусточками. Зимой куда-то исчезал,

с первым дыханием весны появлялся. Что его привлекало на Пушкарную, где его не бил только ленивый, – было опять-таки тайной бездонной Гараськиной души, но выжить его ничем не могли. Предполагали, и не без основания, что Гараська поворовывает, но поймать его не могли и били лишь на основании косвенных улик.

На этот раз Гараське пришлось, видимо, преодолеть нелегкий путь. Отрепья, делавшие вид, что они серьезно прикрывают его тощее тело, были все в грязи, еще не успевшей засохнуть. Физиономия Гараськи, с большим отвислым красным носом, бесспорно служившим одной из причин его неустойчивости, покрытая жиденькой и неравномерно распределенной растительностью, хранила на себе вещественные знаки вещественных отношений к алкоголю и кулаку ближнего. На щеке у самого глаза виднелась царапина, видимо, недавнего происхождения.

Гараське удалось наконец расстаться с столбом, когда он заметил величественно-безмолвную фигуру Баргамота. Гараська обрадовался.

– Наше вам! Баргамоту Баргамотычу! Как ваше драгоценное здоровье? – Галантно он сделал ручкой, но, пошатнувшись, на всякий случай уперся спиной в столб.

– Куда идешь? – мрачно прогудел Баргамот.

– Наша дорога прямая…

– Воровать? А в часть хочешь? Сейчас, подлеца, отправлю.

– Не можете.

Гараська хотел сделать жест, выражающий удальство, но благоразумно удержался, плюнул и пошаркал на одном месте ногой, делая вид, что растирает плевок.

– А вот в участке поговоришь! Марш! – Мощная длань Баргамота устремилась к засаленному вороту Гараськи, настолько засаленному и рваному, что Баргамот был, очевидно, уже не первым руководителем Гараськи на тернистом пути добродетели.

Встряхнув слегка пьяницу и придав его телу надлежащее направление и некоторую устойчивость, Баргамот потащил его к вышеуказанной им цели, совершенно уподобляясь могучему буксиру, влекущему за собою легонькую шкуну, потерпевшую аварию у самого входа в гавань. Он чувствовал себя глубоко обиженным: вместо заслуженного отдыха тащись с этим пьянчужкой в участок. Эх! У Баргамота чесались руки, но сознание того, что в такой великий день как будто неудобно пускать их в ход, сдерживало его. Гараська шагал бодро, совмещая удивительным образом самоуверенность и даже

дерзость с кротостью. У него, очевидно, была своя мысль, к которой он и начал подходить сократовским методом:

– А скажи, господин городовой, какой нынче у нас день?

– Уж молчал бы! – презрительно ответил Баргамот. – До свету нализался.

– А у Михаила-архангела звонили?

– Звонили. Тебе-то что?

– Христос, значит, воскрес?

– Ну, воскрес.

– Так позвольте… – Гараська, ведший этот разговор вполоборота к Баргамоту, решительно повернулся к нему лицом.

Баргамот, заинтригованный странными вопросами Гараськи, машинально выпустил из руки засаленный ворот; Гараська, утратив точку опоры, пошатнулся и упал, не успев показать Баргамоту предмета, только что вынутого им из кармана. Приподнявшись одним туловищем, опираясь на руки, Гараська посмотрел вниз, – потом упал лицом на землю и завыл, как бабы воют по покойнике.

Гараська воет! Баргамот изумился. «Новую шутку, должно быть, выдумал», – решил он, но все же заинтересовался, что будет дальше. Дальше Гараська продолжал выть без слов, по-собачьи.

– Что ты, очумел, что ли? – ткнул его ногой Баргамот.

Воет. Баргамот в раздумье.

– Да чего тебя расхватывает?

– Яи-ч-ко…

Гараська, продолжая выть, но уже потише, сел и поднял руку кверху. Рука была покрыта какой-то слизью, к которой пристали кусочки крашеной яичной скорлупы. Баргамот, продолжая недоумевать, начинает чувствовать, что случилось что-то нехорошее.

– Я… по-благородному… похристосоваться… яичко, а ты… – бессвязно бурлил Гараська, но Баргамот понял. Вот к чему, стало быть, вел Гараська: похристосоваться хотел, по христианскому обычаю, яичком, а он, Баргамот, его в участок пожелал отправить. Может, откуда он это яичко нес, а теперь вон разбил его. И плачет.

Баргамоту представилось, что мраморное яичко, которое он бережет для Ванюшки, разбилось, и как это ему, Баргамоту, было жаль.

– Экая оказия, – мотал головой Баргамот, глядя на валявшегося пьянчужку и чувствуя, что жалок ему этот человек, как брат родной, кровно своим же братом обиженный.

– Похристосоваться хотел… Тоже душа живая, – бормотал городовой, стараясь со всею неуклюжестью отдать себе ясный

отчет в положении дел и в том сложном чувстве стыда и жалости, которое все более угнетало его. – А я, тово… в участок. Ишь ты!

Тяжело крякнув и стукнув своей «селедкой» по камню, Баргамот присел на корточки около Гараськи.

– Ну… – смущенно гудел он. – Может, оно не разбилось?

– Да, не разбилось, ты и морду-то всю готов разбить. Ирод!

– А ты чего же?

– Чего? – передразнил Гараська. – К нему по-благородному, а он в… в участок. Может, яичко-то у меня последнее? Идол!

Баргамот пыхтел. Его нисколько не оскорбляли ругательства Гараськи; всем своим нескладным нутром он ощущал не то жалость, не то совесть. Где-то, в самых отдаленных недрах его дюжего тела, что-то назойливо сверлило и мучило.

– Да разве вас можно не бить? – спросил Баргамот не то себя, не то Гараську.

– Да ты, чучело огородное, пойми…

Гараська, видимо, входил в обычную колею. В его несколько прояснившем мозгу вырисовывалась целая перспектива самых соблазнительных ругательств и обидных прозвищ, когда сосредоточенно сопевший Баргамот голосом, не оставлявшим ни малейшего сомнения в твердости принятого им решения, заявил:

– Пойдем ко мне разговляться.

– Так я к тебе, пузатому черту, и пошел!

– Пойдем, говорю!

Изумлению Гараськи не было границ. Совершенно пассивно позволив себя поднять, он шел, ведомый под руку Баргамотом, шел – и куда же? – не в участок, а в дом к самому Баргамоту, чтобы там еще… разговляться! В голове Гараськи блеснула соблазнительная мысль – навострить от Баргамота лыжи, но хоть голова его и прояснела от необычности положения, зато лыжи находились в самом дурном состоянии, как бы поклявшись вечно цепляться друг за друга и не давать друг другу ходу. Да и Баргамот был так чуден, что Гараське, собственно говоря, и не хотелось уходить. С трудом ворочая языком, приискивая слова и путаясь, Баргамот то излагал ему инструкцию для городовых, то снова возвращался к основному вопросу о битье и участке, разрешая его в смысле положительном, но в то же время и отрицательном.

– Верно говорите, Иван Акиндиныч, нельзя нас не бить, – поддерживал Гараська, чувствуя даже какую-то неловкость: уж больно чуден был Баргамот!

– Да нет, не то я говорю… – мямлил Баргамот, еще менее, очевидно, чем Гараська, понимавший, что городит его суконный

язык…

Пришли наконец домой, – и Гараська уже перестал изумляться. Марья сперва вытаращила глаза при виде необычайной пары, но по растерянному лицу мужа догадалась, что противоречить не нужно, а по своему женскому мягкосердечию живо смекнула, что надо делать.

Вот ошалевший и притихший Гараська сидит за убранным столом. Ему так совестно, что хоть сквозь землю провалиться. Совестно своих отрепий, совестно своих грязных рук, совестно всего себя, оборванного, пьяного, скверного. Обжигаясь, ест он дьявольски горячие, заплывшие жиром щи, проливает на скатерть и, хотя хозяйка деликатно делает вид, что не замечает этого, конфузится и больше проливает. Так невыносимо дрожат эти заскорузлые пальцы с большими грязными ногтями, которые впервые заметил у себя Гараська.

– Иван Акиндиныч, а что же ты Ванятке-то… сюрпризец? – спрашивает Марья.

– Не надо, потом, – отвечает торопливо Баргамот. Он обжигается щами, дует на ложку и солидно обтирает усы, – но сквозь эту солидность сквозит то же изумление, что и у Гараськи.

– Кушайте, кушайте, – потчует Марья. – Герасим… как звать вас по батюшке?

– Андреич.

– Кушайте, Герасим Андреич.

Гараська старается проглотить, давится и, бросив ложку, падает головой на стол прямо на сальное пятно, только что им произведенное. Из груди его вырывается снова тот жалобный и грубый вой, который так смутил Баргамота. Детишки, уже переставшие было обращать внимание на гостя, бросают свои ложки и дискантом присоединяются к его тенору. Баргамот с растерянною и жалкою миной смотрит на жену.

– Ну, чего вы, Герасим Андреич! Перестаньте, – успокаивает та беспокойного гостя.

– По отчеству… Как родился, никто по отчеству… не называл…

Кусака

I

Она никому не принадлежала; у нее не было собственного имени, и никто не мог бы сказать, где находилась она во всю

долгую морозную зиму и чем кормилась. От теплых изб ее отгоняли дворовые собаки, такие же голодные, как и она, но гордые и сильные своею принадлежностью к дому; когда, гонимая голодом или инстинктивною потребностью в общении, она показывалась на улице, – ребята бросали в нее камнями и палками, взрослые весело улюлюкали и страшно, пронзительно свистали. Не помня себя от страху, переметываясь со стороны на сторону, натыкаясь на загорожи и людей, она мчалась на край поселка и пряталась в глубине большого сада, в одном ей известном месте. Там она зализывала ушибы и раны и в одиночестве копила страх и злобу.

Только один раз ее пожалели и приласкали. Это был пропойца-мужик, возвращавшийся из кабака. Он всех любил и всех жалел и что-то говорил себе под нос о добрых людях и своих надеждах на добрых людей; пожалел он и собаку, грязную и некрасивую, на которую случайно упал его пьяный и бесцельный взгляд.

– Жучка! – позвал он ее именем, общим всем собакам. – Жучка! Пойди сюда, не бойся!

Жучке очень хотелось подойти; она виляла хвостом, но не решалась. Мужик похлопал себя рукой по коленке и убедительно повторил:

– Да пойди, дура! Ей-Богу, не трону!

Но, пока собака колебалась, все яростнее размахивая хвостом и маленькими шажками подвигаясь вперед, настроение пьяного человека изменилось. Он вспомнил все обиды, нанесенные ему добрыми людьми, почувствовал скуку и тупую злобу и, когда Жучка легла перед ним на спину, с размаху ткнул ее в бок носком тяжелого сапога.

– У-у, мразь! Тоже лезет!

Собака завизжала, больше от неожиданности и обиды, чем от боли, а мужик, шатаясь, побрел домой, где долго и больно бил жену и на кусочки изорвал новый платок, который на прошлой неделе купил ей в подарок.

С тех пор собака не доверяла людям, которые хотели ее приласкать, и, поджав хвост, убегала, а иногда со злобою набрасывалась на них и пыталась укусить, пока камнями и палкой не удавалось отогнать ее. На одну зиму она поселилась под террасой пустой дачи, у которой не было сторожа, и бескорыстно сторожила ее: выбегала по ночам на дорогу и лаяла до хрипоты. Уже улегшись на свое место, она все еще злобно ворчала, но сквозь злобу проглядывало некоторое довольство собой и даже гордость.

Зимняя ночь тянулась долго-долго, и черные окна пустой

дачи угрюмо глядели на обледеневший неподвижный сад. Иногда в них как будто вспыхивал голубоватый огонек: то отражалась на стекле упавшая звезда, или остророгий месяц посылал свой робкий луч.

II

Наступила весна, и тихая дача огласилась громким говором, скрипом колес и грязным топотом людей, переносящих тяжести. Приехали из города дачники, целая веселая ватага взрослых, подростков и детей, опьяненных воздухом, теплом и светом; кто-то кричал, кто-то пел, смеялся высоким женским голосом.

Первой, с кем познакомилась собака, была хорошенькая девушка в коричневом форменном платье, выбежавшая в сад. Жадно и нетерпеливо, желая охватить и сжать в своих объятиях все видимое, она посмотрела на ясное небо, на красноватые сучья вишен и быстро легла на траву, лицом к горячему солнцу. Потом так же внезапно вскочила и, обняв себя руками, целуя свежими устами весенний воздух, выразительно и серьезно сказала:

– Вот весело-то!

Сказала и быстро закружилась. И в ту же минуту беззвучно подкравшаяся собака яростно вцепилась зубами в раздувавшийся подол платья, рванула и так же беззвучно скрылась в густых кустах крыжовника и смородины.

– Ай, злая собака! – убегая, крикнула девушка, и долго еще слышался ее взволнованный голос: – Мама, дети! Не ходите в сад: там собака! Огромная!.. Злюу-щая!..

Ночью собака подкралась к заснувшей даче и бесшумно улеглась на свое место под террасой. Пахло людьми, и в открытые окна приносились тихие звуки короткого дыхания. Люди спали, были беспомощны и не страшны, и собака ревниво сторожила их: спала одним глазом и при каждом шорохе вытягивала голову с двумя неподвижными огоньками фосфорически светящихся глаз. А тревожных звуков было много в чуткой весенней ночи: в траве шуршало что-то невидимое, маленькое и подбиралось к самому лоснящемуся носу собаки; хрустела прошлогодняя ветка под заснувшей птицей, и на близком шоссе грохотала телега и скрипели нагруженные возы. И далеко окрест в неподвижном воздухе расстилался запах душистого, свежего дегтя и манил в светлеющую даль.

Приехавшие дачники были очень добрыми людьми, а то, что они были далеко от города, дышали хорошим воздухом, видели вокруг себя все зеленым, голубым и беззлобным, делало

их еще добрее. Теплом входило в них солнце и выходило смехом и расположением ко всему живущему. Сперва они хотели прогнать напугавшую их собаку и даже застрелить ее из револьвера, если не уберется; но потом привыкли к лаю по ночам и иногда по утрам вспоминали:

– А где же наша Кусака?

И это новое имя «Кусака» так и осталось за ней. Случалось, что и днем замечали в кустах темное тело, бесследно пропадавшее при первом движении руки, бросавшей хлеб, – словно это был не хлеб, а камень, – и скоро все привыкли к Кусаке, называли ее «своей» собакой и шутили по поводу ее дикости и беспричинного страха. С каждым днем Кусака на один шаг уменьшала пространство, отделявшее ее от людей; присмотрелась к их лицам и усвоила их привычки: за полчаса до обеда уже стояла в кустах и ласково помаргивала. И та же гимназисточка Леля, забывшая обиду, окончательно ввела ее в счастливый круг отдыхающих и веселящихся людей.

– Кусачка, пойди ко мне! – звала она к себе. – Ну, хорошая, ну, милая, пойди! Сахару хочешь?.. Сахару тебе дам, хочешь? Ну, пойди же!

Но Кусака не шла: боялась. И осторожно, похлопывая себя руками и говоря так ласково, как это можно было при красивом голосе и красивом лице, Леля подвигалась к собаке и сама боялась: вдруг укусит.

– Я тебя люблю, Кусачка, я тебя очень люблю. У тебя такой хорошенький носик и такие выразительные глазки. Ты не веришь мне, Кусачка?

Брови Лели поднялись, и у самой у нее был такой хорошенький носик и такие выразительные глаза, что солнце поступило умно, расцеловав горячо, до красноты щек, все ее молоденькое, наивно-прелестное личико.

И Кусачка второй раз в своей жизни перевернулась на спину и закрыла глаза, не зная наверно, ударят ее или приласкают. Но ее приласкали. Маленькая, теплая рука прикоснулась нерешительно к шершавой голове и, словно это было знаком неотразимой власти, свободно и смело забегала по всему шерстистому телу, тормоша, лаская и щекоча.

– Мама, дети! Глядите: я ласкаю Кусаку! – закричала Леля.

Когда прибежали дети, шумные, звонкоголосые, быстрые и светлые, как капельки разбежавшейся ртути, Кусака замерла от страха и беспомощного ожидания: она знала, что, если теперь кто-нибудь ударит ее, она уже не в силах будет впиться в тело обидчика своими острыми зубами: у нее отняли ее непримиримую злобу. И когда все наперерыв стали ласкать ее,

она долго еще вздрагивала при каждом прикосновении ласкающей руки, и ей больно было от непривычной ласки, словно от удара.

III

Всею своею собачьей душою расцвела Кусака. У нее было имя, на которое она стремглав неслась из зеленой глубины сада; она принадлежала людям и могла им служить. Разве недостаточно этого для счастья собаки?

С привычкою к умеренности, создавшеюся годами бродячей, голодной жизни, она ела очень мало, но и это малое изменило ее до неузнаваемости: длинная шерсть, прежде висевшая рыжими, сухими космами и на брюхе вечно покрытая засохшею грязью, очистилась, почернела и стала лосниться, как атлас. И когда она от нечего делать выбегала к воротам, становилась у порога и важно осматривала улицу вверх и вниз, никому уже не приходило в голову дразнить ее или бросить камнем.

Но такою гордою и независимою она бывала только наедине. Страх не совсем еще выпарился огнем ласк из ее сердца, и всякий раз при виде людей, при их приближении, она терялась и ждала побоев. И долго еще всякая ласка казалась ей неожиданностью, чудом, которого она не могла понять и на которое она не могла ответить. Она не умела ласкаться. Другие собаки умеют становиться на задние лапки, тереться у ног и даже улыбаться, и тем выражают свои чувства, но она не умела.

Единственное, что могла Кусака, это упасть на спину, закрыть глаза и слегка завизжать. Но этого было мало, это не могло выразить ее восторга, благодарности и любви, – и с внезапным наитием Кусака начала делать то, что, быть может, когда-нибудь она видела у других собак, но уже давно забыла. Она нелепо кувыркалась, неуклюже прыгала и вертелась вокруг самой себя, и ее тело, бывшее всегда таким гибким и ловким, становилось неповоротливым, смешным и жалким.

– Мама, дети! Смотрите, Кусака играет! – кричала Леля и, задыхаясь от смеха, просила: – Еще, Кусачка, еще! Вот так! Вот так…

И все собирались и хохотали, а Кусака вертелась, кувыркалась и падала, и никто не видел в ее глазах странной мольбы. И как прежде на собаку кричали и улюлюкали, чтобы видеть ее отчаянный страх, так теперь нарочно ласкали ее, чтобы вызвать в ней прилив любви, бесконечно смешной в своих неуклюжих и нелепых проявлениях. Не проходило часа, чтобы

кто-нибудь из подростков или детей не кричал:

– Кусачка, милая Кусачка, поиграй!

И Кусачка вертелась, кувыркалась и падала при несмолкаемом веселом хохоте. Ее хвалили при ней и за глаза и жалели только об одном, что при посторонних людях, приходивших в гости, она не хочет показать своих штук и убегает в сад или прячется под террасой.

Постепенно Кусака привыкла к тому, что о пище не нужно заботиться, так как в определенный час кухарка даст ей помоев и костей, уверенно и спокойно ложилась на свое место под террасой и уже искала и просила ласк. И отяжелела она: редко бегала с дачи, и когда маленькие дети звали ее с собою в лес, уклончиво виляла хвостом и незаметно исчезала. Но по ночам все так же громок и бдителен был ее сторожевой лай.

IV

Желтыми огнями загорелась осень, частыми дождями заплакало небо, и быстро стали пустеть дачи и умолкать, как будто непрерывный дождь и ветер гасили их, точно свечи, одну за другой.

– Как же нам быть с Кусакой? – в раздумье спрашивала Леля.

Она сидела, охватив руками колени, и печально глядела в окно, по которому скатывались блестящие капли начавшегося дождя.

– Что у тебя за поза, Леля! Ну кто так сидит? – сказала мать и добавила: – А Кусаку придется оставить. Бог с ней!

– Жа-а-лко, – протянула Леля.

– Ну что поделаешь? Двора у нас нет, а в комнатах ее держать нельзя, ты сама понимаешь.

– Жа-а-лко, – повторила Леля, готовая заплакать.

Уже приподнялись, как крылья ласточки, ее темные брови и жалко сморщился хорошенький носик, когда мать сказала:

– Догаевы давно уже предлагали мне щеночка. Говорят, очень породистый и уже служит. Ты слышишь меня? А эта что – дворняжка!

– Жа-а-лко, – повторила Леля, но не заплакала.

Снова пришли незнакомые люди, и заскрипели возы, и застонали под тяжелыми шагами половицы, но меньше было говора и совсем не слышно было смеха. Напуганная чужими людьми, смутно предчувствуя беду, Кусака убежала на край сада и оттуда, сквозь поредевшие кусты, неотступно глядела

на видимый ей уголок террасы и на сновавшие по нем фигуры в красных рубахах.

– Ты здесь, моя бедная Кусачка, – сказала вышедшая Леля. Она уже была одета по-дорожному – в то коричневое платье, кусок от которого оторвала Кусака, и черную кофточку. – Пойдем со мной!

И они вышли на шоссе. Дождь то принимался идти, то утихал, и все пространство между почерневшею землей и небом было полно клубящимися, быстро идущими облаками. Снизу было видно, как тяжелы они и непроницаемы для света от насытившей их воды и как скучно солнцу за этою плотною стеной.

Налево от шоссе тянулось потемневшее жнивье, и только на бугристом и близком горизонте одинокими купами поднимались невысокие разрозненные деревья и кусты. Впереди, недалеко, была застава и возле нее трактир с железной красной крышей, а у трактира кучка людей дразнила деревенского дурачка Илюшу.

– Дайте копеечку, – гнусавил протяжно дурачок, и злые, насмешливые голоса наперебой отвечали ему:

– А дрова колоть хочешь?

И Илюша цинично и грязно ругался, а они без веселья хохотали.

Прорвался солнечный луч, желтый и анемичный, как будто солнце было неизлечимо больным; шире и печальнее стала туманная осенняя даль.

– Скучно, Кусака! – тихо проронила Леля и, не оглядываясь, пошла назад.

И только на вокзале она вспомнила, что не простилась с Кусакой.

V

Кусака долго металась по следам уехавших людей, добежала до станции и – промокшая, грязная – вернулась на дачу. Там она проделала еще одну новую штуку, которой никто, однако, не видал: первый раз взошла на террасу и, приподнявшись на задние лапы, заглянула в стеклянную дверь и даже поскребла когтями. Но в комнатах было пусто, и никто не ответил Кусаке.

Поднялся частый дождь, и отовсюду стал надвигаться мрак осенней длинной ночи. Быстро и глухо он заполнил пустую дачу; бесшумно выползал он из кустов и вместе с дождем лился с неприветного неба. На террасе, с которой была снята парусина,

отчего она казалась обширной и странно пустой, свет долго еще боролся с тьмою и печально озарял следы грязных ног, но скоро уступил и он.

Наступила ночь.

И когда уже не было сомнений, что она наступила, собака жалобно и громко завыла. Звенящей, острой, как отчаяние, нотой ворвался этот вой в монотонный, угрюмо покорный шум дождя, прорезал тьму и, замирая, понесся над темным и обнаженным полем.

Собака выла – ровно, настойчиво и безнадежно спокойно. И тому, кто слышал этот вой, казалось, что это стонет и рвется к свету сама беспросветно-темная ночь, и хотелось в тепло, к яркому огню, к любящему женскому сердцу.

Собака выла.

Максим Горький
(Алексей Максимович Пешков)
1868–1936

Песня о соколе

Море огромное, лениво вздыхающее у берега, – уснуло и неподвижно в дали, облитой голубым сиянием луны. Мягкое и серебристое, оно слилось там с синим южным небом и крепко спит, отражая в себе прозрачную ткань перистых облаков, неподвижных и не скрывающих собою золотых узоров звезд. Кажется, что небо все ниже наклоняется над морем, желая понять то, о чем шепчут неугомонные волны, сонно всползая на берег.

Горы, поросшие деревьями, уродливо изогнутыми норд-остом, резкими взмахами подняли свои вершины в синюю пустыню над ними, суровые контуры их округлились, одетые теплой и ласковой мглой южной ночи.

Горы важно задумчивы. С них на пышные зеленоватые гребни волн упали черные тени и одевают их, как бы желая остановить единственное движение, заглушить немолчный плеск воды и вздохи пены, – все звуки, которые нарушают тайную тишину, разлитую вокруг вместе с голубым серебром сияния луны, еще скрытой за горными вершинами.

– А-ала-ах-а-акбар!.. – тихо вздыхает Надыр-Рагим-оглы, старый крымский чабан, высокий, седой, сожженный южным солнцем, сухой и мудрый старик.

Мы с ним лежим на песке у громадного камня, оторвавшегося от родной горы, одетого тенью, поросшего мхом, – у камня печального, хмурого. На тот бок его, который обращен к морю, волны набросали тины, водорослей, и обвешанный ими камень кажется привязанным к узкой песчаной полоске, отделяющей море от гор.

Пламя нашего костра освещает его со стороны, обращенной к горе, оно вздрагивает, и по старому камню, изрезанному частой сетью глубоких трещин, бегают тени.

Мы с Рагимом варим уху из только что наловленной рыбы и оба находимся в том настроении, когда все кажется прозрачным, одухотворенным, позволяющим проникать в себя, когда на сердце так чисто, легко и нет иных желаний, кроме желания думать.

А море ластится к берегу, и волны звучат так ласково, точно просят пустить их погреться к костру. Иногда в общей гармонии

плеска слышится более повышенная и шаловливая нота – это одна из волн, посмелее, подползла ближе к нам.

Рагим лежит грудью на песке, головой к морю, и вдумчиво смотрит в мутную даль, опершись локтями и положив голову на ладони. Мохнатая баранья шапка съехала ему на затылок, с моря веет свежестью в его высокий лоб, весь в мелких морщинах. Он философствует, не справляясь, слушаю ли я его, точно он говорит с морем:

– Верный богу человек идет в рай. А который не служит богу и пророку? Может, он – вот в этой пене… И те серебряные пятна на воде, может, он же… кто знает?

Темное, могучее размахнувшееся море светлеет, местами на нем появляются небрежно брошенные блики луны. Она уже выплыла из-за мохнатых вершин гор и теперь задумчиво льет свой свет на море, тихо вздыхающее ей навстречу, на берег и камень, у которого мы лежим.

– Рагим!.. Расскажи сказку… – прошу я старика.

– Зачем? – спрашивает Рагим, не оборачиваясь ко мне.

– Так! Я люблю твои сказки.

– Я тебе все уж рассказал… Больше не знаю… – Это он хочет, чтобы я попросил его. Я прошу.

– Хочешь, я расскажу тебе песню? – соглашается Рагим.

Я хочу слышать старую песню, и унылым речитативом, стараясь сохранить своеобразную мелодию песни, он рассказывает.

I

«Высоко в горы вполз Уж и лег там в сыром ущелье, свернувшись в узел и глядя в море.

Высоко в небе сияло солнце, а горы зноем дышали в небо, и бились волны внизу о камень…

А по ущелью, во тьме и брызгах, поток стремился навстречу морю, гремя камнями…

Весь в белой пене, седой и сильный, он резал горы и падал в море, сердито воя.

Вдруг в то ущелье, где Уж свернулся, пал с неба Сокол с разбитой грудью, в крови на перьях…

С коротким криком он пал на землю и бился грудью в бессильном гневе о твердый камень…

Уж испугался, отполз проворно, но скоро понял, что жизни птицы две-три минуты…

Подполз он ближе к разбитой птице, и прошипел он ей прямо

в очи:

– Что, умираешь?

– Да, умираю! – ответил Сокол, вздохнув глубоко. – Я славно пожил!.. Я знаю счастье!.. Я храбро бился!.. Я видел небо… Ты не увидишь его так близко!.. Эх ты, бедняга!

– Ну что же – небо? – пустое место… Как мне там ползать? Мне здесь прекрасно… тепло и сыро!

Так Уж ответил свободной птице и усмехнулся в душе над нею за эти бредни.

И так подумал: «Летай иль ползай, конец известен: все в землю лягут, всё прахом будет…»

Но Сокол смелый вдруг встрепенулся, привстал немного и по ущелью повел очами.

Сквозь серый камень вода сочилась, и было душно в ущелье темном и пахло гнилью.

И крикнул Сокол с тоской и болью, собрав все силы:

– О, если б в небо хоть раз подняться!.. Врага прижал бы я… к ранам груди, и… захлебнулся б моей он кровью!.. О, счастье битвы!..

А Уж подумал: «Должно быть, в небе и в самом деле пожить приятно, коль он так стонет!..»

И предложил он свободной птице: «А ты подвинься на край ущелья и вниз бросайся. Быть может, крылья тебя поднимут и поживешь ты еще немного в твоей стихии».

И дрогнул Сокол и, гордо крикнув, пошел к обрыву, скользя когтями по слизи камня.

И подошел он, расправил крылья, вздохнул всей грудью, сверкнул очами и – вниз скатился.

И сам, как камень, скользя по скалам, он быстро падал, ломая крылья, теряя перья…

Волна потока его схватила и, кровь омывши, одела в пену, умчала в море.

А волны моря с печальным ревом о камень бились… И трупа птицы не видно было в морском пространстве…

II

В ущелье лежа, Уж долго думал о смерти птицы, о страсти к небу.

И вот взглянул он в ту даль, что вечно ласкает очи мечтой о счастье.

– А что он видел, умерший Сокол, в пустыне этой без дна и края? Зачем такие, как он, умерши, смущают душу своей

любовью к полетам в небо? Что им там ясно? А я ведь мог бы узнать все это, взлетевши в небо хоть ненадолго.

Сказал и – сделал. В кольцо свернувшись, он прянул в воздух и узкой лентой блеснул на солнце.

Рожденный ползать – летать не может!.. Забыв об этом, он пал на камни, но не убился, а рассмеялся…

– Так вот в чем прелесть полетов в небо! Она – в паденье!.. Смешные птицы! Земли не зная, на ней тоскуя, они стремятся высоко в небо и ищут жизни в пустыне знойной. Там только пусто. Там много света, но нет там пищи и нет опоры живому телу. Зачем же гордость? Зачем укоры? Затем, чтоб ею прикрыть безумство своих желаний и скрыть за ними свою негодность для дела жизни? Смешные птицы!.. Но не обманут теперь уж больше меня их речи! Я сам все знаю! Я – видел небо… Взлетал в него я, его измерил, познал паденье, но не разбился, а только крепче в себя я верю. Пусть те, что землю любить не могут, живут обманом. Я знаю правду. И их призывам я не поверю. Земли творенье – землей живу я.

И он свернулся в клубок на камне, гордясь собою.

Блестело море, все в ярком свете, и грозно волны о берег бились.

В их львином реве гремела песня о гордой птице, дрожали скалы от их ударов, дрожало небо от грозной песни:

Безумству храбрых поем мы славу!

Безумство храбрых – вот мудрость жизни! О смелый Сокол! В бою с врагами истек ты кровью… Но будет время – и капли крови твоей горячей, как искры, вспыхнут во мраке жизни и много смелых сердец зажгут безумной жаждой свободы, света!

Пускай ты умер!.. Но в песне смелых и сильных духом всегда ты будешь живым примером, призывом гордым к свободе, к свету!

Безумству храбрых поем мы песню!..»

…Молчит опаловая даль моря, певуче плещут волны на песок, и я молчу, глядя в даль моря. На воде все больше серебряных пятен от лунных лучей… Наш котелок тихо закипает.

Одна из волн игриво вскатывается на берег и, вызывающе шумя, ползет к голове Рагима.

– Куда идешь?.. Пшла! – машет на нее Рагим рукой, и она покорно скатывается обратно в море.

Мне нимало не смешна и не страшна выходка Рагима, одухотворяющего волны. Все кругом смотрит странно живо, мягко, ласково. Море так внушительно спокойно, и чувствуется, что в свежем дыхании его на горы, еще не остывшие от дневного зноя, скрыто много мощной, сдержанной силы. По темно-синему

небу золотым узором звезд написано нечто торжественное, чарующее душу, смущающее ум сладким ожиданием какого-то откровения.

Все дремлет, но дремлет напряженно чутко, и кажется, что вот в следующую секунду все встрепенется и зазвучит в стройной гармонии неизъяснимо сладких звуков. Эти звуки расскажут про тайны мира, разъяснят их уму, а потом погасят его, как призрачный огонек, и увлекут с собой душу высоко в темно-синюю бездну, откуда навстречу ей трепетные узоры звезд тоже зазвучат дивной музыкой откровения…

Старуха Изергиль

I

Я слышал эти рассказы под Аккерманом, в Бессарабии, на морском берегу.

Однажды вечером, кончив дневной сбор винограда, партия молдаван, с которой я работал, ушла на берег моря, а я и старуха Изергиль остались под густой тенью виноградных лоз и, лежа на земле, молчали, глядя, как тают в голубой мгле ночи силуэты тех людей, что пошли к морю.

Они шли, пели и смеялись; мужчины – бронзовые, с пышными, черными усами и густыми кудрями до плеч, в коротких куртках и широких шароварах; женщины и девушки – веселые, гибкие, с темно-синими глазами, тоже бронзовые. Их волосы, шелковые и черные, были распущены, ветер, теплый и легкий, играя ими, звякал монетами, вплетенными в них. Ветер тек широкой, ровной волной, но иногда он точно прыгал через что-то невидимое и, рождая сильный порыв, развевал волосы женщин в фантастические гривы, вздымавшиеся вокруг их голов. Это делало женщин странными и сказочными. Они уходили всё дальше от нас, а ночь и фантазия одевали их всё прекраснее.

Кто-то играл на скрипке… девушка пела мягким контральто, слышался смех…

Воздух был пропитан острым запахом моря и жирными испарениями земли, незадолго до вечера обильно смоченной дождем. Еще и теперь по небу бродили обрывки туч, пышные, странных очертаний и красок, тут – мягкие, как клубы дыма, сизые и пепельно-голубые, там – резкие, как обломки скал, матово-черные или коричневые. Между ними ласково блестели темно-голубые клочки неба, украшенные золотыми крапинками звезд. Всё это – звуки и запахи, тучи и люди – было странно

красиво и грустно, казалось началом чудной сказки. И всё как бы остановилось в своем росте, умирало; шум голосов гас, удаляясь, перерождался в печальные вздохи.

– Что ты не пошел с ними? – кивнув головой, спросила старуха Изергиль.

Время согнуло ее пополам, черные когда-то глаза были тусклы и слезились. Ее сухой голос звучал странно, он хрустел, точно старуха говорила костями.

– Не хочу, – ответил я ей.

– У!.. стариками родитесь вы, русские. Мрачные все, как демоны… Боятся тебя наши девушки… А ведь ты молодой и сильный…

Луна взошла. Ее диск был велик, кроваво-красен, она казалась вышедшей из недр этой степи, которая на своем веку так много поглотила человеческого мяса и выпила крови, отчего, наверное, и стала такой жирной и щедрой. На нас упали кружевные тени от листвы, я и старуха покрылись ими, как сетью. По степи, влево от нас, поплыли тени облаков, пропитанные голубым сиянием луны, они стали прозрачней и светлей.

– Смотри, вон идет Ларра!

Я смотрел, куда старуха указывала своей дрожащей рукой с кривыми пальцами, и видел: там плыли тени, их было много, и одна из них, темней и гуще, чем другие, плыла быстрей и ниже сестер, – она падала от клочка облака, которое плыло ближе к земле, чем другие, и скорее, чем они.

– Никого нет там! – сказал я.

– Ты слеп больше меня, старухи. Смотри – вон, темный, бежит степью!

Я посмотрел еще и снова не видел ничего, кроме тени.

– Это тень! Почему ты зовешь ее Ларра?

– Потому что это – он. Он уже стал теперь как тень, – пора! Он живет тысячи лет, солнце высушило его тело, кровь и кости, и ветер распылил их. Вот что может сделать бог с человеком за гордость!..

– Расскажи мне, как это было! – попросил я старуху, чувствуя впереди одну из славных сказок, сложенных в степях.

И она рассказала мне эту сказку.

«Многие тысячи лет прошли с той поры, когда случилось это. Далеко за морем, на восход солнца, есть страна большой реки, в той стране каждый древесный лист и стебель травы дает столько тени, сколько нужно человеку, чтобы укрыться в ней от солнца, жестоко жаркого там.

Вот какая щедрая земля в той стране!

Там жило могучее племя людей, они пасли стада и на охоту за зверями тратили свою силу и мужество, пировали после охоты, пели песни и играли с девушками.

Однажды, во время пира, одну из них, черноволосую и нежную, как ночь, унес орел, спустившись с неба. Стрелы, пущенные в него мужчинами, упали, жалкие, обратно на землю. Тогда пошли искать девушку, но – не нашли ее. И забыли о ней, как забывают обо всем на земле».

Старуха вздохнула и замолчала. Ее скрипучий голос звучал так, как будто это роптали все забытые века, воплотившись в ее груди тенями воспоминаний. Море тихо вторило началу одной из древних легенд, которые, может быть, создались на его берегах.

«Но через двадцать лет она сама пришла, измученная, иссохшая, а с нею был юноша, красивый и сильный, как сама она двадцать лет назад. И когда ее спросили, где была она, она рассказала, что орел унес ее в горы и жил с нею там, как с женой. Вот его сын, а отца нет уже; когда он стал слабеть, то поднялся, в последний раз, высоко в небо и, сложив крылья, тяжело упал оттуда на острые уступы горы, насмерть разбился о них…

Все смотрели с удивлением на сына орла и видели, что он ничем не лучше их, только глаза его были холодны и горды, как у царя птиц. И разговаривали с ним, а он отвечал, если хотел, или молчал, а когда пришли старейшие племени, он говорил с ними, как с равными себе. Это оскорбило их, и они, назвав его неоперенной стрелой с неотточенным наконечником, сказали ему, что их чтут, им повинуются тысячи таких, как он, и тысячи вдвое старше его. А он, смело глядя на них, отвечал, что таких, как он, нет больше; и если все чтут их – он не хочет делать этого. О!.. тогда уж совсем рассердились они. Рассердились и сказали:

– Ему нет места среди нас! Пусть идет, куда хочет.

Он засмеялся и пошел, куда захотелось ему, – к одной красивой девушке, которая пристально смотрела на него; пошел к ней и, подойдя, обнял ее. А она была дочь одного из старшин, осудивших его. И хотя он был красив, она оттолкнула его, потому что боялась отца. Она оттолкнула его да и пошла прочь, а он ударил ее и, когда она упала, встал ногой на ее грудь, так, что из ее уст кровь брызнула к небу, девушка, вздохнув, извилась змеей и умерла.

Всех, кто видел это, оковал страх, – впервые при них так убивали женщину. И долго все молчали, глядя на нее, лежавшую с открытыми глазами и окровавленным ртом, и на него, который

стоял один против всех, рядом с ней, и был горд, – не опустил своей головы, как бы вызывая на нее кару. Потом, когда одумались, то схватили его, связали и так оставили, находя, что убить сейчас же – слишком просто и не удовлетворит их».

Ночь росла и крепла, наполняясь странными тихими звуками. В степи печально посвистывали суслики, в листве винограда дрожал стеклянный стрекот кузнечиков, листва вздыхала и шепталась, полный диск луны, раньше кроваво-красный, бледнел, удаляясь от земли, бледнел и всё обильнее лил на степь голубоватую мглу…

«И вот они собрались, чтобы придумать казнь, достойную преступления… Хотели разорвать его лошадьми – и это казалось мало им; думали пустить в него всем по стреле, но отвергли и это; предлагали сжечь его, но дым костра не позволил бы видеть его мучений; предлагали много – и не находили ничего настолько хорошего, чтобы понравилось всем. А его мать стояла перед ними на коленях и молчала, не находя ни слез, ни слов, чтобы умолять о пощаде. Долго говорили они, и вот один мудрец сказал, подумав долго:

– Спросим его, почему он сделал это?

Спросили его об этом. Он сказал:

– Развяжите меня! Я не буду говорить связанный!

А когда развязали его, он спросил:

«– Что вам нужно? – спросил так, точно они были рабы…

– Ты слышал… – сказал мудрец.

– Зачем я буду объяснять вам мои поступки?

– Чтоб быть понятым нами. Ты, гордый, слушай! Все равно, ты умрешь ведь… Дай же нам понять то, что ты сделал. Мы остаемся жить, и нам полезно знать больше, чем мы знаем…

– Хорошо, я скажу, хотя я, может быть, сам неверно понимаю то, что случилось. Я убил ее потому, мне кажется, – что меня оттолкнула она… А мне было нужно ее.

– Но она не твоя! – сказали ему.

– Разве вы пользуетесь только своим? Я вижу, что каждый человек имеет только речь, руки и ноги… а владеет он животными, женщинами, землей… и многим еще…

Ему сказали на это, что за всё, что человек берет, он платит собой: своим умом и силой, иногда – жизнью. А он отвечал, что он хочет сохранить себя целым.

Долго говорили с ним и наконец увидели, что он считает себя первым на земле и, кроме себя, не видит ничего. Всем даже страшно стало, когда поняли, на какое одиночество он обрекал себя. У него не было ни племени, ни матери, ни скота, ни жены, и он не хотел ничего этого.

Когда люди увидали это, они снова принялись судить о том, как наказать его. Но теперь недолго они говорили, – тот, мудрый, не мешавший им судить, заговорил сам:

– Стойте! Наказание есть. Это страшное наказание; вы не выдумаете такого в тысячу лет! Наказание ему – в нем самом! Пустите его, пусть он будет свободен. Вот его наказание!

И тут произошло великое. Грянул гром с небес, – хотя на них не было туч. Это силы небесные подтверждали речь мудрого. Все поклонились и разошлись. А этот юноша, который теперь получил имя Ларра, что значит: отверженный, выкинутый вон, – юноша громко смеялся вслед людям, которые бросили его, смеялся, оставаясь один, свободный, как отец его. Но отец его – не был человеком… А этот – был человек. И вот он стал жить, вольный, как птица. Он приходил в племя и похищал скот, девушек – всё, что хотел. В него стреляли, но стрелы не могли пронзить его тела, закрытого невидимым покровом высшей кары. Он был ловок, хищен, силен, жесток и не встречался с людьми лицом к лицу. Только издали видели его. И долго он, одинокий, так вился около людей, долго – не один десяток годов. Но вот однажды он подошел близко к людям и, когда они бросились на него, не тронулся с места и ничем не показал, что будет защищаться. Тогда один из людей догадался и крикнул громко:

– Не троньте его! Он хочет умереть!

И все остановились, не желая облегчить участь того, кто делал им зло, не желая убивать его. Остановились и смеялись над ним. А он дрожал, слыша этот смех, и всё искал чего-то на своей груди, хватаясь за нее руками. И вдруг он бросился на людей, подняв камень. Но они, уклоняясь от его ударов, не нанесли ему ни одного, и когда он, утомленный, с тоскливым криком упал на землю, то отошли в сторону и наблюдали за ним. Вот он встал и, подняв потерянный кем-то в борьбе с ним нож, ударил им себя в грудь. Но сломался нож – точно в камень ударили им. И снова он упал на землю и долго бился головой об нее. Но земля отстранялась от него, углубляясь от ударов его головы.

– Он не может умереть! – с радостью сказали люди.

И ушли, оставив его. Он лежал кверху лицом и видел – высоко в небе черными точками плавали могучие орлы. В его глазах было столько тоски, что можно было бы отравить ею всех людей мира. Так, с той поры остался он один, свободный, ожидая смерти. И вот он ходит, ходит повсюду… Видишь, он стал уже как тень и таким будет вечно! Он не понимает ни речи людей, ни их поступков – ничего. И всё ищет, ходит, ходит… Ему нет жизни, и смерть не улыбается ему. И нет ему места среди

людей… Вот как был поражен человек за гордость!»

Старуха вздохнула, замолчала, и ее голова, опустившись на грудь, несколько раз странно качнулась.

Я посмотрел на нее. Старуху одолевал сон, показалось мне, и стало почему-то страшно жалко ее. Конец рассказа она вела таким возвышенным, угрожающим тоном, а все-таки в этом тоне звучала боязливая, рабская нота.

На берегу запели, – странно запели. Сначала раздался контральто, – он пропел две-три ноты, и раздался другой голос, начавший песню сначала, а первый всё лился впереди его… – третий, четвертый, пятый вступили в песню в том же порядке. И вдруг ту же песню, опять-таки сначала, запел хор мужских голосов.

Каждый голос женщин звучал совершенно отдельно, все они казались разноцветными ручьями и, точно скатываясь откуда-то сверху по уступам, прыгая и звеня, вливаясь в густую волну мужских голосов, плавно лившуюся кверху, тонули в ней, вырывались из нее, заглушали ее и снова один за другим взвивались, чистые и сильные, высоко вверх.

Шума волн не слышно было за голосами…

II

– Слышал ли ты, чтоб где-нибудь еще так пели? – спросила Изергиль, поднимая голову и улыбаясь беззубым ртом.

– Не слыхал. Никогда не слыхал…

– И не услышишь. Мы любим петь. Только красавцы могут хорошо петь, – красавцы, которые любят жить. Мы любим жить. Смотри-ка, разве не устали за день те, которые поют там? С восхода по закат работали, взошла луна, и уже – поют! Те, которые не умеют жить, легли бы спать. Те, которым жизнь мила, вот – поют.

– Но здоровье… – начал было я.

– Здоровья всегда хватит на жизнь. Здоровье! Разве ты, имея деньги, не тратил бы их? Здоровье – то же золото. Знаешь ты, что я делала, когда была молодой? Я ткала ковры с восхода по закат, не вставая почти. Я, как солнечный луч, живая была и вот должна была сидеть неподвижно, точно камень. И сидела до того, что, бывало, все кости у меня трещат. А как придет ночь, я бежала к тому, кого любила, целоваться с ним. И так я бегала три месяца, пока была любовь; все ночи этого времени бывала у него. И вот до какой поры дожила – хватило крови! А сколько любила! Сколько поцелуев взяла и дала!..

Я посмотрел ей в лицо. Ее черные глаза были все-таки тусклы, их не оживило воспоминание. Луна освещала ее сухие, потрескавшиеся губы, заостренный подбородок с седыми волосами на нем и сморщенный нос, загнутый, словно клюв совы. На месте щек были черные ямы, и в одной из них лежала прядь пепельно-седых волос, выбившихся из-под красной тряпки, которою была обмотана ее голова. Кожа на лице, шее и руках вся изрезана морщинами, и при каждом движении старой Изергиль можно было ждать, что сухая эта кожа разорвется вся, развалится кусками и предо мной встанет голый скелет с тусклыми черными глазами.

Она снова начала рассказывать своим хрустящим голосом:

– Я жила с матерью под Фальчи, на самом берегу Бырлада; и мне было пятнадцать лет, когда он явился к нашему хутору. Был он такой высокий, гибкий, черноусый, веселый. Сидит в лодке и так звонко кричит он нам в окна: «Эй, нет ли у вас вина… и поесть мне?» Я посмотрела в окно сквозь ветви ясеней и вижу: река вся голубая от луны, а он, в белой рубахе и в широком кушаке с распущенными на боку концами, стоит одной ногой в лодке, а другой на берегу. И покачивается, и что-то поет. Увидал меня, говорит: «Вот какая красавица живет тут!.. А я и не знал про это!» Точно он уж знал всех красавиц до меня! Я дала ему вина и вареной свинины… А через четыре дня дала уже и всю себя… Мы всё катались с ним в лодке по ночам. Он приедет и посвистит тихо, как суслик, а я выпрыгну, как рыба, в окно на реку. И едем… Он был рыбаком с Прута, и потом, когда мать узнала про всё и побила меня, уговаривал всё меня уйти с ним в Добруджу и дальше, в дунайские гирла. Но мне уж не нравился он тогда – только поет да целуется, ничего больше! Скучно это было уже. В то время гуцулы шайкой ходили по тем местам, и у них были любезные тут… Так вот тем – весело было. Иная ждет, ждет своего карпатского молодца, думает, что он уже в тюрьме или убит где-нибудь в драке, – и вдруг он один, а то с двумя-тремя товарищами, как с неба, упадет к ней. Подарки подносил богатые – легко же ведь доставалось всё им! И пирует у нее, и хвалится ею перед своими товарищами. А ей любо это. Я и попросила одну подругу, у которой был гуцул, показать мне их… Как ее звали? Забыла как… Всё стала забывать теперь. Много времени прошло с той поры, всё забудешь! Она меня познакомила с молодцом. Был хорош… Рыжий был, весь рыжий – и усы, и кудри! Огненная голова. И был он такой печальный, иногда ласковый, а иногда, как зверь, ревел и дрался. Раз ударил меня в лицо… А я, как кошка, вскочила ему на грудь да и впилась зубами в щеку… С той поры у него на щеке стала ямка, и он

любил, когда я целовала ее…

– А рыбак куда девался? – спросил я.

– Рыбак? А он… тут… Он пристал к ним, к гуцулам. Сначала всё уговаривал меня и грозил бросить в воду, а потом – ничего, пристал к ним и другую завел… Их обоих и повесили вместе – и рыбака, и этого гуцула. Я ходила смотреть, как их вешали. В Добрудже это было. Рыбак шел на казнь бледный и плакал, а гуцул трубку курил. Идет себе и курит, руки в карманах, один ус на плече лежит, а другой на грудь свесился. Увидал меня, вынул трубку и кричит: «Прощай!..» Я целый год жалела его. Эх!.. Это уж тогда с ними было, как они хотели уйти в Карпаты к себе. На прощанье пошли к одному румыну в гости, там их и поймали. Двоих только, а нескольких убили, а остальные ушли… Все-таки румыну заплатили после… Хутор сожгли и мельницу, и хлеб весь. Нищим стал.

– Это ты сделала? – наудачу спросил я.

– Много было друзей у гуцулов, не одна я… Кто был их лучшим другом, тот и справил им поминки…

Песня на берегу моря уже умолкла, и старухе вторил теперь только шум морских волн, – задумчивый, мятежный шум был славной второй рассказу о мятежной жизни. Всё мягче становилась ночь, и всё больше разрождалось в ней голубого сияния луны, а неопределенные звуки хлопотливой жизни ее невидимых обитателей становились тише, заглушаемые возраставшим шорохом волн… ибо усиливался ветер.

– А то еще турка любила я. В гареме у него была, в Скутари. Целую неделю жила, – ничего… Но скучно стало… – всё женщины, женщины… Восемь было их у него… Целый день едят, спят и болтают глупые речи… Или ругаются, квохчут, как курицы… Он был уж немолодой, этот турок. Седой почти и такой важный, богатый. Говорил – как владыка… Глаза были черные… Прямые глаза… Смотрят прямо в душу. Очень он любил молиться. Я его в Букурешти увидала… Ходит по рынку, как царь, и смотрит так важно, важно. Я ему улыбнулась. В тот же вечер меня схватили на улице и привезли к нему. Он сандал и пальму продавал, а в Букурешти приехал купить что-то. «Едешь ко мне?» – говорит. «О да, поеду!» – «Хорошо!» И я поехала. Богатый он был, этот турок. И сын у него уже был – черненький мальчик, гибкий такой… Ему лет шестнадцать было. С ним я и убежала от турка… Убежала в Болгарию, в Лом-Паланку… Там меня одна болгарка ножом ударила в грудь за жениха или за мужа своего – уже не помню.

Хворала я долго в монастыре одном. Женский монастырь. Ухаживала за мной одна девушка, полька… и к ней из монастыря

другого – около Арцер-Паланки, помню, – ходил брат, тоже монашек… Такой… как червяк, всё извивался предо мной… И когда я выздоровела, то ушла с ним… в Польшу его.

– Погоди! А где маленький турок?

– Мальчик? Он умер, мальчик. От тоски по дому или от любви… но стал сохнуть он, так, как неокрепшее деревцо, которому слишком много перепало солнца… так и сох всё… Помню, лежит, весь уже прозрачный и голубоватый, как льдинка, а всё еще в нем горит любовь… И всё просит наклониться и поцеловать его… Я любила его и, помню, много целовала. Потом уж он совсем стал плох – не двигался почти. Лежит и так жалобно, как нищий милостыни, просит меня лечь с ним рядом и греть его. Я ложилась. Ляжешь с ним… он сразу загорится весь. Однажды я проснулась, а он уж холодный… мертвый… Я плакала над ним. Кто скажет? Может, ведь это я и убила его. Вдвое старше его я была тогда уж. И была такая сильная, сочная… а он – что же?.. Мальчик!..

Она вздохнула и – первый раз я видел это у нее – перекрестилась трижды, шепча что-то сухими губами.

– Ну, отправилась ты в Польшу… – подсказал я ей.

– Да… с тем, маленьким полячком. Он был смешной и подлый. Когда ему нужна была женщина, он ластился ко мне котом и с его языка горячий мед тек, а когда он меня не хотел, то щелкал меня словами, как кнутом. Раз как-то шли мы по берегу реки, и вот он сказал мне гордое, обидное слово. О! О!.. Я рассердилась! Я закипела, как смола! Я взяла его на руки и, как ребенка, – он был маленький, – подняла вверх, сдавив ему бока так, что он посинел весь. И вот я размахнулась и бросила его с берега в реку. Он кричал. Смешно так кричал. Я смотрела на него сверху, а он барахтался там, в воде. Я ушла тогда. И больше не встречалась с ним. Я была счастлива на это: никогда не встречалась после с теми, которых когда-то любила. Это нехорошие встречи, всё равно как бы с покойниками.

Старуха замолчала, вздыхая. Я представлял себе воскрешаемых ею людей. Вот огненно-рыжий, усатый гуцул идет умирать, спокойно покуривая трубку. У него, наверное, были холодные, голубые глаза, которые на всё смотрели сосредоточенно и твердо. Вот рядом с ним черноусый рыбак с Прута; плачет, не желая умирать, и на его лице, бледном от предсмертной тоски, потускнели веселые глаза, и усы, смоченные слезами, печально обвисли по углам искривленного рта. Вот он, старый, важный турок, наверное, фаталист и деспот, и рядом с ним его сын, бледный и хрупкий цветок востока, отравленный поцелуями. А вот тщеславный поляк, галантный

и жестокий, красноречивый и холодный… И все они – только бледные тени, а та, которую они целовали, сидит рядом со мной живая, но иссушенная временем, без тела, без крови, с сердцем без желаний, с глазами без огня, – тоже почти тень.

Она продолжала:

– В Польше стало трудно мне. Там живут холодные и лживые люди. Я не знала их змеиного языка. Всё шипят… Что шипят? Это бог дал им такой змеиный язык за то, что они лживы. Шла я тогда, не зная куда, и видела, как они собирались бунтовать с вами, русскими. Дошла до города Бохнии. Жид один купил меня; не для себя купил, а чтобы торговать мною. Я согласилась на это. Чтобы жить – надо уметь что-нибудь делать. Я ничего не умела и за это платила собой. Но я подумала тогда, что ведь, если я достану немного денег, чтобы воротиться к себе на Бырлад, я порву цепи, как бы они крепки ни были. И жила я там. Ходили ко мне богатые паны и пировали у меня. Это им дорого стоило. Дрались из-за меня они, разорялись. Один добивался меня долго и раз вот что сделал: пришел, а слуга за ним идет с мешком. Вот пан взял в руки тот мешок и опрокинул его над моей головой. Золотые монеты стукали меня по голове, и мне весело было слушать их звон, когда они падали на пол. Но я все-таки выгнала пана. У него было такое толстое, сырое лицо, и живот – как большая подушка. Он смотрел, как сытая свинья. Да, выгнала я его, хоть он и говорил, что продал все земли свои, и дома, и коней, чтобы осыпать меня золотом. Я тогда любила одного достойного пана с изрубленным лицом. Всё лицо было у него изрублено крест-накрест саблями турок, с которыми он незадолго перед тем воевал за греков. Вот человек!.. Что ему греки, если он поляк? А он пошел, бился с ними против их врагов. Изрубили его, у него вытек один глаз от ударов, и два пальца на левой руке были тоже отрублены… Что ему греки, если он поляк? А вот что: он любил подвиги. А когда человек любит подвиги, он всегда умеет их сделать и найдет, где это можно. В жизни, знаешь ли ты, всегда есть место подвигам. И те, которые не находят их для себя, – те просто лентяи или трусы, или не понимают жизни, потому что, кабы люди понимали жизнь, каждый захотел бы оставить после себя свою тень в ней. И тогда жизнь не пожирала бы людей бесследно… О, этот, рубленый, был хороший человек! Он готов был идти на край света, чтобы делать что-нибудь. Наверное, ваши убили его во время бунта. А зачем вы ходили бить мадьяр? Ну-ну, молчи!..

И, приказывая мне молчать, старая Изергиль вдруг замолчала сама, задумалась.

– Знала также я и венгра одного. Он однажды ушел от меня, – зимой это было, – и только весной, когда стаял снег, нашли его в поле с простреленной головой. Вот как! Видишь – не меньше чумы губит любовь людей; коли посчитать – не меньше… Что я говорила? О Польше… Да, там я сыграла свою последнюю игру. Встретила одного шляхтича… Вот был красив! Как черт. Я же стара уж была, эх, стара! Было ли мне четыре десятка лет? Пожалуй, что и было… А он был еще и горд, и избалован нами, женщинами. Дорого он мне стал… да. Он хотел сразу так себе взять меня, но я не далась. Я не была никогда рабой, ничьей. А с жидом я уже кончила, много денег дала ему… И уже в Кракове жила. Тогда у меня всё было: и лошади, и золото, и слуги… Он ходил ко мне, гордый демон, и всё хотел, чтоб я сама кинулась ему в руки. Мы поспорили с ним… Я даже, – помню, – дурнела от этого. Долго это тянулось… Я взяла свое: он на коленях упрашивал меня… Но только взял, как уж и бросил. Тогда поняла я, что стала стара… Ох, это было мне несладко! Вот уж несладко!.. Я ведь любила его, этого черта… а он, встречаясь со мной, смеялся… подлый он был! И другим он смеялся надо мной, а я это знала. Ну, уж горько было мне, скажу! Но он был тут, близко, и я все-таки любовалась им. А как вот ушел он биться с вами, русскими, тошно стало мне. Ломала я себя, но не могла сломать… И решила поехать за ним. Он около Варшавы был, в лесу.

Но когда я приехала, то узнала, что уж побили их ваши… и что он в плену, недалеко в деревне.

«Значит, – подумала я, – не увижу уже его больше!» А видеть хотелось. Ну, стала стараться увидать… Нищей оделась, хромой, и пошла, завязав лицо, в ту деревню, где был он. Везде казаки и солдаты… дорого мне стоило быть там! Узнала я, где поляки сидят, и вижу, что трудно попасть туда. А нужно мне это было. А вот ночью поползла я к тому месту, где они были. Ползу по огороду между гряд и вижу: часовой стоит на моей дороге… А уж слышно мне – поют поляки и говорят громко. Поют песню одну… к матери бога… И тот там же поет… Аркадэк мой. Мне горько стало, как подумала я, что раньше за мной ползали… а вот оно, пришло время – и я за человеком поползла змеей по земле и, может, на смерть свою ползу. А этот часовой уже слушает, выгнулся вперед. Ну, что же мне? Встала я с земли и пошла на него. Ни ножа у меня нет, ничего, кроме рук да языка. Жалею, что не взяла ножа. Шепчу: «Погоди!..» А он, солдат этот, уже приставил к горлу мне штык. Я говорю ему шепотом: «Не коли, погоди, послушай, коли у тебя душа есть! Не могу тебе ничего дать, а прошу тебя…» Он опустил ружье и также шепотом

говорит мне: «Пошла прочь, баба! пошла! Чего тебе?» Я сказала ему, что сын у меня тут заперт… «Ты понимаешь, солдат, – сын! Ты ведь тоже чей-нибудь сын, да? Так вот посмотри на меня – у меня есть такой же, как ты, и вон он где! Дай мне посмотреть на него, может, он умрет скоро… и, может, тебя завтра убьют… будет плакать твоя мать о тебе? И ведь тяжко будет тебе умереть, не взглянув на нее, твою мать? И моему сыну тяжко же. Пожалей же себя и его, и меня – мать!»

Ох, как долго говорила я ему! Шел дождь и мочил нас. Ветер выл и ревел, и толкал меня то в спину, то в грудь. Я стояла и качалась перед этим каменным солдатом… А он всё говорил: «Нет!» И каждый раз, как я слышала его холодное слово, еще жарче во мне вспыхивало желание видеть того, Аркадэка… Я говорила и мерила глазами солдата – он был маленький, сухой и всё кашлял. И вот я упала на землю перед ним и, охватив его колени, всё упрашивая его горячими словами, свалила солдата на землю. Он упал в грязь. Тогда я быстро повернула его лицом к земле и придавила его голову в лужу, чтоб он не кричал. Он не кричал, а только всё барахтался, стараясь сбросить меня с своей спины. Я же обеими руками втискивала его голову глубже в грязь. Он и задохнулся… Тогда я бросилась к амбару, где пели поляки. «Аркадэк!..» – шептала я в щели стене. Они догадливые, эти поляки, – и, услыхав меня, не перестали петь! Вот его глаза против моих. «Можешь ты выйти отсюда?» – «Да, через пол!» – сказал он. «Ну, иди же». И вот четверо их вылезло из-под этого амбара: трое и Аркадэк мой. «Где часовые?» – спросил Аркадэк. «Вон лежит!» И они пошли тихо-тихо, согнувшись к земле. Дождь шел, ветер выл громко. Мы ушли из деревни и долго молча шли лесом. Быстро так шли. Аркадэк держал меня за руку, и его рука была горяча и дрожала. О!.. Мне так хорошо было с ним, пока он молчал. Последние это были минуты – хорошие минуты моей жадной жизни. Но вот мы вышли на луг и остановились. Они благодарили меня все четверо. Ох, как они долго и много говорили мне что-то! Я всё слушала и смотрела на своего пана. Что же он сделает мне? И вот он обнял меня и сказал так важно… Не помню, что он сказал, но так выходило, что теперь он в благодарность за то, что я увела его, будет любить меня… И стал он на колени предо мной, улыбаясь, и сказал мне: «Моя королева!» Вот какая лживая собака была это!.. Ну, тогда я дала ему пинка ногой и ударила бы его в лицо, да он отшатнулся и вскочил. Грозный и бледный стоит он предо мной… Стоят и те трое, хмурые все. И все молчат. Я посмотрела на них… Мне тогда стало – помню – только скучно очень, и такая лень напала на меня… Я сказала им: «Идите!» Они, псы, спросили меня:

«Ты воротишься туда, указать наш путь?» Вот какие подлые! Ну, все-таки ушли они. Тогда и я пошла… А на другой день взяли меня ваши, но скоро отпустили. Тогда увидела я, что пора мне завести гнездо, будет жить кукушкой! Уж тяжела стала я, и ослабели крылья, и перья потускнели… Пора, пора! Тогда я уехала в Галицию, а оттуда в Добруджу. И вот уже около трех десятков лет живу здесь. Был у меня муж, молдаванин; умер с год тому времени. И живу я вот! Одна живу… Нет, не одна, а вон с теми.

Старуха махнула рукой к морю. Там всё было тихо. Иногда рождался какой-то краткий, обманчивый звук и умирал тотчас же.

– Любят они меня. Много я рассказываю им разного. Им это надо. Еще молодые все… И мне хорошо с ними. Смотрю и думаю: «Вот и я, было время, такая же была… Только тогда, в мое время, больше было в человеке силы и огня, и оттого жилось веселее и лучше… Да!..

Она замолчала. Мне грустно было рядом с ней. Она же дремала, качая головой, и тихо шептала что-то… может быть, молилась.

С моря поднималась туча – черная, тяжелая, суровых очертаний, похожая на горный хребет. Она ползла в степь. С ее вершины срывались клочья облаков, неслись вперед ее и гасили звезды одну за другой. Море шумело. Недалеко от нас, в лозах винограда, целовались, шептали и вздыхали. Глубоко в степи выла собака… Воздух раздражал нервы странным запахом, щекотавшим ноздри. От облаков падали на землю густые стаи теней и ползли по ней, ползли, исчезали, являлись снова… На месте луны осталось только мутное опаловое пятно, иногда его совсем закрывал сизый клочок облака. И в степной дали, теперь уже черной и страшной, как бы притаившейся, скрывшей в себе что-то, вспыхивали маленькие голубые огоньки. То там, то тут они на миг являлись и гасли, точно несколько людей, рассыпавшихся по степи далеко друг от друга, искали в ней что-то, зажигая спички, которые ветер тотчас же гасил. Это были очень странные голубые языки огня, намекавшие на что-то сказочное.

– Видишь ты искры? – спросила меня Изергиль.

– Вон те, голубые? – указывая ей на степь, сказал я.

– Голубые? Да, это они… Значит, летают все-таки! Ну-ну… Я уж вот не вижу их больше. Не могу я теперь многого видеть.

– Откуда эти искры? – спросил я старуху. Я слышал кое-что раньше о происхождении этих искр, но мне хотелось послушать, как расскажет о том же старая Изергиль.

– Эти искры от горящего сердца Данко. Было на свете сердце,

которое однажды вспыхнуло огнем… И вот от него эти искры. Я расскажу тебе про это… Тоже старая сказка. Старое, всё старое! Видишь ты, сколько в старине всего?.. А теперь вот нет ничего такого – ни дел, ни людей, ни сказок таких, как в старину… Почему?.. Ну-ка, скажи! Не скажешь… Что ты знаешь? Что все вы знаете, молодые? Эхе-хе!.. Смотрели бы в старину зорко – там все отгадки найдутся… А вот вы не смотрите и не умеете жить оттого… Я не вижу разве жизнь? Ох, всё вижу, хоть и плохи мои глаза! И вижу я, что не живут люди, а всё примеряются, примеряются и кладут на это всю жизнь. И когда обворуют сами себя, истратив время, то начнут плакаться на судьбу. Что же тут – судьба? Каждый сам себе судьба! Всяких людей я нынче вижу, а вот сильных нет! Где ж они?.. И красавцев становится всё меньше.

Старуха задумалась о том, куда девались из жизни сильные и красивые люди, и, думая, осматривала темную степь, как бы ища в ней ответа.

Я ждал ее рассказа и молчал, боясь, что, если спрошу ее о чем-либо, она опять отвлечется в сторону.

И вот она начала рассказ.

III

«Жили на земле в старину одни люди, непроходимые леса окружали с трех сторон таборы этих людей, а с четвертой – была степь. Были это веселые, сильные смелые люди. И вот пришла однажды тяжелая пора: явились откуда-то иные племена и прогнали прежних в глубь леса. Там были болота и тьма, потому что лес был старый и так густо переплелись его ветви, что сквозь них не видать было неба, и лучи солнца едва могли пробить себе дорогу до болот сквозь густую листву. Но когда его лучи падали на воду болот, то подымался смрад, и от него люди гибли один за другим. Тогда стали плакать жены и дети этого племени, а отцы задумались и впали в тоску. Нужно было уйти из этого леса, и для того были две дороги: одна – назад, – там были сильные и злые враги, другая – вперед, – там стояли великаны-деревья, плотно обняв друг друга могучими ветвями, опустив узловатые корни глубоко в цепкий ил болота. Эти каменные деревья стояли молча и неподвижно днем в сером сумраке и еще плотнее сдвигались вокруг людей по вечерам, когда загорались костры. И всегда, днем и ночью, вокруг тех людей было кольцо крепкой тьмы, оно точно собиралось раздавить их, а они привыкли к степному простору. А еще

страшней было, когда ветер бил по вершинам деревьев и весь лес глухо гудел, точно грозил и пел похоронную песню тем людям. Это были все-таки сильные люди, и могли бы они пойти биться насмерть с теми, что однажды победили их, но они не могли умереть в боях, потому что у них были заветы, и коли б умерли они, то пропали б с ними из жизни и заветы. И потому они сидели и думали в длинные ночи, под глухой шум леса, в ядовитом смраде болота. Они сидели, а тени от костров прыгали вокруг них в безмолвной пляске, и всем казалось, что это не тени пляшут, а торжествуют злые духи леса и болота… Люди всё сидели и думали. Но ничто – ни работа, ни женщины не изнуряют тела и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум… Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых, – и трусливые слова стали слышны в лесу, сначала робкие и тихие, а потом всё громче и громче… Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни… Но тут явился Данко и спас всех один».

Старуха, очевидно, часто рассказывала о горящем сердце Данко. Она говорила певуче, и голос ее, скрипучий и глухой, ясно рисовал предо мной шум леса, среди которого умирали от ядовитого дыхания болота несчастные, загнанные люди…

«Данко – один из тех людей, молодой красавец. Красивые – всегда смелы. И вот он говорит им, своим товарищам:

– Не своротить камня с пути думою. Кто ничего не делает, с тем ничего не станется. Что мы тратим силы на думу да тоску? Вставайте, пойдем в лес и пройдем его сквозь, ведь имеет же он конец – всё на свете имеет конец! Идемте! Ну! Гей!..

Посмотрели на него и увидали, что он лучший из всех, потому что в очах его светилось много силы и живого огня.

– Веди ты нас! – сказали они.

Тогда он повел…»

Старуха помолчала и посмотрела в степь, где всё густела тьма. Искорки горящего сердца Данко вспыхивали где-то далеко и казались голубыми воздушными цветами, расцветая только на миг.

«Повел их Данко. Дружно все пошли за ним – верили в него. Трудный путь это был! Темно было, и на каждом шагу болото разевало свою жадную гнилую пасть, глотая людей, и деревья заступали дорогу могучей стеной. Переплелись их ветки между собой; как змеи, протянулись всюду корни, и каждый шаг много стоил пота и крови тем людям. Долго шли они… Всё гуще

становился лес, всё меньше было сил! И вот стали роптать на Данко, говоря, что напрасно он, молодой и неопытный, повел их куда-то. А он шел впереди их и был бодр и ясен.

Но однажды гроза грянула над лесом, зашептали деревья глухо, грозно. И стало тогда в лесу так темно, точно в нем собрались сразу все ночи, сколько их было на свете с той поры, как он родился. Шли маленькие люди между больших деревьев и в грозном шуме молний, шли они, и, качаясь, великаны-деревья скрипели и гудели сердитые песни, а молнии, летая над вершинами леса, освещали его на минутку синим, холодным огнем и исчезали так же быстро, как являлись, пугая людей. И деревья, освещенные холодным огнем молний, казались живыми, простирающими вокруг людей, уходивших из плена тьмы, корявые, длинные руки, сплетая их в густую сеть, пытаясь остановить людей. А из тьмы ветвей смотрело на идущих что-то страшное, темное и холодное. Это был трудный путь, и люди, утомленные им, пали духом. Но им стыдно было сознаться в бессилии, и вот они в злобе и гневе обрушились на Данко, человека, который шел впереди их. И стали они упрекать его в неумении управлять ими, – вот как!

Остановились они и под торжествующий шум леса, среди дрожащей тьмы, усталые и злые, стали судить Данко.

– Ты, – сказали они, – ничтожный и вредный человек для нас! Ты повел нас и утомил, и за это ты погибнешь!

– Вы сказали: «Веди!» – и я повел! – крикнул Данко, становясь против них грудью. – Во мне есть мужество вести, вот потому я повел вас! А вы? Что сделали вы в помощь себе? Вы только шли и не умели сохранить силы на путь более долгий! Вы только шли, шли, как стадо овец!

Но эти слова разъярили их еще более.

– Ты умрешь! Ты умрешь! – ревели они.

А лес всё гудел и гудел, вторя их крикам, и молнии разрывали тьму в клочья. Данко смотрел на тех, ради которых он понес труд, и видел, что они – как звери. Много людей стояло вокруг него, но не было на лицах их благородства, и нельзя было ему ждать пощады от них. Тогда и в его сердце вскипело негодование, но от жалости к людям оно погасло. Он любил людей и думал, что, может быть, без него они погибнут. И вот его сердце вспыхнуло огнем желания спасти их, вывести на легкий путь, и тогда в его очах засверкали лучи того могучего огня… А они, увидав это, подумали, что он рассвирепел, отчего так ярко и разгорелись очи, и они насторожились, как волки, ожидая, что он будет бороться с ними, и стали плотнее окружать его, чтобы легче им было схватить и убить Данко. А он уже понял их

думу, оттого еще ярче загорелось в нем сердце, ибо эта их дума родила в нем тоску.

А лес всё пел свою мрачную песню, и гром гремел, и лил дождь…

– Что сделаю я для людей?! – сильнее грома крикнул Данко.

И вдруг он разорвал руками себе грудь и вырвал из нее свое сердце и высоко поднял его над головой.

«Оно пылало так ярко, как солнце, и ярче солнца, и весь лес замолчал, освещенный этим факелом великой любви к людям, а тьма разлетелась от света его и там, глубоко в лесу, дрожащая, пала в гнилой зев болота. Люди же, изумленные, стали как камни.

– Идем! – крикнул Данко и бросился вперед на свое место, высоко держа горящее сердце и освещая им путь людям.

Они бросились за ним, очарованные. Тогда лес снова зашумел, удивленно качая вершинами, но его шум был заглушен топотом бегущих людей. Все бежали быстро и смело, увлекаемые чудесным зрелищем горящего сердца. И теперь гибли, но гибли без жалоб и слез. А Данко всё был впереди, и сердце его всё пылало, пылало!

И вот вдруг лес расступился перед ним, расступился и остался сзади, плотный и немой, а Данко и все те люди сразу окунулись в море солнечного света и чистого воздуха, промытого дождем. Гроза была – там, сзади них, над лесом, а тут сияло солнце, вздыхала степь, блестела трава в брильянтах дождя и золотом сверкала река… Был вечер, и от лучей заката река казалась красной, как та кровь, что била горячей струей из разорванной груди Данко.

Кинул взор вперед себя на ширь степи гордый смельчак Данко, – кинул он радостный взор на свободную землю и засмеялся гордо. А потом упал и – умер.

Люди же, радостные и полные надежд, не заметили смерти его и не видали, что еще пылает рядом с трупом Данко его смелое сердце. Только один осторожный человек заметил это и, боясь чего-то, наступил на гордое сердце ногой… И вот оно, рассыпавшись в искры, угасло…»

– Вот откуда они, голубые искры степи, что являются перед грозой!

Теперь, когда старуха кончила свою красивую сказку, в степи стало страшно тихо, точно и она была поражена силой смельчака Данко, который сжег для людей свое сердце и умер, не прося у них ничего в награду себе. Старуха дремала. Я смотрел на нее и думал:

«Сколько еще сказок и воспоминаний осталось в ее памяти?»

И думал о великом горящем сердце Данко и о человеческой фантазии, создавшей столько красивых и сильных легенд.

Дунул ветер и обнажил из-под лохмотьев сухую грудь старухи Изергиль, засыпавшей всё крепче. Я прикрыл ее старое тело и сам лег на землю около нее. В степи было тихо и темно. По небу всё ползли тучи, медленно, скучно… Море шумело глухо и печально.

Михаил Михайлович Зощенко
1894–1958

Баня

Говорят, граждане, в Америке бани отличные.

Туда, например, гражданин придет, скинет белье в особый ящик и пойдет себе мыться. Беспокоиться даже не будет – мол, кража или пропажа, номерка даже не возьмет.

Ну, может, иной беспокойный американец и скажет банщику:

– Гут бай, дескать, присмотри.

Только и всего.

Помоется этот американец, назад придет, а ему чистое белье подают – стираное и глаженое. Портянки небось белее снега. Подштанники зашиты, заплатаны. Житьишко!

А у нас бани тоже ничего. Но хуже. Хотя тоже мыться можно.

У нас только с номерками беда. Прошлую субботу я пошел в баню (не ехать же, думаю, в Америку) – дают два номерка. Один за белье, другой за пальто с шапкой.

А голому человеку куда номерки деть? Прямо сказать – некуда. Карманов нету. Кругом – живот да ноги. Грех один с номерками. К бороде не привяжешь.

Ну, привязал я к ногам по номерку, чтоб не враз потерять. Вошел в баню.

Номерки теперича по ногам хлопают. Ходить скучно. А ходить надо. Потому шайку надо. Без шайки какое же мытье? Грех один.

Ищу шайку. Гляжу, один гражданин в трех шайках моется. В одной стоит, в другой башку мылит, а третью левой рукой придерживает, чтоб не сперли.

Потянул я третью шайку, хотел, между прочим, ее себе взять, а гражданин не выпущает.

– Ты что ж это, – говорит, – чужие шайки воруешь? Как ляпну, – говорит, – тебе шайкой между глаз – не зарадуешься.

Я говорю:

– Не царский, – говорю, – режим шайками ляпать. Эгоизм, – говорю, – какой. Надо же, – говорю, – и другим помыться. Не в театре, – говорю.

А он задом повернулся и моется.

«Не стоять же, – думаю, – над его душой. Теперича, – думаю, – он нарочно три дня будет мыться».

Пошел дальше.

Через час гляжу, какой-то дядя зазевался, выпустил из рук шайку. За мылом нагнулся или замечтался – не знаю. А только тую шайку я взял себе.

Теперича и шайка есть, а сесть негде. А стоя мыться – какое же мытье? Грех один.

Хорошо. Стою стоя, держу шайку в руке, моюсь.

А кругом-то, батюшки-светы, стирка самосильно идет. Один штаны моет, другой подштанники трет, третий еще что-то крутит. Только, скажем, вымылся – опять грязный. Брызжут, дьяволы. И шум такой стоит от стирки – мыться неохота. Не слышишь, куда мыло трешь. Грех один.

«Ну их, – думаю, – в болото. Дома домоюсь».

Иду в предбанник. Выдают на номер белье. Гляжу – все мое, штаны не мои.

– Граждане, – говорю. – На моих тут дырка была. А на этих эвон где.

А банщик говорит:

– Мы, – говорит, – за дырками не приставлены. Не в театре, – говорит.

Хорошо. Надеваю эти штаны, иду за пальтом. Пальто не выдают – номерок требуют. А номерок на ноге забытый. Раздеваться надо. Снял штаны, ищу номерок – нету номерка. Веревка тут, на ноге, а бумажки нет. Смылась бумажка.

Подаю банщику веревку – не хочет.

– По веревке, – говорит, – не выдаю. Это, – говорит, – каждый гражданин настрижет веревок – польт не напасешься. Обожди, – говорит, – когда публика разойдется – выдам, какое останется.

Я говорю:

– Братишечка, а вдруг да дрянь останется? Не в театре же, – говорю. – Выдай, говорю, по приметам. Один, – говорю, – карман рваный, другого нету. Что касаемо пуговиц, то, – говорю, – верхняя есть, нижних же не предвидится.

Все-таки выдал. И веревки не взял.

Оделся я, вышел на улицу. Вдруг вспомнил: мыло забыл.

Вернулся снова. В пальто не впущают.

– Раздевайтесь, – говорят.

Я говорю:

– Я, граждане, не могу в третий раз раздеваться. Не в театре, – говорю. – Выдайте тогда хоть стоимость мыла.

Не дают.

Не дают – не надо. Пошел без мыла.

Конечно, читатель может полюбопытствовать: какая, дескать, это баня? Где она? Адрес?

Какая баня? Обыкновенная. Которая в гривенник.

Беда

Егор Иваныч, по фамилии Глотов, мужик из деревни Гнилые Прудки, два года копил деньги на лошадь. Питался худо, бросил махорку, а что до самогона, то забыл, какой и вкус в нем. То есть как ножом отрезало – не помнит Егор Иваныч, какой вкус, хоть убей.

А вспомнить, конечно, тянуло. Но крепился мужик. Очень уж ему нужна была лошадь.

«Вот куплю, – думал, – лошадь и клюкну тогда. Будьте покойны».

Два года копил мужик деньги и на третий подсчитал свои капиталы и стал собираться в путь.

А перед самым уходом явился к Егору Иванычу мужик из соседнего села и предложил купить у него лошадь. Но Егор Иваныч предложение это отклонил. И даже испугался.

– Что ты, батюшка! – сказал он. – Я два года солому жрал – ожидал покупки. А тут на-кася – купи у него лошадь. Это вроде как и не покупка будет… Нет, не пугай меня, браток. Я уж в город лучше поеду. По-настоящему чтобы.

И вот Егор Иваныч собрался. Завернул деньги в портянку, натянул сапоги, взял в руки палку и пошел.

А на базаре Егор Иваныч тотчас облюбовал себе лошадь.

Была эта лошадь обыкновенная, мужицкая, с шибко раздутым животом. Масти она была неопределенной – вроде сухой глины с навозом.

Продавец стоял рядом и делал вид, что он ничуть не заинтересован, купят ли у него лошадь.

Егор Иваныч повертел ногой в сапоге, ощупал деньги и, любовно поглядывая на лошадь, сказал:

– Это что ж, милый, лошадь-то, я говорю, это самое, продаешь ай нет?

– Лошадь-то? – небрежно спросил торговец. – Да уж продаю, ладно. Конечно, продаю.

Егор Иваныч тоже хотел сделать вид, что он не нуждается в лошади, но не утерпел и сказал, сияя:

– Лошадь-то мне, милый, вот как требуется. До зарезу нужна мне лошадь. Я, милый ты мой, три года солому жрал, прежде чем купить ее. Вот как мне нужна лошадь… А какая между тем цена будет этой твоей лошади? Только делом говори.

Торговец сказал цену, а Егор Иваныч, зная, что цена эта не настоящая и сказана, по правилам торговли, так, между прочим, не стал спорить. Он принялся осматривать лошадь. Он неожиданно дул ей в глаза и в уши, подмигивая, прищелкивая

языком, вилял головой перед самой лошадиной мордой и до того запугал тихую клячу, что та, невозмутимая до сего времени, начала тихонько лягаться, не стараясь, впрочем, попасть в Егор Иваныча.

Когда лошадь была осмотрена, Егор Иваныч снова ощупал деньги в сапоге и, подмигнув торговцу, сказал:

– Продается, значится… лошадь-то?

– Можно продать, – сказал торговец, несколько обижаясь.

– Так… А какая ей цена-то будет? Лошади-то?

Торговец сказал цену, и тут начался торг.

Егор Иваныч хлопал себя по голенищу, дважды снимал сапог, вытаскивая деньги, и дважды надевал снова, божился, вытирал рукой слезы, говорил, что он шесть лет лопал солому и что ему до зарезу нужна лошадь, – торговец сбавлял цену понемногу. Наконец в цене сошлись.

– Бери уж, ладно, – сказал торговец. – Хорошая лошадь. И масть крупная, и цвет, обрати внимание, какой заманчивый.

– Цвет-то… Сомневаюсь я, милый, в смысле лошадиного цвету, – сказал Егор Иваныч. – Неинтересный цвет… Сбавь немного.

– А на что тебе цвет? – сказал торговец. – Тебе что, пахать цветом-то?

Сраженный этим аргументом, мужик оторопело посмотрел на лошадь, бросил шапку наземь, задавил ее ногой и крикнул:

– Пущай уж, ладно!

Потом сел на камень, снял сапог и вынул деньги. Он долго и с сожалением пересчитывал их и подал торговцу, слегка отвернув голову. Ему было невыносимо смотреть, как скрюченные пальцы разворачивали его деньги.

Наконец торговец спрятал деньги в шапку и сказал, обращаясь уже на «вы»:

– Ваша лошадь… Ведите…

И Егор Иваныч повел. Он вел торжественно, цокал языком и называл лошадь Маруськой. И только когда прошел площадь и очутился на боковой улице, понял, какое событие произошло в его жизни. Он вдруг скинул с себя шапку и в восторге стал давить ее ногами, вспоминая, как хитро и умно он торговался. Потом пошел дальше, размахивая от восторга руками и бормоча:

– Купил!.. Лошадь-то… Мать честная… Опутал его… Торговца-то…

Когда восторг немного утих, Егор Иваныч, хитро смеясь себе в бороду, стал подмигивать прохожим, приглашая их взглянуть на покупку. Но прохожие равнодушно проходили мимо.

«Хоть бы землячка для сочувствия… Хоть бы мне землячка

встретить», – подумал Егор Иваныч.

И вдруг увидел малознакомого мужика из дальней деревни.

– Кум! – закричал Егор Иваныч. – Кум, поди-кась поскорей сюда!

Черный мужик нехотя подошел и, не здороваясь, посмотрел на лошадь.

– Вот… Лошадь я, этово, купил! – сказал Егор Иваныч.

– Лошадь, – сказал мужик и, не зная, чего спросить, добавил: – Стало быть, не было у тебя лошади?

– В том-то и дело, милый, – сказал Егор Иваныч, – не было у меня лошади. Если б была, не стал бы я трепаться… Пойдем, я желаю тебя угостить.

– Вспрыснуть, значит? – спросил земляк, улыбаясь. – Можно. Что можно, то можно. В «Ягодку», что ли?

Егор Иваныч качнул головой, хлопнул себя по голенищу и повел за собой лошадь. Земляк шел впереди.

Это было в понедельник. А в среду утром Егор Иваныч возвращался в деревню. Лошади с ним не было. Черный мужик провожал Егор Иваныча до немецкой слободы.

– Ты не горюй, – говорил мужик. – Не было у тебя лошади, да и эта не лошадь. Ну, пропил, – эка штука. Зато, браток, вспрыснул. Есть что вспомнить.

Егор Иваныч шел молча, сплевывая длинную желтую слюну.

И только когда земляк, дойдя до слободы, стал прощаться, Егор Иваныч сказал тихо:

– А я, милый, два года солому лопал… зря…

Земляк сердито махнул рукой и пошел назад.

– Стой! – закричал вдруг Егор Иваныч страшным голосом. – Стой! Дядя… милый!

– Чего надо? – строго спросил мужик.

– Дядя… милый… братишка, – сказал Егор Иваныч, моргая ресницами. – Как же это? Два года ведь солому зря лопал… За какое самое… За какое самое это… вином торгуют?

Земляк махнул рукой и пошел в город.

Жертва революции

Ефим Григорьевич снял сапог и показал мне свою ногу. На первый взгляд ничего в ней особенного не было. И только при внимательном осмотре можно было увидеть на ступне какие-то зажившие ссадины и царапины.

– Заживают, – с сокрушением сказал Ефим Григорьевич. – Ничего не поделаешь – седьмой год все-таки пошел.

– А что это? – спросил я.

– Это? – сказал Ефим Григорьевич. – Это, уважаемый товарищ, я пострадал в Октябрьскую революцию. Нынче, когда шесть лет прошло, каждый, конечно, пытается примазаться: и я, дескать, участвовал в революции, и я, мол, кровь проливал и собой жертвовал. Ну а у меня все-таки явные признаки. Признаки не соврут… Я, уважаемый товарищ, хотя на заводах и не работал и по происхождению я бывший мещанин города Кронштадта, но в свое время был отмечен судьбой – я был жертвой революции. Я, уважаемый товарищ, был задавлен революционным мотором.

Тут Ефим Григорьевич торжественно посмотрел на меня и, заворачивая ногу в портянку, продолжал:

– Да-с, был задавлен мотором, грузовиком. И не так, чтобы как прохожий или там какая-нибудь мелкая пешка, по своей невнимательности или слабости зрения, напротив – я пострадал при обстоятельствах и в самую революцию. Вы бывшего графа Орешина не знали?

– Нет.

– Ну, так вот… У этого графа я и служил. В полотерах… Хочешь не хочешь, а два раза натри им пол. А один раз, конечно, с воском. Очень графы обожали, чтобы с воском. А по мне, так наплевать – только расход лишний. Хотя, конечно, блеск получается. А графы были очень богатые и в этом смысле себя не урезывали.

Так вот такой был, знаете ли, случай: натер я им полы, скажем, в понедельник, а в субботу революция произошла. В понедельник я им натер, в субботу революция, а во вторник, за четыре дня до революции, бежит ко мне ихний швейцар и зовет:

– Иди, – говорит, – кличут. У графа, – говорит, – кража и пропажа, а на тебя подозрение. Живо! А не то тебе голову отвернут.

Я пиджачишко накинул, похряпал на дорогу – и к ним.

Прибегаю. Вваливаюсь, натурально, в комнаты.

Гляжу – сама бывшая графиня бьется в истерике и по ковру пятками бьет.

Увидела она меня и говорит сквозь слезы:

– Ах, – говорит, – Ефим, комси-комса, не вы ли сперли мои дамские часики, девяносто шестой пробы, обсыпанные брильянтами?

– Что вы, – говорю, – что вы, бывшая графиня! На что, – говорю, – мне дамские часики, если я мужчина? Смешно, – говорю. – Извините за выражение.

А она рыдает.

– Нет, – говорит, – не иначе, как вы сперли, комси-комса.

И вдруг входит сам бывший граф и всем присутствующим возражает:

– Я, – говорит, – чересчур богатый человек, и мне раз плюнуть и растереть ваши бывшие часики, но, – говорит, – это дело я так не оставлю. Руки, – говорит, – свои я не хочу пачкать о ваше хайло, но подам ко взысканию, комси-комса. Ступай, – говорит, – отселева.

Я, конечно, посмотрел в окно и вышел.

Пришел я домой, лег и лежу. И ужасно скучаю от огорчения. Потому что не брал я ихние часики.

И лежу я день и два – пищу перестал вкушать и все думаю, где могли быть эти обсыпанные часики.

И вдруг – на пятый день – как ударит меня что-то в голову.

«Батюшки, думаю, да ихние часишки я же сам в кувшинчик с пудрой пихнул. Нашел на ковре, думал, медальон, и пихнул».

Накинул я сию минуту на себя пиджачок и, не покушав даже, побежал на улицу. А жил бывший граф на Офицерской улице.

И вот бегу я по улице, и берет меня какая-то неясная тревога. Что это, думаю, народ как странно ходит боком и вроде как пугается ружейных выстрелов и артиллерии? С чего бы энто, думаю.

Спрашиваю у прохожих. Отвечают:

– Вчера произошла Октябрьская революция.

Поднажал я – и на Офицерскую.

Прибегаю к дому. Толпа. И тут же мотор стоит. И сразу меня как-то осенило: не попасть бы, думаю, под мотор. А мотор стоит… Ну, ладно. Подошел я ближе, спрашиваю:

– Чего тут происходит?

– А это, – говорят, – мы которых аристократов в грузовик сажаем и арестовываем. Ликвидируем этот класс.

И вдруг вижу я – ведут. Бывшего графа ведут в мотор. Растолкал я народ, кричу:

– В кувшинчике, – кричу, – часики ваши, будь они прокляты! В кувшинчике с пудрой.

А граф, стерва, нуль на меня внимания и садится.

Бросился я ближе к мотору, а мотор, будь он проклят, как зашуршит в тую минуту, как пихнет меня колесьями в сторону.

«Ну, думаю, есть одна жертва».

Тут Ефим Григорьевич опять снял сапог и стал с досадой осматривать зажившие метки на ступне. Потом снова надел сапог и сказал:

– Вот-с, уважаемый товарищ, как видите, и я пострадал в свое

время и являюсь, так сказать, жертвой революции. Конечно, я не то чтобы этим задаюсь, но я не позволю никому над собой издеваться. А между прочим, председатель жилтоварищества обмеривает мою комнату в квадратных метрах, да еще тое место, где комод стоит – тоже. Да еще издевается: под комодом, говорит, у вас расположено около полметра пола. А какие же это полметра, ежели это место комодом занято? А комод – хозяйский.

Константин Георгиевич Паустовский 1892–1968

Драгоценная пыль

Не могу припомнить, как я узнал эту историю о парижском мусорщике Жане Шамете. Шамет зарабатывал на существование тем, что прибирал мастерские ремесленников в своем квартале.

Жил Шамет в лачуге на окраине города. Конечно, можно было бы обстоятельно описать эту окраину и тем самым увести читателя в сторону от основной нити рассказа. Но, пожалуй, стоит только упомянуть, что до сих пор в предместьях Парижа сохранились старые крепостные валы. В то время, когда происходило действие этого рассказа, валы были еще покрыты зарослями жимолости и боярышника и в них гнездились птицы.

Лачуга мусорщика приткнулась к подножию северного крепостного вала, рядом с домишками жестянщиков, сапожников, собирателей окурков и нищих.

Если бы Мопассан заинтересовался жизнью обитателей этих лачуг, то, пожалуй, написал бы еще несколько превосходных рассказов. Может быть, они прибавили бы новые лавры к его устоявшейся славе.

К сожалению, никто из посторонних не заглядывал в эти места, кроме сыщиков. Да и те появлялись только в тех случаях, когда разыскивали краденые вещи.

Судя по тому, что соседи прозвали Шамета «дятлом», надо думать, что он был худ, остронос и из-под шляпы у него всегда торчал клок волос, похожий на хохол птицы.

Когда-то Жан Шамет знал лучшие дни. Он служил солдатом в армии «Маленького Наполеона» во время мексиканской войны.

Шамету повезло. В Вера-Крус он заболел тяжелой лихорадкой. Больного солдата, не побывавшего еще ни в одной настоящей перестрелке, отправили обратно на родину. Полковой командир воспользовался этим и поручил Шамету отвезти во Францию свою дочь Сюзанну – девочку восьми лет.

Командир был вдовцом и потому вынужден был всюду возить девочку с собой. Но на этот раз он решил расстаться с дочерью и отправить ее к сестре в Руан. Климат Мексики был убийственным для европейских детей. К тому же беспорядочная партизанская война создавала много внезапных опасностей.

Во время возвращения Шамета во Францию над Атлантическим океаном дымилась жара. Девочка все время

молчала. Даже на рыб, вылетавших из маслянистой воды, она смотрела не улыбаясь.

Шамет, как мог, заботился о Сюзанне. Он понимал, конечно, что она ждет от него не только заботы, но и ласки. А что он мог придумать ласкового, солдат колониального полка? Чем он мог занять ее? Игрой в кости? Или грубыми казарменными песенками?

Но все же долго отмалчиваться было нельзя. Шамет все чаще ловил на себе недоумевающий взгляд девочки. Тогда он наконец решился и начал нескладно рассказывать ей свою жизнь, вспоминая до мельчайших подробностей рыбачий поселок на берегу Ла-Манша, сыпучие пески, лужи после отлива, сельскую часовню с треснувшим колоколом, свою мать, лечившую соседей от изжоги. В этих воспоминаниях Шамет не мог найти ничего такого, чтобы развеселить Сюзанну. Но девочка, к его удивлению, слушала эти рассказы с жадностью и даже заставляла повторять их, требуя все новых подробностей.

Шамет напрягал память и выуживал из нее эти подробности, пока в конце концов не потерял уверенность в том, что они действительно существовали. Это были уже не воспоминания, а слабые их тени. Они таяли, как клочья тумана. Шамет, правда, никогда не предполагал, что ему понадобится возобновлять в памяти это давно ушедшее время своей жизни.

Однажды возникло смутное воспоминание о золотой розе. Не то Шамет видел эту выкованную из почернелого золота грубую розу, подвешенную к распятью в доме старой рыбачки, не то он слышал рассказы об этой розе от окружающих.

Нет, пожалуй, он однажды даже видел эту розу и запомнил, как она поблескивала, хотя за окнами не было солнца и мрачный шторм шумел над проливом. Чем дальше, тем яснее Шамет вспоминал этот блеск – несколько ярких огоньков под низким потолком.

Все в поселке удивлялись, что старуха не продает свою драгоценность. Она могла бы выручить за нее большие деньги. Одна только мать Шамета уверяла, что продавать золотую розу – грех, потому что ее подарил старухе «на счастье» возлюбленный, когда старуха, тогда еще смешливая девушка, работала на сардинной фабрике в Одьерне.

– Таких золотых роз мало на свете, – говорила мать Шамета. – Но все, у кого они завелись в доме, обязательно будут счастливыми. И не только они, но и каждый, кто притронется к этой розе.

Мальчик с нетерпением ждал, когда же старуха сделается счастливой. Но никаких признаков счастья не было и в помине.

Дом старухи трясся от ветра, а по вечерам в нем не зажигали огня.

Так Шамет и уехал из поселка, не дождавшись перемены в старухиной судьбе. Только год спустя знакомый кочегар с почтового парохода в Гавре рассказал ему, что к старухе неожиданно приехал из Парижа сын-художник – бородатый, веселый и чудной. Лачугу с тех пор было уже не узнать. Она наполнилась шумом и достатком. Художники, говорят, получают большие деньги за свою мазню.

Однажды, когда Шамет, сидя на палубе, расчесывал Сюзанне своим железным гребнем перепутанные ветром волосы, она спросила:

– Жан, а мне кто-нибудь подарит золотую розу?

– Все может быть, – ответил Шамет. – Найдется и для тебя, Сузи, какой-нибудь чудак. У нас в роте был один тощий солдат. Ему чертовски везло. Он нашел на поле сражения сломанную золотую челюсть. Мы пропили ее всей ротой. Это было во время аннамитской войны. Пьяные артиллеристы выстрелили для забавы из мортиры, снаряд попал в жерло потухшего вулкана, там взорвался, и от неожиданности вулкан начал пыхтеть и извергаться. Черт его знает, как его звали, этот вулкан! Кажется, Крака-Така. Извержение было что надо! Погибло сорок мирных туземцев. Подумать только, что из-за какой-то челюсти пропало столько людей! Потом оказалось, что челюсть эту потерял наш полковник. Дело, конечно, замяли, – престиж армии выше всего. Но мы здорово нализались тогда.

– Где же это случилось? – спросила с сомнением Сузи.

– Я же тебе сказал – в Аннаме. В Индокитае. Там океан горит огнем, как ад, а медузы похожи на кружевные юбочки балерины. И там такая сырость, что за одну ночь в наших сапогах вырастали шампиньоны! Пусть меня повесят, если я вру!

До этого случая Шамет слышал много солдатского вранья, но сам никогда не врал. Не потому, что он этого не умел, а просто не было надобности. Сейчас же он считал святой обязанностью развлекать Сюзанну.

Шамет привез девочку в Руан и сдал с рук на руки высокой женщине с поджатыми желтыми губами – тетке Сюзанны. Старуха была вся в черном стеклярусе и сверкала, как цирковая змея.

Девочка, увидев ее, крепко прижалась к Шамету, к его выгоревшей шинели.

– Ничего! – шепотом сказал Шамет и подтолкнул Сюзанну в плечо. – Мы, рядовые, тоже не выбираем себе ротных начальников. Терпи, Сузи, солдатка!

Шамет ушел. Несколько раз он оглядывался на окна скучного

дома, где ветер даже не шевелил занавески. На тесных улицах был слышен из лавчонок суетливый стук часов. В солдатском ранце Шамета лежала память о Сузи – синяя измятая лента из ее косы. И черт ее знает почему, но эта лента пахла так нежно, как будто она долго пробыла в корзине с фиалками.

Мексиканская лихорадка подорвала здоровье Шамета. Его уволили из армии без сержантского чина. Он ушел в гражданскую жизнь простым рядовым.

Годы проходили в однообразной нужде. Шамет перепробовал множество скудных занятий и в конце концов стал парижским мусорщиком. С тех пор его преследовал запах пыли и помоек. Он чувствовал этот запах даже в легком ветре, проникавшем в улицы со стороны Сены, и в охапках мокрых цветов – их продавали чистенькие старушки на бульварах.

Дни сливались в желтую муть. Но иногда в ней возникало перед внутренним взором Шамета легкое розовое облачко – старенькое платье Сюзанны. От этого платья пахло весенней свежестью, как будто его тоже долго держали в корзине с фиалками.

Где она, Сюзанна? Что с ней? Он знал, что сейчас она уже взрослая девушка, а отец ее умер от ран.

Шамет все собирался съездить в Руан навестить Сюзанну. Но каждый раз он откладывал эту поездку, пока наконец не понял, что время упущено и Сюзанна наверняка о нем позабыла.

Он ругал себя свиньей, когда вспоминал прощание с ней. Вместо того чтобы поцеловать девочку, он толкнул ее в спину навстречу старой карге и сказал: «Терпи, Сузи, солдатка!»

Известно, что мусорщики работают по ночам. К этому их понуждают две причины: больше всего мусора от кипучей и не всегда полезной человеческой деятельности накапливается к концу дня, и, кроме того, нельзя оскорблять зрение и обоняние парижан. Ночью же почти никто, кроме крыс, не замечает работу мусорщиков.

Шамет привык к ночной работе и даже полюбил эти часы суток. Особенно то время, когда над Парижем вяло пробивался рассвет. Над Сеной курился туман, но он не подымался выше парапета мостов.

Однажды на таком туманном рассвете Шамет проходил по мосту Инвалидов и увидел молодую женщину в бледно-сиреневом платье с черными кружевами. Она стояла у парапета и смотрела на Сену.

Шамет остановился, снял пыльную шляпу и сказал:

– Сударыня, вода в Сене в эту пору очень холодная. Давайте-

ка я лучше провожу вас домой.

– У меня нет теперь дома, – быстро ответила женщина и повернулась к Шамету.

Шамет уронил свою шляпу.

– Сузи! – сказал он с отчаянием и восторгом. – Сузи, солдатка! Моя девочка! Наконец-то я увидел тебя. Ты забыла меня, должно быть. Я – Жан-Эрнест Шамет, тот рядовой двадцать седьмого колониального полка, что привез тебя к этой поганой тетке в Руан. Какой ты стала красавицей! И как хорошо расчесаны твои волосы! А я-то, солдатская затычка, совсем не умел их прибирать!

– Жан! – вскрикнула женщина, бросилась к Шамету, обняла его за шею и заплакала. – Жан, вы такой же добрый, каким были тогда. Я все помню!

– Э-э, глупости! – пробормотал Шамет. – Какая кому выгода от моей доброты. Что с тобой стряслось, моя маленькая?

Шамет притянул Сюзанну к себе и сделал то, на что не решился в Руане, – погладил и поцеловал ее блестящие волосы. Тут же он отстранился, боясь, что Сюзанна услышит мышиную вонь от его куртки. Но Сюзанна прижалась к его плечу еще крепче.

– Что с тобой, девочка? – растерянно повторил Шамет.

Сюзанна не ответила. Она была не в силах сдержать рыдания. Шамет понял: пока что не надо ее ни о чем расспрашивать.

– У меня, – торопливо сказал он, – есть логово у крепостного вала. Далековато отсюда. В доме, конечно, пусто – хоть шаром покати. Но зато можно согреть воду и уснуть в постели. Там ты сможешь умыться и отдохнуть. И вообще жить сколько хочешь.

Сюзанна прожила у Шамета пять дней. Пять дней над Парижем подымалось необыкновенное солнце. Все здания, даже самые старые, покрытые копотью, все сады и даже логово Шамета сверкали в лучах этого солнца, как драгоценности.

Кто не испытал волнения от едва слышного дыхания спящей молодой женщины, тот не поймет, что такое нежность. Ярче влажных лепестков были ее губы, и от ночных слез блестели ресницы.

Да, с Сюзанной все случилось именно так, как предполагал Шамет. Ей изменил возлюбленный, молодой актер. Но тех пяти дней, какие Сюзанна прожила у Шамета, вполне хватило на их примирение.

Шамет участвовал в нем. Ему пришлось отнести письмо Сюзанны к актеру и научить этого томного красавчика вежливости, когда тот хотел сунуть Шамету несколько су на чай.

Вскоре актер приехал в фиакре за Сюзанной. И все было

как надо: букет, поцелуи, смех сквозь слезы, раскаяние и чуть надтреснутая беззаботность.

Когда молодые уезжали, Сюзанна так заторопилась, что вскочила в фиакр, забыв попрощаться с Шаметом. Тут же она спохватилась, покраснела и виновато протянула ему руку.

– Раз уж ты выбрала себе жизнь по вкусу, – проворчал ей напоследок Шамет, – то будь счастлива.

– Я ничего еще не знаю, – ответила Сюзанна, и слезы заблестели у нее на глазах.

– Ты напрасно волнуешься, моя крошка, – недовольно протянул молодой актер и повторил: – Моя прелестная крошка.

– Вот если бы кто-нибудь подарил мне золотую розу! – вздохнула Сюзанна. – Это было бы наверняка к счастью. Я помню твой рассказ на пароходе, Жан.

– Кто знает! – ответил Шамет. – Во всяком случае, не этот господинчик поднесет тебе золотую розу. Извини, я солдат. Я не люблю шаркунов.

Молодые люди переглянулись. Актер пожал плечами. Фиакр тронулся.

Обыкновенно Шамет выбрасывал весь мусор, выметенный за день из ремесленных заведений. Но после этого случая с Сюзанной он перестал выбрасывать пыль из ювелирных мастерских. Он начал собирать ее тайком в мешок и уносил к себе в лачугу. Соседи решили, что мусорщик «тронулся». Мало кому было известно, что в этой пыли есть некоторое количество золотого порошка, так как ювелиры, работая, всегда стачивают немного золота.

Шамет решил отсеять из ювелирной пыли золото, сделать из него небольшой слиток и выковать из этого слитка маленькую золотую розу для счастья Сюзанны. А может быть, как говорила ему когда-то мать, она послужит и для счастья многих простых людей. Кто знает! Он решил не встречаться с Сюзанной, пока не будет готова эта роза.

Шамет никому не рассказывал о своей затее. Он боялся властей и полиции. Мало ли что придет в голову судебным крючкотворам. Они могут объявить его вором, посадить в тюрьму и отобрать у него золото. Ведь оно было все-таки чужое.

До поступления в армию Шамет батрачил на ферме у сельского кюре и потому знал, как обращаться с зерном. Эти познания пригодились ему теперь. Он вспомнил, как веяли хлеб и тяжелые зерна падали на землю, а легкая пыль уносилась ветром.

Шамет построил небольшую веялку и по ночам перевеивал во дворе ювелирную пыль. Он волновался до тех пор, пока

не увидел на лотке едва заметный золотящийся порошок.

Прошло много времени, пока золотого порошка накопилось столько, что можно было сделать из него слиток. Но Шамет медлил отдавать его ювелиру, чтобы выковать из него золотую розу.

Его не останавливало отсутствие денег – любой ювелир согласился бы взять за работу треть слитка и был бы этим доволен.

Дело заключалось не в этом. С каждым днем приближался час встречи с Сюзанной. Но с некоторых пор Шамет начал бояться этого часа.

Всю нежность, давно уже загнанную в глубину сердца, он хотел отдать только ей, только Сузи. Но кому нужна нежность старого урода! Шамет давно заметил, что единственным желанием людей, встречавшихся с ним, было поскорее уйти и забыть его тощее, серое лицо с обвисшей кожей и пронзительными глазами.

У него в лачуге был осколок зеркала. Изредка Шамет смотрелся в него, но тотчас же с тяжелым ругательством отшвыривал прочь. Лучше было не видеть себя – эту неуклюжую образину, ковылявшую на ревматических ногах.

Когда роза была наконец готова, Шамет узнал, что Сюзанна год назад уехала из Парижа в Америку – и, как говорили, навсегда. Никто не мог сообщить Шамету ее адрес.

В первую минуту Шамет даже испытал облегчение. Но потом все его ожидание ласковой и легкой встречи с Сюзанной превратилось непонятным образом в железный заржавленный осколок. Этот колючий осколок застрял у Шамета в груди, около сердца, и Шамет молил бога, чтобы он скорее вонзился в это старое сердце и остановил его навсегда.

Шамет бросил прибирать мастерские. Несколько дней он пролежал у себя в лачуге, повернувшись лицом к стене. Он молчал и только один раз улыбнулся, прижав к глазам рукав старой куртки. Но никто этого не видел. Соседи даже не приходили к Шамету – у каждого хватало своих забот.

Следил за Шаметом только один человек – тот пожилой ювелир, что выковал из слитка тончайшую розу и рядом с ней, на одной ветке, маленький острый бутон.

Ювелир навещал Шамета, но не приносил ему лекарств. Он считал, что это бесполезно.

И действительно, Шамет незаметно умер во время одного из посещений ювелира. Ювелир поднял голову мусорщика, достал из-под серой подушки золотую розу, завернутую в синюю помятую ленту, и не спеша ушел, прикрыв скрипучую дверь.

От ленты пахло мышами.

Была поздняя осень. Вечерняя темнота шевелилась от ветра и мигающих огней. Ювелир вспомнил, как преобразилось после смерти лицо Шамета. Оно стало суровым и спокойным. Горечь этого лица показалась ювелиру даже прекрасной.

«Чего не дает жизнь, то приносит смерть», – подумал ювелир, склонный к шаблонным мыслям, и шумно вздохнул.

Вскоре ювелир продал золотую розу пожилому литератору, неряшливо одетому и, по мнению ювелира, недостаточно богатому, чтобы иметь право на покупку такой драгоценной вещи.

Очевидно, решающую роль при этой покупке сыграла история золотой розы, рассказанная ювелиром литератору.

Запискам старого литератора мы обязаны тем, что кое-кому стал известен этот горестный случай из жизни бывшего солдата 27-го колониального полка – Жана Эрнеста Шамета.

В своих записках литератор, между прочим, писал: «Каждая минута, каждое брошенное невзначай слово и взгляд, каждая глубокая или шутливая мысль, каждое незаметное движение человеческого сердца, так же как и летучий пух тополя или огонь звезды в ночной луже, – все это крупинки золотой пыли.

Мы, литераторы, извлекаем их десятилетиями, эти миллионы песчинок, собираем незаметно для самих себя, превращаем в сплав и потом выковываем из этого сплава свою «золотую розу» – повесть, роман или поэму.

Золотая роза Шамета! Она отчасти представляется мне прообразом нашей творческой деятельности. Удивительно, что никто не дал себе труда проследить, как из этих драгоценных пылинок рождается живой поток литературы.

Но, подобно тому как золотая роза старого мусорщика предназначалась для счастья Сюзанны, так и наше творчество предназначается для того, чтобы красота земли, призыв к борьбе за счастье, радость и свободу, широта человеческого сердца и сила разума преобладали над тьмой и сверкали, как незаходящее солнце».

(Отрывок из книги «Золотая роза»)

Исаак Левитан

У художника Саврасова тряслись худые руки. Он не мог выпить стакан чая, не расплескав его по грязной суровой скатерти. От седой неряшливой бороды художника пахло хлебом и водкой.

Мартовский туман лежал над Москвой сизым самоварным

чадом. Смеркалось. В жестяных водосточных трубах оттаивал слежавшийся лед. Он с громом срывался на тротуары и раскалывался, оставляя груды синеватого горного хрусталя. Хрусталь трещал под грязными сапогами и тотчас превращался в навозную жижу.

Великопостный звон тоскливо гудел над дровяными складами и тупиками старой Москвы – Москвы восьмидесятых годов прошлого века.

Художник пил водку из рюмки, серой от старости. Ученик Саврасова Левитан – тощий мальчик в заплатанном клетчатом пиджаке и серых коротких брюках – сидел за столом и слушал Саврасова.

– Нету у России своего выразителя, – говорил Саврасов. – Стыдимся мы еще родины, как я с малолетства стыдился своей бабки-побирушки… Тихая была старушенция, все моргала красными глазками, а когда померла, оставила мне икону Сергия Радонежского. Сказала мне напоследок: «Вот, внучек, учись так-то писать, чтобы плакала вся душа от небесной и земной красоты». А на иконе были изображены травы и цветы – самые наши простые цветы, что растут по заброшенным дорогам, и озеро, заросшее осинником. Вот какая оказалась хитрая бабка! Я в то время писал акварели на продажу, носил их на Трубу мелким барышникам. Что писал – совестно припомнить. Пышные дворцы с башнями и пруды с розовыми лебедями. Чепуха и срам. С юности и до старинных лет приходилось мне писать совсем не то, к чему лежала душа.

Мальчик застенчиво молчал. Саврасов зажег керосиновую лампу. В комнате соседа скорняка защелкала и запела канарейка.

Саврасов нерешительно отодвинул пустую рюмку.

– Сколько я написал видов Петергофа и Ораниенбаума – не сосчитать, не перечислить. Мы, нищие, благоговели перед великолепием. Мечты создателей этих дворцов и садов приводили нас в трепет. Куда нам после этого было заметить и полюбить мокрые наши поля, косые избы, перелески да низенькое небо. Куда нам!

Саврасов махнул рукой и налил еще рюмку. Он долго вертел ее сухими пальцами. Водка вздрагивала от грохота кованых дрог, проезжавших по улице. Саврасов воровато выпил.

– Работает же во Франции, – сказал он, поперхнувшись, – замечательный мастер Коро. Смог же он найти прелесть в туманах и серых небесах, в пустынных водах. И какую прелесть! А мы… Слепые мы, что ли, глаз у нас не радуется свету. Филины мы, филины ночные, – сказал он со злобой и встал. – Куриная слепота, чепуха и срам!

Левитан понял, что пора уходить. Хотелось есть, но полупьяный Саврасов в пылу разговора забыл напоить ученика чаем.

Левитан вышел. Перемешивая снег с водой, шли около подвод и бранились ломовые извозчики. На бульварах хлопья снега цеплялись за голые сучья деревьев. Из трактиров, как из прачечных, било в лицо паром.

Левитан нашел в кармане тридцать копеек – подарок товарищей по Училищу живописи и ваяния, изредка собиравших ему на бедность, – и вошел в трактир. Машина звенела колокольцами и играла «На Старой Калужской дороге». Мятый половой, пробегая мимо стойки, оскалился и громко сказал хозяину:

– Еврейчику порцию колбасы с ситным.

Левитан – нищий и голодный мальчик, внук раввина из местечка Кибарты Ковенской губернии, – сидел, сгорбившись, за столом в московском трактире и вспоминал картины Коро. Замызганные люди шумели вокруг, ныли слезные песни, дымили едкой махоркой и со свистом тянули желтый кипяток с обсосанных блюдец. Мокрый снег налипал на черные стекла, и нехотя перезванивали колокола.

Левитан сидел долго, – спешить ему было некуда. Ночевал он в холодных классах училища на Мясницкой, прятался там от сторожа, прозванного «Нечистая сила». Единственный родной человек – сестра, жившая по чужим людям, изредка кормила его и штопала старый пиджак. Зачем отец приехал из местечка в Москву, почему в Москве и он и мать так скоро умерли, оставив Левитана с сестрой на улице, – мальчик не понимал. Жить в Москве было трудно, одиноко, особенно ему, еврею.

– Еврейчику еще порцию ситного, – сказал хозяину половой с болтающимися, как у петрушки, ногами, – видать, ихний бог его плохо кормит.

Левитан низко наклонил голову. Ему хотелось плакать и спать. От теплоты сильно болели ноги. А ночь все лепила и лепила на окна пласты водянистого мартовского снега.

В 1879 году полиция выселила Левитана из Москвы в дачную местность Салтыковку. Вышел царский указ, запрещавший евреям жить в «исконной русской столице». Левитану было в то время восемнадцать лет.

Лето в Салтыковке Левитан вспоминал потом как самое трудное в жизни. Стояла тяжелая жара. Почти каждый день небо обкладывали грозы, ворчал гром, шумел от ветра сухой бурьян под окнами, но не выпадало ни капли дождя.

Особенно томительны были сумерки. На балконе соседней дачи зажигали свет. Ночные бабочки тучами бились о ламповые стекла. На крокетной площадке стучали шары. Гимназисты и девушки дурачились и ссорились, доигрывая партию, а потом, поздним вечером, женский голос пел в саду печальный романс:

Мой голос для тебя и ласковый, и томный…

То было время, когда стихи Полонского, Майкова и Апухтина были известны лучше, чем простые пушкинские напевы, и Левитан даже не знал, что слова этого романса принадлежали Пушкину.

Он слушал по вечерам из-за забора пение незнакомки и запомнил еще один романс о том, как «рыдала любовь».

Ему хотелось увидеть женщину, певшую так звонко и печально, увидеть девушек, игравших в крокет, и гимназистов, загонявших с победными воплями деревянные шары к самому полотну железной дороги. Ему хотелось пить на балконе чай из чистых стаканов, трогать ложечкой ломтик лимона, долго ждать, пока стечет с той же ложечки прозрачная нить абрикосового варенья. Ему хотелось хохотать и дурачиться, играть в горелки, петь до полночи, носиться на гигантских шагах и слушать взволнованный шепот гимназистов о писателе Гаршине, написавшем рассказ «Четыре дня», запрещенный цензурой. Ему хотелось смотреть в глаза поющей женщины, – глаза поющих всегда полузакрыты и полны печальной прелести.

Но Левитан был беден, почти нищ. Клетчатый пиджак протерся вконец. Юноша вырос из него. Руки, измазанные масляной краской, торчали из рукавов, как птичьи лапы. Все лето Левитан ходил босиком. Куда было в таком наряде появляться перед веселыми дачниками!

И Левитан скрывался. Он брал лодку, заплывал на ней в тростники на дачном пруду и писал этюды, – в лодке ему никто не мешал.

Писать этюды в лесу или в полях было опаснее. Здесь можно было натолкнуться на яркий зонтик щеголихи, читающей в тени берез книжку модного тогда писателя Альбова, или на гувернантку, кудахчущую над выводком детей. А никто не умел презирать бедность так обидно, как гувернантки.

Левитан прятался от дачников, тосковал по ночной певунье и писал этюды. Он совсем забыл о том, что у себя, в Училище живописи и ваяния, Саврасов прочил ему славу Коро, а товарищи – братья Коровины и Николай Чехов – всякий раз затевали над его картинами споры о прелести настоящего

русского пейзажа. Будущая слава Коро тонула без остатка в обиде на жизнь, на драные локти и протертые подметки.

Левитан в то лето много писал на воздухе. Так велел Саврасов. Как-то весной Саврасов пришел в мастерскую на Мясницкой пьяный, в сердцах выбил пыльное окно и поранил руку.

– Что пишете! – кричал он плачущим голосом, вытирая грязным носовым платком кровь. – Табачный дым? Навоз? Серую кашу?

За разбитым окном неслись облака, солнце жаркими пятнами лежало на куполах, и летал обильный пух от одуванчиков, – в ту пору все московские дворы зарастали одуванчиками.

– Солнце гоните на холст! – кричал Саврасов, а в дверь уже неодобрительно поглядывал старый сторож – «Нечистая сила». – Весеннюю теплынь прозевали! Снег таял, бежал по оврагам холодной водой, – почему не видел я этого на ваших этюдах? Липы распускались, дожди были такие, будто не вода, а серебро лилось с неба, – где все это на ваших холстах? Срам и чепуха!

Со времени этого жестокого разноса Левитан начал работать на воздухе. Вначале ему было трудно привыкнуть к новому ощущению красок. То, что в прокуренных комнатах представлялось ярким и чистым, на воздухе непонятным образом жухло, покрывалось мутным налетом.

Левитан стремился писать так, чтобы на картинах его был ощутим воздух, обнимающий своей прозрачностью каждую травинку, каждый лист и стог сена. Все вокруг казалось погруженным в нечто спокойное, синеющее и блестящее. Левитан называл это нечто воздухом. Но это был не тот воздух, каким он представляется нам. Мы дышим им, мы чувствуем его запах, холод или теплоту. Левитан же ощущал его как безграничную среду прозрачного вещества, которое придавало такую пленительную мягкость его полотнам.

Лето кончилось. Все реже был слышен голос незнакомки. Как-то в сумерки Левитан встретил у калитки своего дома молодую женщину. Ее узкие руки белели из-под черных кружев. Кружевами были оторочены рукава платья. Мягкая туча закрыла небо. Шел редкий дождь. По-осеннему горько пахли цветы в палисадниках. На железнодорожных стрелках зажгли фонари.

Незнакомка стояла у калитки и пыталась раскрыть маленький зонтик, но он не раскрывался. Наконец он подался, и дождь зашуршал по его шелковому верху. Незнакомка медленно пошла к станции. Левитан не видел ее лица, – оно было закрыто зонтиком. Она тоже не видела лица Левитана,

она заметила только его босые грязные ноги и подняла зонтик, чтобы не зацепить Левитана. В неверном свете он различил бледное лицо. Оно показалось ему знакомым и красивым.

Левитан вернулся в свою каморку и лег. Чадила свеча, гудел дождь, на станции рыдали пьяные. Тоска по материнской, сестринской, женской любви вошла с тех пор в сердце и не покидала Левитана до последних дней его жизни.

Этой же осенью Левитан написал «Осенний день в Сокольниках». Это была первая его картина, где серая и золотая осень, печальная, как тогдашняя русская жизнь, как жизнь самого Левитана, дышала с холста осторожной теплотой и щемила у зрителей сердце.

По дорожке Сокольнического парка, по ворохам опавшей листвы шла молодая женщина в черном – та незнакомка, чей голос Левитан никак не мог забыть. «Мой голос для тебя и ласковый, и томный…» Она была одна среди осенней рощи, и это одиночество окружало ее ощущением грусти и задумчивости.

«Осенний день в Сокольниках» – единственный пейзаж Левитана, где присутствует человек, и то фигуру человека написал Николай Чехов. После этого люди ни разу не появлялись на полотнах Левитана. Их заменили леса и пажити, туманные разливы и нищие избы России, безгласные и одинокие.

Годы учения в Училище живописи и ваяния окончились. Левитан написал последнюю, дипломную работу – облачный день, поле, копны сжатого хлеба.

Саврасов мельком взглянул на картину и написал мелом на изнанке: «Большая серебряная медаль».

Преподаватели училища побаивались Саврасова. Вечно пьяный, задиристый, он вел себя с учениками, как с равными, а напившись, ниспровергал все, кричал о бесталанности большинства признанных художников и требовал на холстах воздуха, простора, света.

Неприязнь к Саврасову преподаватели переносили на его любимого ученика – Левитана. Кроме того, талантливый еврейский мальчик раздражал иных преподавателей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться русского пейзажа, – это было делом коренных русских художников. Картина была признана недостойной медали. Левитан не получил звания художника, ему дали всего лишь диплом учителя чистописания.

С этим жалким дипломом вышел в жизнь один из тончайших художников своего времени, будущий друг Чехова, первый и еще робкий певец русской природы.

На сарае в деревушке Максимовке, где летом жил Левитан, братья Чеховы повесили вывеску: «Ссудная касса купца Исаака Левитана».

Мечты о беззаботной жизни наконец сбылись. Левитан сдружился с художником Николаем Чеховым, подружился с чеховской семьей и прожил три лета рядом с нею. В то время Чеховы проводили каждое лето в селе Бабкине около Нового Иерусалима.

Семья Чеховых была талантливой, шумной и насмешливой. Дурачествам не было конца. Каждый пустяк, даже ловля карасей или прогулка в лес по грибы, разрастался в веселое событие. С утра за чайным столом уже начинались невероятные рассказы, выдумки, хохот. Он не затихал до позднего вечера. Каждая забавная человеческая черта или смешное слово подхватывались всеми и служили толчком для шуток и мистификации.

Больше всех доставалось Левитану. Его постоянно обвиняли во всяческих смехотворных преступлениях и, наконец, устроили над ним суд. Антон Чехов, загримированный прокурором, произнес обвинительную речь. Слушатели падали со стульев от хохота. Николай Чехов изображал дурака-свидетеля. Он давал сбивчивые показания, путал, пугался и был похож на чеховского мужичка из рассказа «Злоумышленник», – того, что отвинтил от рельсов гайку, чтобы сделать грузило на шелеспера. Александр Чехов – защитник – пропел высокопарную актерскую речь.

Особенно попадало Левитану за его красивое арабское лицо. В своих письмах Чехов часто упоминал о красоте Левитана. «Я приеду к вам, красивый, как Левитан», – писал он. «Он был томный, как Левитан».

Но имя Левитана стало выразителем не только мужской красоты, но и особой прелести русского пейзажа. Чехов придумал слово «левитанистый» и употреблял его очень метко.

«Природа здесь гораздо левитанистее, чем у вас», – писал он в одном из писем. Даже картины самого Левитана различались, – одни были более левитанистыми, чем другие.

Вначале это казалось шуткой, но со временем стало ясно, что в этом веселом слове заключен точный смысл – оно выражало собою то особое обаяние пейзажа средней России, которое из всех тогдашних художников умел передавать на полотне один Левитан.

Иногда на лугу около бабкинского дома происходили странные вещи. На закате на луг выезжал на старом осле Левитан, одетый бедуином. Он слезал с осла, садился на корточки и начинал молиться, обратясь лицом на восток. Он подымал руки кверху, жалобно пел и кланялся в сторону

Мекки. То был мусульманский намаз.

В кустах сидел Антон Чехов со старой берданкой, заряженной бумагой и тряпками. Он хищно целился в Левитана и спускал курок. Тучи дыма разлетались над лугом. В реке отчаянно квакали лягушки. Левитан с пронзительным воплем падал на землю, изображая убитого. Его клали на носилки, надевали на руки старые валенки и начинали обносить вокруг парка. Хор Чеховых пел на унылые похоронные распевы всякий вздор, приходивший в голову. Левитан трясся от смеха, потом не выдерживал, вскакивал и удирал в дом.

На рассвете Левитан уходил с Антоном Павловичем удить рыбу на Истру. Для рыбной ловли выбирали обрывистые берега, заросшие кустарником, тихие омуты, где цвели кувшинки и в теплой воде стаями ходили красноперки. Левитан шепотом читал стихи Тютчева. Чехов делал страшные глаза и ругался тоже шепотом, – у него клевало, а стихи пугали осторожную рыбу.

То, о чем Левитан мечтал еще в Салтыковке, случилось, – игры в горелки, сумерки, когда над зарослями деревенского сада висит тонкий месяц, яростные споры за вечерним чаем, улыбки и смущение молодых женщин, их ласковые слова, милые ссоры, дрожание звезд над рощами, крики птиц, скрип телег в ночных полях, близость талантливых друзей, близость заслуженной славы, ощущение легкости в теле и сердце.

Несмотря на жизнь, полную летней прелести, Левитан много работал. Стены его сарая – бывшего курятника – были сверху донизу завешаны этюдами. В них на первый взгляд не было ничего нового – те же знакомые всем извилистые дороги, что теряются за косогорами, перелески, дали, светлый месяц над околицами деревень, тропки, протоптанные лаптями среди полей, облака и ленивые реки.

Знакомый мир возникал на холстах, но было в нем что-то свое, не передаваемое скупыми человеческими словами. Картины Левитана вызывали такую же боль, как воспоминания о страшно далеком, но всегда заманчивом детстве.

Левитан был художником печального пейзажа. Пейзаж печален всегда, когда печален человек. Веками русская литература и живопись говорили о скучном небе, тощих полях, кособоких избах. «Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые – как слезы первые любви!»

Из рода в род человек смотрел на природу мутными от голода глазами. Она казалась ему такой же горькой, как его судьба, как краюха черного мокрого хлеба. Голодному даже блистающее небо тропиков покажется неприветливым.

Так вырабатывался устойчивый яд уныния. Он глушил все,

лишал краски их яркости, игры, нарядности. Мягкая разнообразная природа России долгое время считалась слезливой и хмурой. Художники и писатели лгали на нее, не сознавая этого.

Левитан был выходцем из гетто, лишенного прав и будущего, выходцем из Западного края – страны захудалых еврейских местечек, чахоточных ремесленников, черных синагог, тесноты и скудности.

Бесправие преследовало Левитана всю жизнь. В 1892 году его вторично выслали из Москвы, хотя он уже был художником со всероссийской славой. Ему пришлось скрываться во Владимирской губернии, пока друзья не добились отмены высылки.

Левитан был безрадостен, как безрадостна была история его народа, его предков. Он дурачился в Бабкине, увлекался девушками и красками, но где-то в глубине сознания постоянно жила мысль, что он парий, отверженный, сын расы, испытавшей унизительные гонения.

Иногда эта мысль целиком завладевала Левитаном. Тогда начинались приступы болезненной хандры. Она усиливалась от недовольства своими работами, от сознания, что рука не в силах передать в красках то, что давно уже создало его свободное воображение.

Когда приходила хандра, Левитан бежал от людей. Они казались ему врагами. Он становился груб, дерзок, нетерпим. Он со злобой соскабливал краски со своих картин, прятался, уходил с собакой Вестой на охоту, но не охотился, а без цели бродил по лесам. В такие дни одна только природа заменяла ему родного человека, – она утешала, проводила ветром по лбу, как материнской рукой. Ночью поля были безмолвны, – Левитан отдыхал такими ночами от человеческой глупости и любопытства.

Два раза во время припадков хандры Левитан стрелялся, но остался жив. Оба раза спасал его Чехов.

Хандра проходила. Левитан возвращался к людям, снова писал, любил, верил, запутывался в сложности человеческих отношений, пока его не настигал новый удар хандры.

Чехов считал, что левитановская тоска была началом психической болезни. Но это была, пожалуй, неизлечимая болезнь каждого требовательного к себе и к жизни большого человека.

Все написанное казалось беспомощным. За красками, наложенными на полотно, Левитан видел другие – более чистые и густые. Из этих красок, а не из фабричной киновари, кобальта

и кадмия он хотел создать пейзаж России – прозрачный, как сентябрьский воздух, праздничный, как роща во время листопада.

Но душевная угрюмость держала его за руки во время работы. Левитан долго не мог, не умел писать светло и прозрачно. Тусклый свет лежал на холстах, краски хмурились. Он никак не мог заставить их улыбаться.

В 1886 году Левитан впервые уехал из Москвы на юг, в Крым.

В Москве он всю зиму писал декорации для оперного театра, и эта работа не прошла для него бесследно. Он начал смелее обращаться с красками. Мазок стал свободнее. Появились первые признаки еще одной черты, присущей подлинному мастеру, – признаки дерзости в обращении с материалами. Свойство это необходимо всем, кто работает над воплощением своих мыслей и образов. Писателю необходима смелость в обращении со словами и запасом своих наблюдений, скульптору – с глиной и мрамором, художнику – с красками и линиями.

Самое ценное, что Левитан узнал на юге, – это чистые краски. Время, проведенное в Крыму, представлялось ему непрерывным утром, когда воздух, отстоявшийся за ночь, как вода в гигантских водоемах горных долин, так чист, что издалека видна роса, стекающая с листьев, и за десятки миль белеет пена волн, идущих к каменистым берегам.

Необъятные просторы воздуха лежали над южной землей, сообщая краскам резкость и выпуклость.

На юге Левитан ощутил с полной ясностью, что только солнце властвует над красками. Величайшая живописная сила заключена в солнечном свете, и вся кажущаяся серость русской природы хороша лишь потому, что является тем же солнечным светом, но приглушенным, прошедшим через слои влажного воздуха и тонкую пелену облаков.

Солнце и черный свет несовместимы. Черный цвет – это не краска, это труп краски. Левитан сознавал это и после поездки в Крым решил изгнать со своих холстов темные тона. Правда, это не всегда ему удавалось.

Так началась длившаяся много лет борьба за свет.

В это время во Франции Ван Гог работал над передачей на полотне солнечного огня, превращавшего в багровое золото виноградники Арля. Примерно в то же время Моне изучал солнечный свет на стенах Реймского собора. Его поражало, что световая дымка придавала громаде собора невесомость. Казалось, что собор выстроен не из камня, а из разнообразно и бледно окрашенных воздушных масс. Надо было подойти

к нему вплотную и провести рукой по камню, чтобы вернуться к действительности.

Левитан работал еще робко. Французы же работали смело, упорно. Им помогало чувство личной свободы, культурные традиции, умная товарищеская среда. Левитан был лишен всего этого.

Со времени поездки на юг к обычной хандре Левитана присоединилось еще постоянное воспоминание о сухих и четких красках, о солнце, превращавшем в праздник каждый незначительный день человеческой жизни.

В Москве солнца не было. Левитан жил в меблированных комнатах «Англия» на Тверской. Город за ночь так густо заволакивало холодным туманом, что за короткий зимний день он не успевал поредеть. В номере горела керосиновая лампа. Желтый свет смешивался с темнотой промозглого дня и покрывал грязными пятнами лица людей и начатые холсты.

Снова, но уже ненадолго, вернулась нужда. Хозяйке за комнату приходилось платить не деньгами, а этюдами.

Тяжелый стыд охватывал Левитана, когда хозяйка надевала пенсне и рассматривала «картинки», чтобы выбрать самую ходкую. Поразительнее всего было то, что ворчание хозяйки совпадало со статьями газетных критиков.

– Мосье Левитан, – говорила хозяйка, – почему вы не нарисуете на этом лугу породистую корову, а здесь под липой не посадите парочку влюбленных? Это было бы приятно для глаза.

Критики писали примерно то же. Они требовали, чтобы Левитан оживил пейзаж стадами гусей, лошадьми, фигурами пастухов и женщин.

Критики требовали гусей, Левитан же думал о великолепном солнце, которое рано или поздно должно было затопить Россию на его полотнах и придать каждой березе весомость и блеск драгоценного металла.

После Крыма в жизнь Левитана надолго и крепко вошла Волга.

Первая поездка на Волгу была неудачна. Моросили дожди, волжская вода помутнела. Ветер гнал по ней короткие скучные волны. От надоедливого дождя слезились окна избы в деревне на берегу Волги, где поселился Левитан, туманились дали, все вокруг съела серая краска.

Левитан страдал от холода, от скользкой глины волжских берегов, от невозможности писать на воздухе.

Началась бессонница. Старуха хозяйка храпела

за перегородкой, и Левитан завидовал ей и писал об этой зависти Чехову. Дождь барабанил по крыше, и каждые полчаса Левитан зажигал спичку и смотрел на часы.

Рассвет затерялся в непроглядных ночных пустошах, где хозяйничал неприветливый ветер. Левитана охватывал страх. Ему казалось, что ночь будет длиться неделями, что он сослан в эту грязную деревушку и обречен всю жизнь слушать, как хлещут по бревенчатой стене мокрые ветки берез.

Иногда он выходил ночью на порог, и ветки больно били его по лицу и рукам. Левитан злился, закуривал папиросу, но тотчас же бросал ее, – кислый табачный дым сводил челюсти.

На Волге был слышен упорный стук пароходных колес, – буксир, моргая желтыми фонарями, тащил вверх, в Рыбинск, вонючие баржи.

Великая река казалась Левитану преддверием хмурого ада. Рассвет не приносил облегчения. Тучи, бестолково теснясь, неслись с северо-запада, волоча по земле водянистые подолы дождей. Ветер свистел в кривых окнах, от него краснели и мерзли руки. Тараканы разбегались из ящика с красками.

У Левитана не было психической выносливости. Он приходил в отчаяние от несоответствия между тем, чего он ожидал, и тем, что видел в действительности. Он хотел солнца, – солнце не показывалось; Левитан слеп от бешенства и первое время даже не замечал прекрасных оттенков серого и сизого цвета, свойственных ненастью.

Но в конце концов художник победил неврастеника. Левитан увидел прелесть дождей и создал свои знаменитые «дождливые работы»: «После дождя» и «Над вечным покоем».

Картину «После дождя» Левитан написал за четыре часа. Тучи и оловянный цвет волжской воды создали мягкое освещение. Оно могло исчезнуть каждую минуту. Левитан торопился.

Картины Левитана требуют медленного рассматривания. Они не ошеломляют глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рассказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все милее становится тишина провинциальных посадов, знакомых рек и проселков.

В картине «После дождя» заключена вся прелесть дождливых сумерек в приволжском городке. Блестят лужи. Облака уходят за Волгу, как низкий дым. Пар из пароходных труб ложится на воду. Баржи у берега почернели от сырости.

В такие летние сумерки хорошо войти в сухие сени, в низкие комнаты с только что вымытыми полами, где уже горят лампы и за открытыми окнами шумит от падающих капель и дико пахнет заброшенный сад. Хорошо слушать игру на старом рояле.

Его ослабевшие струны звенят, как гитара. Темный фикус стоит в кадке рядом с роялем. Гимназистка сидит в кресле, поджав ноги, и читает Тургенева. Старый кот бродит по комнатам, и ухо у него нервно вздрагивает, – он слушает, не застучат ли в кухне ножи.

С улицы пахнет рогожами. Завтра – ярмарка, и на Соборную площадь съезжаются телеги. Пароход уходит вниз по реке, догоняет дождевую тучу, закрывавшую полнеба. Гимназистка глядит вслед пароходу, и глаза ее делаются туманными, большими. Пароход идет к низовым городам, где театры, книги, заманчивые встречи.

А вокруг городка день и ночь мокнут растрепанные ржаные поля.

В картине «Над вечным покоем» поэзия ненастного дня выражена с еще большей силой. Картина была написана на берегу озера Удомли в Тверской губернии.

С косогора, где темные березы гнутся под порывистым ветром и стоит среди этих берез почти сгнившая бревенчатая церковушка, открывается даль глухой реки, потемневшие от ненастья луга, громадное облачное небо. Тяжелые тучи, напитанные холодной влагой, висят над землей. Косые холстины дождя закрывают просторы.

Никто из художников до Левитана не передавал с такой печальной силой неизмеримые дали русского ненастья. Оно так спокойно и торжественно, что ощущается как величие.

Вторая поездка на Волгу была удачнее первой. Левитан поехал не один, а с художницей Кувшинниковой. Многие, да и сам Левитан, считали, что эта трогательно любившая его женщина была описана Чеховым в рассказе «Попрыгунья». Левитан жестоко обиделся на Чехова за этот рассказ. Дружба была нарушена, а примирение шло туго и мучительно. До конца жизни Левитан не мог простить Чехову этого рассказа.

Левитан уехал с Кувшинниковой в Рязань, а оттуда спустился на пароходе вниз по Оке до слободы Чулково. В слободе он решил остановиться.

Солнце садилось в полях за глинистым косогором. Мальчишки гоняли красных от заката голубей. На луговом берегу горели костры, в болотах угрюмо гудели выпи.

На пристани в Чулкове к Левитану подошел низкий старик с вытекшим глазом. Он нетерпеливо потянул Левитана за рукав чесучового пиджака и долго мял шершавыми пальцами материю.

– Тебе чего, дед? – спросил Левитан.

– Суконце, – сказал дед и икнул. – Суконцем охота

полюбоваться. Ишь скрипит, как бабий волос. А это кто, прости господи, жена, что ли? – Дед показал на Кувшинникову. Глаза его стали злыми.

– Жена, – ответил Левитан.

– Та-ак, – зловеще сказал дед и отошел. – Леший вас разберет, что к чему, зачем по свету шляетесь.

Встреча не предвещала ничего хорошего. Когда на следующее утро Левитан с Кувшинниковой сели на косогоре и раскрыли ящики с красками, в деревне началось смятение. Бабы зашмыгали из избы в избу. Мужики, хмурые, с соломой в волосах, распояской, медленно собирались на косогор, садились поодаль, молча смотрели на художников. Мальчишки сопели за спиной, толкали друг друга и переругивались.

Беззубая баба подошла сбоку, долго смотрела на Левитана и вдруг ахнула:

– Господи Сусе Христе, что ж это ты делаешь, охальник?

Мужики зашумели, Левитан сидел бледный, но сдержался и решил отшутиться.

– Не гляди, старая, – сказал он бабе, – глаза лопнут.

– У-у-у, бесстыжий! – крикнула баба, высморкалась в подол и пошла к мужикам. Там уже трясся, опираясь на посох, слезливый монашек, неведомо откуда забредший в Чулково и прижившийся при тамошней церкви.

– Лихие люди! – выкрикивал он вполголоса. – Чего делают – непонятно. Планы с божьих лугов снимают. Не миновать пожару, мужички, не миновать бяды.

– Сход! – крикнул старик с вытекшим глазом. – Нету у нас заведения картинки с бабами рисовать! Сход!

Пришлось собрать краски и уйти.

В тот же день Левитан с Кувшинниковой уехали из слободы. Когда они шли к пристани, около церкви гудел бестолковый сход и были слышны визгливые выкрики монашка:

– Лихие люди. Некрещеные. Баба с непокрытой головой ходит.

Кувшинникова не носила ни шляпы, ни платка.

Левитан спустился по Оке до Нижнего и там пересел на пароход до Рыбинска. Все дни он с Кувшинниковой просиживал на палубе и смотрел на берега – искал места для этюдов.

Но хороших мест не было, Левитан все чаще хмурился и жаловался на усталость. Берега наплывали медленно, однообразно, не радуя глаз ни живописными селами, ни задумчивыми и плавными поворотами.

Наконец в Плесе Левитан увидел с палубы старинную

маленькую церковь, рубленную из сосновых кряжей. Она чернела на зеленом небе, и первая звезда горела над ней, переливаясь и блистая.

В этой церкви, в тишине вечера, в певучих голосах баб, продававших на пристани молоко, Левитану почудилось столько покоя, что он тут же решил остаться в Плесе.

С этого времени начался светлый промежуток в его жизни.

Маленький городок был беззвучен и безлюден. Тишину нарушали только колокольный звон и мычание стада, а по ночам – колотушки сторожей. По уличным косогорам и оврагам цвел репейник и росла лебеда. В домах за кисейными занавесками сушился на подоконниках липовый цвет.

Дни стояли солнечные, устойчивые, сухие. Русское лето, чем ближе к осени, тем больше бывает окрашено в спелые цвета. Уже в августе розовеет листва яблоневых садов, сединой блестят поля, и вечерами над Волгой стоят облака, покрытые жарким румянцем.

Хандра прошла. Было стыдно даже вспоминать о ней.

Каждый день приносил трогательные неожиданности – то подслеповатая старуха, приняв Левитана за нищего, положит ему на ящик с красками стертый пятак, то дети, подталкивая друг друга в спину, попросят нарисовать их, потом прыснут от смеха и разбегутся, то придет тайком молодая соседка-староверка и будет певуче жаловаться на свою тяжелую долю. Ее Левитан прозвал Катериной из «Грозы» Островского. Он решил вместе с Кувшинниковой помочь Катерине бежать из Плеса, от постылой семьи. Бегство обсуждалось в роще за городом. Кувшинникова шепталась с Катериной, а Левитан лежал на краю рощи и предупреждал женщин об опасности тихим свистом. Катерине и впрямь удалось бежать.

До поездки в Плес Левитан любил только русский пейзаж, но народ, населявший эту большую страну, был ему непонятен. Да и кого он знал? Грубого училищного сторожа «Нечистую силу», трактирных половых, наглых коридорных из меблированных комнат, диких чулковских мужиков. Он часто видел злобу, грязь, тупую покорность, презрение к себе, еврею.

До жизни в Плесе он не верил в ласковость народа, в его разум, в способность многое понимать. После Плеса Левитан ощутил свою близость не только к пейзажу России, но и к ее народу – талантливому, обездоленному и как бы притихшему не то перед новой бедой, не то перед великим освобождением.

В эту вторую поездку на Волгу Левитан написал много полотен. Об этих вещах Чехов сказал ему: «На твоих картинах уже

есть улыбка».

Свет и блеск впервые появились у Левитана в его «волжских» работах – в «Золотом Плесе», «Свежем ветре», «Вечернем звоне».

Почти у каждого из нас остались в памяти еще с детства лесные поляны, засыпанные листвой, пышные и печальные уголки родины, что сияют под нежарким солнцем в синеве, в тишине безветренных вод, в криках кочующих птиц.

В зрелом возрасте эти воспоминания возникают с поразительной силой по самому ничтожному поводу, – хотя бы от мимолетного пейзажа, мелькнувшего за окнами вагона, – и вызывают непонятное нам самим чувство волнения и счастья, желание бросить все: города, заботы, привычный круг людей – и уйти в эту глушь, на берега неизвестных озер, на лесные дороги, где каждый звук слышен так ясно и долго, как на горных вершинах, – будь то гудок паровоза или свист птицы, перепархивающей в кустах рябины.

Такое чувство давно виденных милых мест остается от «волжских» и «осенних» картин Левитана.

Жизнь Левитана была бедна событиями. Он мало путешествовал. Он любил только среднюю Россию. Поездки в другие места он считал напрасной тратой времени. Такой показалась ему и поездка за границу.

Он побывал в Финляндии, Франции, Швейцарии и Италии.

Граниты Финляндии, ее черная речная вода, студенистое небо и мрачное море нагоняли тоску. «Вновь я захандрил без меры и границ, – писал Левитан Чехову из Финляндии. – Здесь нет природы».

В Швейцарии его поразили Альпы, но вид этих гор ничем не отличался для Левитана от видов картонных макетов, размалеванных крикливыми красками.

В Италии ему понравилась только Венеция, где воздух полон серебристых оттенков, рожденных тусклыми лагунами.

В Париже Левитан увидел картины Моне, но не запомнил их. Только перед смертью он оценил живопись импрессионистов, понял, что он сам отчасти был их русским предшественником, – и впервые с признанием упомянул их имена.

Последние годы жизни Левитан проводил много времени около Вышнего Волочка на берегах озера Удомли. Там, в семье помещиков Панафидиных, он опять попал в путаницу человеческих отношений, стрелялся, но его спасли…

Чем ближе к зрелости, тем чаще мысль Левитана останавливалась на осени.

Правда, Левитан написал несколько превосходных весенних

вещей, но почти всегда это была весна, похожая на осень.

В «Большой воде» затопленная разливом роща обнажена, как поздней осенью, и даже не покрылась еще зеленоватым дымом первой листвы. В «Ранней весне» черная глубокая река мертво стоит среди оврагов, еще покрытых рыхлым снегом, и только в картине «Март» передана настоящая весенняя яркость неба над тающими сугробами, желтый солнечный свет и стеклянный блеск талой воды, каплющей с крыльца деревянного дома.

Самые мягкие и трогательные стихи, книги и картины написаны русскими поэтами, писателями и художниками об осени.

Левитан, так же как Пушкин, Тютчев и многие другие, ждал осени, как самого дорогого и мимолетного времени года.

Осень снимала с лесов, с полей, со всей природы густые цвета, смывала дождями зелень. Рощи делались сквозными. Темные краски лета сменялись робким золотом, пурпуром и серебром. Изменялся не только цвет земли, но и самый воздух. Он делался чище, холоднее, и дали были гораздо глубже, чем летом. Так у великих мастеров литературы и живописи юношеская пышность красок и нарядность языка сменяется в зрелом возрасте строгостью и благородством.

Осень на картинах Левитана очень разнообразна. Невозможно перечислить все осенние дни, нанесенные им на полотно. Левитан оставил около ста «осенних» картин, не считая этюдов.

На них были изображены знакомые с детства вещи: стога сена, почернелые от сырости; маленькие реки, кружащие в медленных водоворотах палую листву; одинокие золотые березы, еще не обитые ветром; небо, похожее на тонкий лед; косматые дожди над лесными порубками. Но во всех этих пейзажах, что бы они ни изображали, лучше всего передана печаль прощальных дней, сыплющихся листьев, увядающих трав, тихого гудения пчел перед холодами и предзимнего солнца, едва заметно прогревающего землю.

Исподволь, из года в год, у Левитана развивалась тяжелая сердечная болезнь, но ни он, ни близкие ему люди не знали о ней, пока она не дала первой бурной вспышки.

Левитан не лечился. Он боялся идти к врачам, боялся услышать смертный приговор. Врачи, конечно, запретили бы Левитану общаться с природой, а это для него было равносильно смерти.

Левитан тосковал еще больше, чем в молодые годы. Все чаще

он уходил в леса, – жил он в лето перед смертью около Звенигорода, – и там его находили плачущим и растерянным. Он знал, что ничто – ни врачи, ни спокойная жизнь, ни исступленно любимая им природа не могли отдалить приближавшийся конец.

Зимой 1899 года врачи послали Левитана в Ялту.

В то время в Ялте жил Чехов. Старые друзья встретились постаревшими, отчужденными. Левитан ходил, тяжело опираясь на палку, задыхался, всем говорил о близкой смерти. Он боялся ее и не скрывал этого. Сердце болело почти непрерывно.

Чехов тосковал по Москве, по северу. Несмотря на то что море, по его собственным словам, было «большое», оно суживало мир. Кроме моря и зимней тихой Ялты, казалось, ничего не оставалось в жизни. Где-то очень далеко за Харьковом, за Курском и Орлом лежал снег, огни нищих деревень мигали сослепу в седую метель; она казалась милой и близкой сердцу, гораздо ближе беклиновских кипарисов и сладкого приморского воздуха. От этого воздуха часто болела голова. Милым казалось все: и леса, и речушки – всякие Пехорки и Вертушинки, и стога сена в пустынных вечерних полях, одинокие, освещенные мутной луной, как будто навсегда позабытые человеком.

Больной Левитан попросил у Чехова кусок картона и за полчаса набросал на нем масляными красками вечернее поле со стогами сена. Этот этюд Чехов вставил в камин около письменного стола и часто смотрел на него во время работы.

Зима в Ялте была сухая, солнечная, с моря дули тепловатые ветры. Левитан вспомнил свою первую поездку в Крым, и ему захотелось в горы. Его преследовало воспоминание об этой поездке, когда с вершины Ай-Петри он увидел у своих ног пустынное облачное небо. Над головой висело солнце, – здесь оно казалось гораздо ближе к земле, и желтоватый его свет бросал точные тени. Облачное небо дымилось внизу в пропастях и медленно подползало к ногам Левитана, закрывая сосновые леса.

Небо двигалось снизу, и это пугало Левитана так же, как пугала никогда не слыханная горная тишина. Изредка ее нарушал только шорох осыпи. Шифер сползал с откоса и раскачивал сухую колючую траву.

Левитану хотелось в горы, он просил отвезти его на Ай-Петри, но ему в этом отказали – разреженный горный воздух мог оказаться для него смертельным.

Ялта не помогла. Левитан вернулся в Москву. Он почти не выходил из своего дома в Трехсвятительском переулке.

Двадцать второго июля 1900 года он умер. Были поздние

сумерки, когда первая звезда появляется над Москвой на страшной высоте и листва деревьев погружена в желтую пыль и в отсветы гаснущего солнца.

Лето было очень поздним. В июле еще доцветала сирень. Ее тяжелые заросли заполняли весь палисадник около дома. Запах листвы, сирени и масляных красок стоял в мастерской, где умирал Левитан, запах, всю жизнь преследовавший художника, передавшего на полотне печаль русской природы, – той природы, что так же, как и человек, казалось, ждала иных, радостных дней.

Эти дни пришли очень скоро после смерти Левитана, и его ученики смогли увидеть то, чего не видел учитель, – новую страну, чей пейзаж стал иным потому, что стал иным человек, наше щедрое солнце, величие наших просторов, чистоту неба и блеск незнакомых Левитану праздничных красок.

Левитан не видел этого потому, что пейзаж радостен только тогда, когда свободен и весел человек.

Левитану хотелось смеяться, но он не мог перенести на свои холсты даже слабую улыбку.

Он был слишком честен, чтобы не видеть народных страданий. Он стал певцом громадной нищей страны, певцом ее природы. Он смотрел на эту природу глазами измученного народа, – в этом его художественная сила и в этом отчасти лежит разгадка его обаяния.

Рождение рассказа

Подмосковный зимний денек все задремывал, никак не мог проснуться после затянувшейся ночи. Кое-где на дачах горели лампы. Перепадал снег.

Писатель Муравьев вышел на площадку вагона, открыл наружную дверь и долго смотрел на проносившуюся мимо поезда зиму.

Это была, пожалуй, не зима, а то, что называют «зимкой», – пасмурный день, когда порывами набегает сырой ветер, вот-вот начнется оттепель и полетят с оттаявших веток первые капли. В такие дни в лесных оврагах уже осторожно позванивают подо льдом родники. Они несут вместе с водой много воздушных пузырей. Пузыри торопливо бегут серебряными вереницами, цепляются за вялые подводные травы. И какой-нибудь серый снегирь с розовой грудкой крепко сидит на ветке над родником, смотрит одним глазом на пробегающие пузыри, попискивает и встряхивается от снега. Значит, скоро весна!

Бывают дни, когда жизнь представляется нам особенно ясной

и слаженной. Так было сейчас с Муравьевым.

В старые времена литераторы любили обращаться к читателю со всякого рода вопросами.

«Почему бы, – подумал Муравьев, – современным писателям не воспользоваться иногда этим добродушным приемом? Почему бы, например, не начать рассказ так:

«Знакомо ли вам, любезный читатель, чувство неизбежного счастья, которое завладевает человеком внезапно и без всякой причины? Вы идете по улице, и у вас вдруг начинает громко колотиться сердце от уверенности, что вот сейчас случилось на земле нечто замечательное. Бывало ли с вами так? Конечно, бывало. Искали ли вы причину этого состояния? Навряд ли. Но даже если предчувствие счастья вас и обманывало, то в нем самом было столько силы, что оно помогало вам жить».

«Искать и находить причины неясных, но плодотворных человеческих состояний – дело писателей, – подумал Муравьев. – Это одна из областей нашего труда».

Труд! Все вокруг сейчас было полно им. В пару и грохоте проносились навстречу тысячетонные товарные поезда. Это был труд. Самолет низко шел, гудя, над снежной равниной. Это тоже был труд. Стальные мачты электропередачи, обросшие инеем, уносили во мглу мощный ток. И это был труд.

«Ради чего работает многомиллионная, покрытая сейчас снегом, великая страна? – подумал Муравьев. – Ради чего, наконец, работаю я?

Ради жизни? Ради высоких духовных ценностей? Ради того, чтобы человек был прекрасен, прост и умен? Ради того, наконец, чтобы любовь наполняла наши дни своим чистым дыханием? Да, ради этого!

Пушкин спрашивал в своих поющих стихах: «Кто на снегах возрастил Феокритовы нежные розы? В веке железном, скажи, кто золотой угадал?»

– Конечно, мы, – ответил самому себе Муравьев. Снег залетал на площадку вагона и таял на лице. – Кто же иной, как не мы!»

Муравьев писал для одного из московских журналов рассказ о труде. Он долго бился над этим рассказом, но у него ничего не выходило. Должно быть, потому, что подробное описание труда оттесняло в сторону человека. А без человека рассказ получался нестерпимо скучным. Муравьеву же казалось, что рассказ не клеится из-за суматошной московской жизни – телефонных звонков, всяческих дел, гостей и заседаний.

В конце концов Муравьев рассердился и уехал из города. В одном из подмосковных поселков у его друзей была своя дача.

Муравьев решил поселиться на этой даче и пробыть там до тех пор, пока не окончит рассказ.

На даче жили дальние родственники его друзей, но этих родственников Муравьев никогда не видел.

На Северном вокзале, когда Муравьев шел по перрону к пригородному поезду, у него вдруг глухо забилось сердце и он подумал, что вот, – будет удача в работе. Он даже знал теперь наверное, что она будет, эта удача. Знал по многим точным приметам – по свежести во всем теле, сдержанному своему волнению, по той особой зоркости, с какой он замечал сейчас и запоминал все вокруг, по нетерпеливому желанию скорей добраться до этой незнакомой дачи, чтобы сесть в тишине за стол со стопкой чистой плотной бумаги, наконец по тому обстоятельству, что в памяти у него все время возникали обрывки любимых стихов: «Душа стесняется лирическим волненьем, трепещет и звучит, и ищет, как во сне, излиться, наконец, свободным проявленьем…»

В таком взволнованном состоянии Муравьев вышел из поезда на длинную дачную платформу в сосновом лесу. На платформе никого не было. Только на перилах сидели, нахохлившись, воробьи и недовольно смотрели на поезд. Они даже не посторонились, когда Муравьев прошел рядом с ними и чуть не задел их рукавом. Только один воробей что-то сварливо чирикнул в спину Муравьеву. «Должно быть, обругал меня невежей», – подумал Муравьев, оглянулся на воробья и сказал:

– Подумаешь, – большой барин!

Воробей долго и презрительно смотрел вслед Муравьеву бисерным глазом.

Дача был в трех километрах от платформы. Муравьев шел по пустынной дороге. Иногда среди перелесков открывались поля. Над ними розовело небо.

– Неужели уже закат? – громко сказал Муравьев и поймал себя на том, что здесь, за городом, он начал разговаривать с самим собой.

День быстро иссякал почти без проблесков света. Ни один солнечный луч не прорвался сквозь плотную мглу, не упал на заиндевелые ветки, не поиграл на них бледным огнем и не бросил на снег слабые тени.

Дорога спустилась в овраг, к бревенчатым мостушкам. Под ними бормотал ручей.

– Ага! – с непонятной радостью сказал Муравьев и остановился. В небольшой промоине во льду виднелась бегущая темная вода, а под ней – каменистое дно.

– Откуда ты берешь зимой столько воды, приятель? – спросил

Муравьев.

Ручей, конечно, не ответил. Он продолжал бормотать, то затихая, то повышая голос до звона. Вода отламывала прозрачные льдинки и сталкивала их друг с другом.

Муравьев спустился к ручью и начал отбивать палкой куски льда. Ручей кружил отломанный лед и пенился.

«Надо же все-таки хоть немного помочь весне», – подумал, усмехнувшись над самим собой, Муравьев и оглянулся. На мостушках стояла девушка в синем лыжном костюме и, воткнув палки в снег, внимательно смотрела на Муравьева.

Муравьев смутился. Что подумает о нем эта девушка? «Старый хрыч, а занимается ерундой». Ничего иного она, конечно, подумать не может. Но девушка нагнулась, поспешно отстегнула лыжи и крикнула Муравьеву:

– Погодите! Лучше отламывать лед лыжными палками. У них железные наконечники!

Она сбежала к ручью и протянула Муравьеву лыжную палку. Оказалось, что этой палкой отбивать лед было действительно гораздо легче.

Они ломали лед вдвоем сосредоточенно и молча. Муравьеву стало жарко, он снял варежки. У девушки выбились из-под вязаной шапочки пряди волос.

Потом неведомо откуда появился мальчишка в шапке с торчащими в разные стороны наушниками. Муравьев заметил его, когда он, шмыгая носом, начал толкаться от азарта и путаться под ногами.

– Пожалуй, хватит! – сказал наконец Муравьев и выпрямился.

Густые сумерки уже лежали над землей. «Однако как быстро пролетело время», – подумал Муравьев, взглянул на девушку и рассмеялся. Девушка стряхивала снег с варежек. Она улыбалась ему в ответ, не подымая глаз. Когда выбрались из оврага на лесную дорогу, Муравьев разговорился с девушкой. Мальчишка некоторое время плелся сзади, сопел и тянул носом.

Оказалось, что девушка живет с отцом на той же самой даче, куда шел Муравьев.

– Так это вы, значит, дальняя родственница моих друзей! – обрадованно сказал Муравьев и назвал себя.

Девушка стащила сырую варежку и протянула Муравьеву руку.

– Меня зовут Женей, – сказала она просто. – Мы с папой ждем вас уже второй день. Я вам мешать не буду. Правда, вы не думайте… Завтра у меня последний день каникул. Я уеду в Москву, в свой институт. Вот только папа…

– Что папа? – спросил, насторожившись, Муравьев.

– Он у меня ботаник и страшный говорун, – ответила Женя. – Но вчера он дал честное-пречестное слово, что не будет приставать к вам с разговорами. Не знаю только – выдержит ли? Правда, ведь трудно сдержаться.

– Это почему же? – спросил Муравьев.

Женя шла рядом с Муравьевым. Лыжи она несла на плече и смотрела прямо перед собой. Слабый свет поблескивал у нее в глазах и на отполированных широких отгибах лыж. Муравьев удивился, – откуда взялся этот свет? По всему окружию полей уже залегала на ночь угрюмая темнота. Потом Муравьев заметил, что это был не отблеск снега, как он сразу подумал, а отражение широкого освещенного окна большой двухэтажной дачи. Они к ней уже подходили.

– Да, так почему же трудно удержаться от разговоров? – снова спросил Муравьев.

– Как вам сказать… – неуверенно ответила Женя. – Я понимаю, как строится, например, морской корабль. Или как из-под пальцев у ткачихи выходит тонкое полотно. А вот понять, как пишутся книги, я не могу. И папа этого тоже не понимает.

– Да-а, – протянул Муравьев. – Об этом на ходу не поговоришь.

– А вы не будете об этом писать? – робко спросила Женя, и Муравьев понял, что если бы не застенчивость, то она бы просто попросила его написать об этом. – Ведь пишут же о своем труде другие.

Муравьев остановился, пристально, прищурившись, посмотрел на Женю и вдруг улыбнулся.

– А вы молодец! Как это вы догадались, что я пишу… вернее, собираюсь писать именно об этом, о своем писательском труде?

– Да я и не догадывалась, – испуганно ответила Женя. – Я сказала просто так. Право, мне очень хочется знать, как это вдруг появляются на свет и живут потом целыми столетьями такие люди, как Катюша Маслова или Телегин из «Хождения по мукам». Вот я и спросила.

Но Муравьев уже не слышал ее слов. Решение писать о своем труде пришло сразу. Как он раньше не догадался об этом! Как он мог вяло и холодно писать о том, чего он не знал и чего сам не испытывал. Писать и чувствовать, как костенеет язык и слова уже перестают звучать, вызывать гнев, слезы, раздумия и смех, а бренчат, как пустые жестянки. Какая глупость!

В тот же вечер Муравьев без всякого сожаления бросил в печку, где жарко трещали сухие березовые дрова,

все написанное за последние дни в Москве.

На столе лежала толстая стопка чистой бумаги. Муравьев сел к столу и начал писать на первой странице:

«Старый ботаник – худой, неспокойный и быстрый в движениях человек – рассказывал мне сегодня вечером, как ведут себя растения под снегом, как медленно пробиваются сквозь наст побеги мать-и-мачехи, а над самым снеговым покровом расцветают холодные цветы подснежника. Завтра он обещает повести меня в лес, осторожно снять верхний слой снега на любой поляне и показать мне воочию эти зимние и пока еще бледные цветы.

Я пишу рассказ или очерк – я сам не знаю, как назвать все то, что выходит сейчас из-под моего пера, – о никем еще не исследованном явлении, что носит несколько выспренное название творчества. Я хочу писать о прозе.

Если мы обратимся к лучшим образцам прозы, то убедимся, что они полны подлинной поэзии. И живописности.

Наивные люди, некоторые поэты с водянистыми, полными тусклых мечтаний глазами, до сих пор еще думают, что чем меньше становится тайн на земле, тем скучнее делается наше существование. Это все чепуха! Я утверждаю, что поэзия в огромной степени рождается из познания. Количество поэзии растет в полном соответствии с качеством наших знаний. Чем меньше тайн, чем могущественнее человеческий разум, тем с большей силой он воспринимает и передает другим поэзию нашей земли.

Пример этому – рассказ старого ботаника о зимней жизни растений. Об этом можно написать великолепную поэму. Она должна быть написана такими же холодными и белыми стихами, как подснежные цветы.

Я хочу с самого начала утвердить мысль о том, что источники поэзии и прозы заключаются в двух вещах – в познании и в могучем человеческом воображении.

Познание – это клубень. Из него вырастают невиданные и вечные цветы воображения.

Я прошу извинить меня за это нарядное сравнение, но, мне кажется, пора уже забыть о наших «высококультурных» предрассудках, осуждающих нарядность и многие другие, не менее хорошие вещи. Все дело в том, чтобы применять их к месту и в меру».

Муравьев писал, не останавливаясь. Он боялся отложить перо хотя бы на минуту, чтобы не остановить бег мыслей и слов.

Он писал о своем труде, великолепии и силе русского языка, о великих мастерах слова, о том, что весь мир во всем его удивительном разнообразии должен быть повторен на страницах книг в его полной реальности, но пропущенный сквозь кристалл писательского ума и воображения и потому – более ясный и осознанный, чем в многошумной действительности.

Он писал как одержимый. Он торопился. За окнами в узкой полосе света из его окна косо летел между сосен редкий снег. Он возникал из тьмы и тотчас же пропадал в этой тьме.

«Сейчас за окнами летит по ветру снег, – писал Муравьев. – Пролетают кристаллы воды. Все мы знаем их сложный и великолепный рисунок. Человек, который придумал бы форму таких кристаллов, заслужил бы огромную славу. Но нет ничего более мимолетного и непрочного, чем эти кристаллы. Чтобы разрушить их, достаточно одного детского вздоха.

Природа обладает неслыханной щедростью. Ей не жаль своих сил. Кое-чему нам, людям, в особенности писателям, стоит поучиться и у природы. Прежде всего – этой щедрости. Каждой своей вещи, будь то хотя бы самый маленький рассказ, надо отдавать всего себя, все свои силы без остатка – все лучшее, что есть за душой. Здесь нет места бережливости и расчету.

Надо, как говорят инженеры, открыть все шлюзы. И никогда не бояться того чувства опустошения, которое неизбежно придет, когда работа закончена. Вам будет казаться, что вы больше не сможете написать ни строчки, что вы выжаты досуха, как губка. Это – ложное состояние. Пройдет неделя, и вас снова потянет к бумаге. Снова перед вашим умственным взором зашумит весь мир.

Как морская волна выносит на берег ракушку или осенний лист и снова уходит в море, тихо грохоча галькой, так ваше сознание вынесет и положит перед вами на бумагу первое слово вашей новой работы».

Муравьев писал до утра. Когда он дописывал последние слова, за окнами уже синело. Над сумрачными полями в морозном дыму занимался рассвет.

Было слышно, как внизу гудел в только что затопленной печке огонь и постукивала от тяги чугунная печная дверца.

Муравьев написал последние строки:

«Горький говорил о том, что нельзя писать в пустоту. Работая, надо представлять себе того милого человека, которому ты рассказываешь все лучшее, что накопилось

у тебя на душе и на сердце. Тогда придут сильные и свежие слова.

Будем же благодарны Горькому за этот простой и великий совет».

Утром Муравьев долго умывался холодной водой из ведра. В воде плавали кусочки прозрачного льда.

Еловая лапа висела, согнувшись от снега, за окном маленькой умывальной комнаты. От свежего мохнатого полотенца пахло ветром.

На душе было легко и пусто, – даже как будто что-то позванивало во всем теле.

Днем Муравьев пошел проводить Женю до станции, – она уезжала в Москву, в свой институт.

– Откровенно говоря, – сказал Муравьев Жене, когда они подходили к дощатой платформе в лесу, – мне уже можно возвращаться в Москву. Но я останусь еще на два-три дня. Отдохну.

– Разве у нас вам плохо? – испуганно спросила Женя.

– Нет. У вас тут чудесно. Просто я почти окончил этой ночью свой рассказ.

Муравьев невольно сказал «почти окончил». Ему почему-то стыдно было признаться, что рассказ он написал целиком за одну эту ночь.

Он хотел сказать Жене, что очень торопился, чтобы успеть прочесть ей этот рассказ до ее отъезда в Москву, но не прочел, не решился. Он хотел сказать Жене, что он писал рассказ, думая о ней, что Горький, конечно, прав, что он просто благодарен ей, почти незнакомому человеку, за то, что она живет на свете и вызывает потребность рассказывать ей все хорошее, что он накопил у себя на душе.

Но Муравьев ничего Жене не сказал. Он только крепко пожал ей на прощание руку, посмотрел в ее смущенные глаза и поблагодарил за помощь.

– За какую помощь? – удивилась Женя.

Перед приходом поезда повалил густой снег. Далеко за семафором ликующе и протяжно закричал паровоз. Поезд неожиданно вырвался из снега, как из белой заколдованной страны, и, заскрежетав тормозами, остановился.

Женя последней поднялась на площадку. Она не уходила в вагон, а стояла в дверях – раскрасневшаяся и улыбающаяся – и на прощанье помахала Муравьеву рукой в знакомой зеленой варежке.

Поезд ушел в снег, обволакивая паром леса. Муравьев стоял

на платформе и смотрел ему вслед. И как на Северном вокзале в Москве, снова он почувствовал глухое биение сердца. Снова пришло внезапное ощущение того, что вот сейчас, где-то здесь, рядом, на этой земле, затихшей под легкой на первый взгляд тяжестью летящего снега, случилось что-то очень хорошее, и он, Муравьев, замешан в этом хорошем, как соучастник.

– Хорошо! – сказал Муравьев. – Нельзя жить вдали от молодости!

Муравьев спустился по обледенелой лесенке с платформы и пошел к ручью – докалывать лед. Лыжную палку он захватил с собой.

Зарубежная литература

Проспер Мериме
1803–1870

Маттео Фальконе

Если пойти на северо-запад от Порто-Веккьо, в глубь острова, то местность начнет довольно круто подниматься, и после трехчасовой ходьбы по извилистым тропкам, загроможденным большими обломками скал и кое-где пересеченным оврагами, выйдешь к обширным зарослям *маки. Маки* – родина корсиканских пастухов и всех, кто не в ладах с правосудием. Надо сказать, что корсиканский земледелец, не желая брать на себя труд унавоживать свое поле, выжигает часть леса: не его забота, если огонь распространится дальше, чем это нужно; что бы там ни было, он уверен, что получит хороший урожай на земле, удобренной золой сожженных деревьев. После того как колосья собраны (солому оставляют, так как ее трудно убирать), корни деревьев, оставшиеся в земле нетронутыми, пускают на следующую весну частые побеги; через несколько лет они достигают высоты в семь-восемь футов. Вот эта-то густая поросль и называется *маки*. Она состоит из самых разнообразных деревьев и кустарников, перепутанных как попало. Только с топором в руке человек может проложить в них путь; а бывают *маки* такие густые и непроходимые, что даже муфлоны не могут пробраться сквозь них.

Если вы убили человека, бегите в *маки* Порто-Веккьо, и вы проживете там в безопасности, имея при себе доброе оружие, порох и пули; не забудьте прихватить с собой коричневый плащ с капюшоном – он заменит вам и одеяло и подстилку. Пастухи дадут вам молока, сыра и каштанов, и вам нечего бояться правосудия или родственников убитого, если только не появится необходимость спуститься в город, чтобы пополнить запасы пороха.

Когда в 18… году я посетил Корсику, дом Маттео Фальконе находился в полумиле от этого *маки*. Маттео Фальконе был довольно богатый человек по тамошним местам; он жил честно, то есть ничего не делая, на доходы от своих многочисленных стад, которые пастухи-кочевники пасли в горах, перегоняя с места на место. Когда я увидел его два года спустя после того происшествия, о котором я намереваюсь рассказать, ему нельзя было дать более пятидесяти лет. Представьте себе человека небольшого роста, но крепкого, с вьющимися черными, как смоль,

волосами, орлиным носом, тонкими губами, большими живыми глазами и лицом цвета невыделанной кожи. Меткость, с которой он стрелял из ружья, была необычной даже для этого края, где столько хороших стрелков. Маттео, например, никогда не стрелял в муфлона дробью, но на расстоянии ста двадцати шагов убивал его наповал выстрелом в голову или в лопатку – по своему выбору. Ночью он владел оружием так же свободно, как и днем. Мне рассказывали о таком примере его ловкости, который мог бы показаться неправдоподобным тому, кто не бывал на Корсике. В восьмидесяти шагах от него ставили зажженную свечу за листом прозрачной бумаги величиной с тарелку. Он прицеливался, затем свечу тушили, и спустя минуту в полной темноте он стрелял и три раза из четырех пробивал бумагу.

Такое необыкновенно высокое искусство доставило Маттео Фальконе большую известность. Его считали таким же хорошим другом, как и опасным врагом; впрочем, услужливый для друзей и щедрый к бедным, он жил в мире со всеми в округе Порто-Веккьо. Но о нем рассказывали, что в Корте, откуда он взял себе жену, он жестоко расправился с соперником, который слыл за человека опасного, как на войне, так и в любви; по крайней мере, Маттео приписывали выстрел из ружья, который настиг соперника в ту минуту, когда тот брился перед зеркальцем, висевшим у окна. Когда эту историю замяли, Маттео женился. Его жена Джузеппа родила ему сначала трех дочерей (что приводило его в ярость) и наконец сына, которому он дал имя Фортунато, – надежду семьи и продолжателя рода. Дочери были удачно выданы замуж: в случае чего отец мог рассчитывать на кинжалы и карабины зятьев. Сыну исполнилось только десять лет, но он подавал уже большие надежды.

Однажды ранним осенним утром Маттео с женой отправились в *маки* поглядеть на свои стада, которые паслись на прогалине. Маленький Фортунато хотел идти с ними, но пастбище было слишком далеко, кому-нибудь надо было остаться стеречь дом, и отец не взял его с собой. Из дальнейшего будет видно, как ему пришлось в том раскаяться.

Прошло уже несколько часов, как они ушли; маленький Фортунато спокойно лежал на самом солнцепеке и, глядя на голубые горы, думал, что в будущее воскресенье он пойдет обедать в город к своему дяде caporale, как вдруг его размышления были прерваны ружейным выстрелом. Он вскочил и повернулся в сторону равнины, откуда донесся этот звук. Снова через неравные промежутки времени послышались выстрелы, все ближе и ближе; наконец на тропинке, ведущей от равнины к дому Маттео, показался человек, покрытый лохмотьями,

обросший бородой, в остроконечной шапке, какие носят горцы. Он с трудом передвигал ноги, опираясь на ружье. Его только что ранили в бедро.

Это был бандит, который, отправившись ночью в город за порохом, попал в засаду корсиканских вольтижеров. Он яростно отстреливался и в конце концов сумел спастись от погони, прячась за уступы скал. Но он не намного опередил солдат: рана не позволила ему добежать до *маки*.

Он подошел к Фортунато и спросил:

– Ты сын Маттео Фальконе?

– Да.

– Я Джаннетто Санпьеро. За мной гонятся желтые воротники. Спрячь меня, я не могу больше идти.

– А что скажет отец, если я спрячу тебя без его разрешения?

– Он скажет, что ты хорошо сделал.

– Как знать!

– Спрячь меня скорей, они идут сюда!

– Подожди, пока вернется отец.

– Ждать? Проклятие! Да они будут здесь через пять минут. Ну же, спрячь меня скорей, а не то я убью тебя!

Фортунато ответил ему с полным хладнокровием:

– Ружье твое разряжено, а в твоей carchera нет больше патронов.

– При мне кинжал.

– Где тебе угнаться за мной!

Одним прыжком он очутился вне опасности.

– Нет, ты не сын Маттео Фальконе! Неужели ты позволишь, чтобы меня схватили возле твоего дома?

Это, видимо, подействовало на мальчика.

– А что ты мне дашь, если я спрячу тебя? – спросил он, приближаясь.

Бандит пошарил в кожаной сумке, висевшей у него на поясе, и вынул оттуда пятифранковую монету, которую он, вероятно, припрятал, чтобы купить пороху. Фортунато улыбнулся при виде серебряной монеты; он схватил ее и сказал Джаннетто:

– Не бойся ничего.

Тотчас же он сделал большое углубление в копне сена, стоявшей возле дома. Джаннетто свернулся в нем клубком, и мальчик прикрыл его сеном так, чтобы воздух проникал туда и ему было чем дышать. Никому бы и в голову не пришло, что в копне кто-то спрятан. Кроме того, с хитростью дикаря он придумал еще одну уловку. Он притащил кошку с котятами и положил ее на сено, чтобы казалось, будто его давно уже не ворошили. Потом, заметив следы крови на тропинке у дома,

он тщательно засыпал их землей и снова как ни в чем не бывало растянулся на солнцепеке.

Несколько минут спустя шестеро стрелков в коричневой форме с желтыми воротниками под командой сержанта уже стояли перед домом Маттео. Этот сержант приходился дальним родственником Фальконе. (Известно, что на Корсике более чем где-либо считаются родством.) Его звали Теодоро Гамба. Это был очень деятельный человек, гроза бандитов, которых он переловил немало.

– Здорово, племянничек! – сказал он, подходя к Фортунато. – Как ты вырос! Не проходил ли тут кто-нибудь сейчас?

– Ну, дядя, я еще не такой большой, как вы! – ответил мальчик с простодушным видом.

– Подрастешь! Ну, говори же: тут никто не проходил?

– Проходил ли здесь кто-нибудь?

– Да, человек в остроконечной бархатной шапке и в куртке, расшитой красным и желтым.

– Человек в остроконечной бархатной шапке и куртке, расшитой красным и желтым?

– Да. Отвечай скорей и не повторяй моих вопросов.

– Сегодня утром мимо нас проехал священник на своей лошади Пьеро. Он спросил, как поживает отец, и я ответил ему…

– Ах, шельмец! Ты хитришь! Отвечай скорей, куда девался Джаннетто, мы его ищем. Он прошел по этой тропинке, я в этом уверен.

– Почем я знаю?

– Почем ты знаешь? А я вот знаю, что ты его видел.

– Разве видишь прохожих, когда спишь?

– Ты не спал, плут! Выстрелы разбудили тебя.

– Вы думаете, дядюшка, что ваши ружья так громко стреляют? Отцовский карабин стреляет куда громче.

– Черт бы тебя побрал, проклятое отродье! Я уверен, что ты видел Джаннетто. Может быть, даже спрятал его. Ребята! Входите в дом, поищите там нашего беглеца. Он ковылял на одной лапе, а у этого мерзавца слишком много здравого смысла, чтобы попытаться дойти до *маки* хромая. Да и следы крови кончаются здесь.

– А что скажет отец? – спросил Фортунато насмешливо. – Что он скажет, когда узнает, что без него входили в наш дом?

– Мошенник! – сказал Гамба, хватая его за ухо. – Стоит мне только захотеть, и ты запоешь по-иному! Следует, пожалуй, дать тебе десятка два ударов саблей плашмя, чтобы ты наконец заговорил.

А Фортунато продолжал посмеиваться.

– Мой отец – Маттео Фальконе! – сказал он значительно.

– Знаешь ли ты, плутишка, что я могу увезти тебя в Корте или в Бастию, бросить в тюрьму на солому, заковать в кандалы и отрубить голову, если ты не скажешь, где Джаннетто Санпьеро?

Мальчик расхохотался, услышав такую смешную угрозу. Он повторил:

– Мой отец – Маттео Фальконе.

– Сержант! – тихо сказал один из вольтижеров. – Не надо ссориться с Маттео.

Гамба был явно в затруднении. Он вполголоса переговаривался с солдатами, которые успели уже осмотреть весь дом. Это заняло не так много времени, потому что жилище корсиканца состоит из одной квадратной комнаты. Стол, скамейки, сундук, домашняя утварь и охотничьи принадлежности – вот и вся его обстановка. Маленький Фортунато гладил тем временем кошку и, казалось, ехидствовал над замешательством вольтижеров и дядюшки.

Один из солдат подошел к копне сена. Он увидел кошку и, небрежно ткнув штыком в сено, пожал плечами, как бы сознавая, что такая предосторожность нелепа. Ничто не пошевелилось, лицо мальчика не выразило ни малейшего волнения.

Сержант и его отряд теряли терпение; они уже поглядывали на равнину, как бы собираясь вернуться туда, откуда пришли, но тут их начальник, убедившись, что угрозы не производят никакого впечатления на сына Фальконе, решил сделать последнюю попытку и испытать силу ласки и подкупа.

– Племянник! – проговорил он. – Ты, кажется, славный мальчик. Ты пойдешь далеко. Но, черт побери, ты ведешь со мной дурную игру, и, если б не боязнь огорчить моего брата Маттео, я увел бы тебя с собой.

– Еще чего!

– Но когда Маттео вернется, я расскажу ему все, как было, и за твою ложь он хорошенько выпорет тебя.

– Посмотрим!

– Вот увидишь… Но слушай: будь умником, и я тебе что-то дам.

– А я, дядюшка, дам вам совет: если вы будете медлить, Джаннетто уйдет в *маки*, и тогда потребуется еще несколько таких молодчиков, как вы, чтобы его догнать.

Сержант вытащил из кармана серебряные часы, которые стоили добрых десять экю, и, заметив, что глаза маленького Фортунато загорелись при виде их, сказал ему, держа часы на весу за конец стальной цепочки:

– Плутишка! Тебе бы, наверно, хотелось носить на груди

такие часы, ты прогуливался бы по улицам Порто-Веккьо гордо, как павлин, и когда прохожие спрашивали бы у тебя: «Который час?» – ты отвечал бы: «Поглядите на мои часы».

– Когда я вырасту, мой дядя капрал подарит мне часы.

– Да, но у сына твоего дяди уже есть часы… правда, не такие красивые, как эти… а ведь он моложе тебя.

Мальчик вздохнул.

– Ну что ж, хочешь ты получить эти часы, племянничек?

Фортунато, искоса поглядывавший на часы, походил на кота, которому подносят целого цыпленка. Чувствуя, что его дразнят, он не решается запустить в него когти, время от времени отводит глаза, чтобы устоять против соблазна, поминутно облизывается и всем своим видом словно говорит хозяину: «Как жестока ваша шутка!»

Однако сержант Гамба, казалось, и впрямь решил подарить ему часы. Фортунато не протянул руки за ними, но сказал ему с горькой усмешкой:

– Зачем вы смеетесь надо мной?

– Ей-богу, не смеюсь. Скажи только, где Джаннетто, и часы твои.

Фортунато недоверчиво улыбнулся, его черные глаза впились в глаза сержанта, он старался прочесть в них, насколько можно верить его словам.

– Пусть с меня снимут эполеты, – вскричал сержант, – если ты не получишь за это часы! Солдаты будут свидетелями, что я не откажусь от своих слов.

Говоря так, он все ближе и ближе подносил часы к Фортунато, почти касаясь ими бледной щеки мальчика. Лицо Фортунато явно отражало вспыхнувшую в его душе борьбу между страстным желанием получить часы и долгом гостеприимства. Его голая грудь тяжело вздымалась – казалось, он сейчас задохнется. А часы покачивались перед ним, вертелись, то и дело задевая кончик его носа. Наконец Фортунато нерешительно потянулся к часам, пальцы правой руки коснулись их, часы легли на его ладонь, хотя сержант все еще не выпускал из рук цепочку… Голубой циферблат… Ярко начищенная крышка… Она огнем горит на солнце… Искушение было слишком велико.

Фортунато поднял левую руку и указал большим пальцем через плечо на копну сена, к которой он прислонился. Сержант сразу понял его. Он отпустил конец цепочки, и Фортунато почувствовал себя единственным обладателем часов. Он вскочил стремительнее лани и отбежал на десять шагов от копны, которую вольтижеры принялись тотчас же раскидывать.

Сено зашевелилось, и окровавленный человек с кинжалом

в руке вылез из копны; он попытался стать на ноги, но запекшаяся рана не позволила ему этого. Он упал. Сержант бросился на него и вырвал кинжал. Его сейчас же связали по рукам и ногам, несмотря на сопротивление.

Лежа на земле, скрученный, как вязанка хвороста, Джаннетто повернул голову к Фортунато, который подошел к нему.

– …сын! – сказал он скорее презрительно, чем гневно.

Мальчик бросил ему серебряную монету, которую получил от него, – он сознавал, что уже не имеет на нее права, – но преступник, казалось, не обратил на это никакого внимания. С полным хладнокровием он сказал сержанту:

– Дорогой Гамба! Я не могу идти; вам придется нести меня до города.

– Ты только что бежал быстрее козы, – возразил жестокий победитель. – Но будь спокоен: от радости, что ты наконец попался мне в руки, я бы пронес тебя на собственной спине целую милю, не чувствуя усталости. Впрочем, приятель, мы сделаем для тебя носилки из веток и твоего плаща, а на ферме Кресполи найдем лошадей.

– Ладно, – молвил пленник, – прибавьте только немного соломы на носилки, чтобы мне было удобнее.

Пока вольтижеры были заняты – кто приготовлением носилок из ветвей каштана, кто перевязкой раны Джаннетто, – на повороте тропинки, ведшей в *маки*, вдруг появились Маттео Фальконе и его жена. Женщина с трудом шла, согнувшись под тяжестью огромного мешка с каштанами, в то время как муж шагал налегке с одним ружьем в руках, а другим – за спиной, ибо никакая ноша, кроме оружия, недостойна мужчины.

При виде солдат Маттео прежде всего подумал, что они пришли его арестовать. Откуда такая мысль? Разве у Маттео были какие-нибудь нелады с властями? Нет, имя его пользовалось доброй славой. Он был, что называется, благонамеренным обывателем, но в то же время корсиканцем и горцем, а кто из корсиканцев-горцев, хорошенько порывшись в памяти, не найдет у себя в прошлом какого-нибудь грешка: ружейного выстрела, удара кинжалом или тому подобного пустячка? Совесть Маттео была чище, чем у кого-либо, ибо вот уже десять лет, как он не направлял дула своего ружья на человека, но все же он был настороже и приготовился стойко защищаться, если это понадобится.

– Жена! – сказал он Джузеппе. – Положи мешок и будь наготове.

Она тотчас же повиновалась. Он передал ей ружье, которое висело у него за спиной и могло ему помешать. Второе ружье он

взял на прицел и стал медленно приближаться к дому, держась ближе к деревьям, окаймлявшим дорогу, готовый при малейшем враждебном действии укрыться за самый толстый ствол, откуда он мог бы стрелять из-за прикрытия. Джузеппа шла за ним следом, держа второе ружье и патронташ. Долг хорошей жены – во время боя заряжать ружье для своего мужа.

Сержанту тоже стало как-то не по себе, когда он увидел медленно приближавшегося Маттео с ружьем наготове и пальцем на курке.

«А что, – подумал он, – если Маттео – родственник или друг Джаннетто и захочет его защищать? Тогда двое из нас наверняка получат пули его ружей, как письма с почты. Ну, а если он прицелится в меня, несмотря на наше родство?..»

Наконец он принял смелое решение – пойти навстречу Маттео и, как старому знакомому, рассказать ему обо всем случившемся. Однако короткое расстояние, отделявшее его от Маттео, показалось ему ужасно длинным.

– Эй, приятель! – закричал он. – Как поживаешь, дружище? Это я, Гамба, твой родственник!

Маттео, не говоря ни слова, остановился; пока сержант говорил, он медленно поднимал дуло ружья так, что оно оказалось направленным в небо в тот момент, когда сержант приблизился.

– Добрый день, брат! – сказал сержант, протягивая ему руку. – Давненько мы не виделись.

– Добрый день, брат!

– Я зашел мимоходом поздороваться с тобой и сестрицей Пеппой. Сегодня мы сделали изрядный конец, но у нас слишком знатная добыча, и мы не можем жаловаться на усталость. Мы только что накрыли Джаннетто Санпьеро.

– Слава богу! – вскричала Джузеппа. – На прошлой неделе он увел у нас дойную козу.

Эти слова обрадовали Гамбу.

– Бедняга! – отозвался Маттео. – Он был голоден!

– Этот негодяй защищался, как лев, – продолжал сержант, слегка раздосадованный. – Он убил одного моего стрелка и раздробил руку капралу Шардону; ну, да это беда невелика: ведь Шардон – француз… А потом он так хорошо спрятался, что сам дьявол не сыскал бы его. Если бы не мой племянник Фортунато, я никогда бы его не нашел.

– Фортунато? – вскричал Маттео.

– Фортунато? – повторила Джузеппа.

– Да! Джаннетто спрятался вон в той копне сена, но племянник раскрыл его хитрость. Я расскажу об этом его дяде

капралу, и тот пришлет ему в награду хороший подарок. А я упомяну и его и тебя в донесении на имя прокурора.

– Проклятие! – чуть слышно произнес Маттео.

Они подошли к отряду. Джаннетто лежал на носилках, его собирались унести. Увидев Маттео рядом с Гамбой, он как-то странно усмехнулся, а потом, повернувшись лицом к дому, плюнул на порог и сказал:

– Дом предателя!

Только человек, обреченный на смерть, мог осмелиться назвать Фальконе предателем. Удар кинжала немедленно отплатил бы за оскорбление, и такой удар не пришлось бы повторять.

Однако Маттео поднес только руку ко лбу, как человек, убитый горем.

Фортунато, увидев отца, ушел в дом. Вскоре он снова появился с миской молока в руках и, опустив глаза, протянул ее Джаннетто.

– Прочь от меня! – громовым голосом закричал арестованный.

Затем, обернувшись к одному из вольтижеров, он промолвил:

– Товарищ! Дай мне напиться.

Солдат подал ему флягу, и бандит отпил воду, поднесенную рукой человека, с которым он только что обменялся выстрелами. Потом он попросил не скручивать ему руки за спиной, а связать их крестом на груди.

– Я люблю лежать удобно, – сказал он.

Его просьбу с готовностью исполнили; затем сержант подал знак к выступлению, простился с Маттео и, не получив ответа, быстрым шагом двинулся к равнине.

Прошло около десяти минут, а Маттео все молчал. Мальчик тревожно поглядывал то на мать, то на отца, который, опираясь на ружье, смотрел на сына с выражением сдержанного гнева.

– Хорошо начинаешь! – сказал наконец Маттео голосом спокойным, но страшным для тех, кто знал этого человека.

– Отец! – вскричал мальчик; глаза его наполнились слезами, он сделал шаг вперед, как бы собираясь упасть перед ним на колени.

Но Маттео закричал:

– Прочь!

И мальчик, рыдая, остановился неподвижно в нескольких шагах от отца.

Подошла Джузеппа. Ей бросилась в глаза цепочка от часов, конец которой торчал из-под рубашки Фортунато.

– Кто дал тебе эти часы? – спросила она строго.

– Дядя сержант.

Фальконе выхватил часы и, с силой швырнув о камень, разбил их вдребезги.

– Жена! – сказал он. – Мой ли это ребенок?

Смуглые щеки Джузеппы стали краснее кирпича.

– Опомнись, Маттео! Подумай, кому ты это говоришь!

– Значит, этот ребенок первый в нашем роду стал предателем.

Рыдания и всхлипывания Фортунато усилились, а Фальконе по-прежнему не сводил с него своих рысьих глаз. Наконец он стукнул прикладом о землю и, вскинув ружье на плечо, пошел по дороге в *маки*, приказав Фортунато следовать за ним. Мальчик повиновался.

Джузеппа бросилась к Маттео и схватила его за руку.

– Ведь это твой сын! – вскрикнула она дрожащим голосом, впиваясь черными глазами в глаза мужа и словно пытаясь прочесть то, что творилось в его душе.

– Оставь меня, – сказал Маттео. – Я его отец!

Джузеппа поцеловала сына и, плача, вернулась в дом. Она бросилась на колени перед образом богоматери и стала горячо молиться. Между тем Фальконе, пройдя шагов двести по тропинке, спустился в небольшой овраг. Попробовав землю прикладом, он убедился, что земля рыхлая и что копать ее будет легко. Место показалось ему пригодным для исполнения его замысла.

– Фортунато! Стань у того большого камня.

Исполнив его приказание, Фортунато упал на колени.

– Молись!

– Отец! Отец! Не убивай меня!

– Молись! – повторил Маттео грозно.

Запинаясь и плача, мальчик прочитал «Отче наш» и «Верую». Отец в конце каждой молитвы твердо произносил «аминь».

– Больше ты не знаешь молитв?

– Отец! Я знаю еще «Богородицу» и литанию, которой научила меня тетя.

– Она очень длинная… Ну все равно, читай.

Литанию мальчик договорил совсем беззвучно.

– Ты кончил?

– Отец, пощади! Прости меня! Я никогда больше не буду! Я попрошу дядю капрала, чтобы Джаннетто помиловали!

Он лепетал еще что-то; Маттео вскинул ружье и, прицелившись, сказал:

– Да простит тебя бог!

Фортунато сделал отчаянное усилие, чтобы встать и припасть

к ногам отца, но не успел. Маттео выстрелил, и мальчик упал мертвый.

Даже не взглянув на труп, Маттео пошел по тропинке к дому за лопатой, чтобы закопать сына. Не успел он пройти и нескольких шагов, как увидел Джузеппу: она бежала, встревоженная выстрелом.

– Что ты сделал? – воскликнула она.

– Совершил правосудие.

– Где он?

– В овраге. Я сейчас похороню его. Он умер христианином. Я закажу по нем панихиду. Надо сказать зятю, Теодору Бьянки, чтобы он переехал к нам жить.

Эдгар Аллан По
1809–1849

Аннабель Ли

Это было давно, это было давно,
В королевстве приморской земли:
Там жила и цвела та, что звалась всегда,
Называлася Аннабель Ли,
Я любил, был любим, мы любили вдвоем,
Только этим мы жить и могли.
И, любовью дыша, были оба детьми
В королевстве приморской земли.
Но любили мы больше, чем любят в любви,
Я и нежная Аннабель Ли,
И, взирая на нас, серафимы небес
Той любви нам простить не могли.

Оттого и случилось когда-то давно,
В королевстве приморской земли, –
С неба ветер повеял холодный из туч,
Он повеял на Аннабель Ли;
И родные толпой многознатной сошлись
И ее от меня унесли,
Чтоб навеки ее положить в саркофаг,
В королевстве приморской земли.

Половины такого блаженства узнать
Серафимы в раю не могли, –
Оттого и случилось (как ведомо всем
В королевстве приморской земли), –
Ветер ночью повеял холодный из туч
И убил мою Аннабель Ли.

Но, любя, мы любили сильней и полней
Тех, что старости бремя несли, –
Тех, что мудростью нас превзошли, –
И ни ангелы неба, ни демоны тьмы
Разлучить никогда не могли,
Не могли разлучить мою душу с душой
Обольстительной Аннабель Ли.

И всегда луч луны навевает мне сны
О пленительной Аннабель Ли:
И зажжется ль звезда, вижу очи всегда
Обольстительной Аннабель Ли;
И в мерцаньи ночей я все с ней, я все с ней,
С незабвенной – с невестой – с любовью моей –
Рядом с ней распростерт я вдали,
В саркофаге приморской земли.

Уильям Шекспир
1564–1616

Сонеты

* * *

Избави Бог, судивший рабство мне,
Чтоб я хоть в мыслях требовал отчета,
Как ты проводишь дни наедине.
Ждать приказаний – вся моя забота!

Я твой вассал. Пусть обречет меня
Твоя свобода на тюрьму разлуки:
Терпение, готовое на муки,
Удары примет, голову склоня.

Права твоей свободы – без предела.
Где хочешь будь, располагай собой,
Как вздумаешь; в твоих руках всецело
Прощать себе любой проступок свой.

Я должен ждать – пусть в муках изнывая –
Твоих забав ничем не порицая.

* * *

Придет пора, когда моя любовь,
Как я теперь, от времени завянет,
Когда года в тебе иссушат кровь,
Избороздят твое чело, и канут

В пучину ночи дни твоей весны,
А с нею все твое очарованье –
Без всякого следа воспоминанья
Потонут в вечной тьме, как тонут сны.

Предвидя грозный миг исчезновенья,
Я отвращу губящую косу,

Избавлю я навек от разрушенья
Коль не тебя, то черт твоих красу,

В моих стихах твой лик изобразив –
В них будешь ты и вечно юн, и жив!

* * *

Тебя, о Смерть, тебя зову я, утомленный
Устал я видеть честь поверженной во прах,
Заслугу – в рубище, невинность – осквернённой,
И верность – преданной, и истину – в цепях,

Глупцов – гордящихся лавровыми венками,
И обесславленных, опальных мудрецов,
И дивный дар небес – осмеянный слепцами,
И злое торжество пустых клеветников,

Искусство, робкое пред деспотизмом власти,
Безумье жалкое надменного чела,
И силу золота, и гибельные страсти,
И Благо – пленником у властелина Зла.

Усталый, я искал бы вечного покоя,
Когда бы смертный час не разлучал с тобою.

* * *

Как я сравню тебя с роскошным летним днем,
Когда ты во сто раз прекрасней, друг прекрасный?
То нежные листки срывает вихрь ненастный
И лето за весной спешит своим путем;

То солнце средь небес сияет слишком жарко,
То облако ему туманит ясный зрак –
И все, что вкруг манит, становится неярко
Иль по закону злой природы, или так –

Случайно; но твое все ж не увянет лето
И не утратит то, чему нельзя не быть,

А смерть не скажет, что все в тень в тебе одето,
Когда в стихах моих ты вечно будешь жить.

И так, пока дышать и видеть люди будут,
Они, твердя мой гимн, тебя не позабудут.

notes

Сноски

1

«Слово о полку Игореве» с момента его открытия уже два столетия служит высокой задаче воспитания любви к Родине и подвигам наших предков. Многие поколения русских писателей, поэтов, историков стремились донести до нас красоту этой поэмы. Перед вами еще одно переложение гениальной поэмы, но особенное. Писатель Леонид Яхнин пересказал «Слово о полку Игореве» для юных читателей. Ему удалось это сделать, сохранив не только поэтические достоинства, но и самый дух великого произведения нашей литературы. Прочитайте этот пересказ. Он обязательно вспомнится вам, когда вы потом откроете подлинный текст и произнесете: «Не лепо ли ны бяшеть, братие, начяти старыми словесы трудных повестий о пълку Игореве, Игоря Святъславлича?..» *В. Л. ЯНИН, профессор, академик Российской Академии наук*

2

Сена.

3

Уральские горы.

4

Егерский полк – специальный пехотный полк, состоящий из лучших стрелков.

5

Следует анекдот, коего мы не помещаем, полагая его излишним; впрочем, уверяем читателя, что он ничего предосудительного памяти Ивана Петровича Белкина в себе не заключает. *(Примечания издателя.)*

6

В самом деле, в рукописи г. Белкина над каждой повестию рукою автора надписано: слышано мною от *такой-то особы* (чин или звание и заглавные буквы имени и фамилии). Выписываем для любопытных изыскателей: «Смотритель» рассказан был ему титулярным советником А. Г. Н., «Выстрел» – подполковником И. Л. П., «Гробовщик» – приказчиком Б. В., «Метель» и «Барышня» – девицею К. И. Т. *(Примечания издателя.)*

7

Эпиграф взят из Евгения Баратынского («Бал», 1828).

8

Эпиграф взят из Александра Бестужева-Марлинского («Вечер на бивуаке», 1822).

9

Жидовском – т. е. еврейском. Сейчас слово «жид» и производные от него считаются оскорбительными и неприемлемыми в употреблении.

10

Шандáл – подсвечник.

11

Ваканция – свободное место на работе.

12

Полицейская шапка, фуражка (*франц.*).

13

Медовый месяц *(англ.)*.

14

Этеристы – члены греческой революционной организации, боровшейся за независимость Греции.

15

Скуляны – город на реке Прут, в битве при котором остатки войска Александра Ипсиланти были разбиты турецкой армией.

16

Бостон – зд.: карточная игра. В Петербурге даже была напечатана книга об этой игре.

17

Бедный армейский прапорщик – военный чин 13-го (предпоследнего) класса «Табели о рангах».

18

Заседатель – выборная должность в нижнем земском суде до реформы 1864 г.

19

Корнет – младший офицер в царской кавалерии, так называемый первый обер-офицерский чин.

Капитан-исправник – избирался из дворян в качестве председателя нижнего земского суда на три года (1775–1862 гг.).

21

Улан – кавалерист.

22

Да здравствует Генрих Четвертый (*франц.*).

23

Если это не любовь, то что же? (*итал.*) Начало 88-го сонета Ф. Петрарки «На жизнь Мадонны Лауры».

24

Гран-пасьянс – большой пасьянс, раскладывание колоды карт, пока они не лягут в определенной последовательности (от *франц.* grand patience – большое терпение).

25

Коллежский регистратор – чиновник самого низкого, 14-го класса.

Роковая книга – зд.: книга для записи жалоб.

Подорожная – документ, согласно которому станционные смотрители должны были предоставлять лошадей.

28

Почтовый тракт – основная дорога, по которой передвигались казенные экипажи.

29

Коллежский советник или полковник.

Перекладные – сменные почтовые лошади.

Прогоны – плата за предоставляемых лошадей.

Почтмейстер – начальник почтового отделения.

Ротмистр – военный чин 9-го класса, офицер.

Голь кабацкая – бедняк-попрошайка. Подметание улиц было обычным наказанием для задержанных полицией во время ночного обхода людей.

35

Эпиграф взят из поэмы «Душенька» (1783) поэта XVIII в. Ипполита Богдановича.

36

Околодок (или околоток) – район в царской России, самая маленькая административная единица.

37

В Опекунском совете можно было получить деньги под залог имения или крепостных душ, находившихся в собственности помещика.

Столоначальник – начальник департамента, чиновник довольно высокого ранга.

39

Алексеевский монастырь находился на месте храма Христа Спасителя.

Уезд – территория в царской России, малая административная единица, состоявшая из околотков.

Individualite – индивидуальность (*франц.*).

42

Nota nostra manet – «наше замечание остается в силе», «что правда, то правда» (*лат.*).

Tout beau, Sbogar, ici – сейчас, Сбогар, иди *(франц.)*.

Затянутая в рюмочку – т. е. тесно затянутая в талии.

Чекмень – короткая верхняя мужская одежда.

My dear – моя дорогая *(англ.)*.

47

à L’imbècile – узкие рукава, взбитые вокруг плеч, дословно – «как у дурочки».

48

Madame de Pompadour – маркиза де Помпадур, Жанна Антуанетта Пуассон (1721–1764), фаворитка французского короля Людовика XV (1715–1774).

49

Ланкастерская система – по фамилии английского философа и педагога Иосифа Ланкастера (1777–1838), изобретателя «системы взаимного обучения». Она заключалась в том, что успевающие ученики помогают отстающим. Именно такую систему обучения предполагали ввести в России некоторые декабристы. В 1819 г. в Петербурге для пропаганды ланкастерского метода было основано небольшое общество.

50

«Наталья, боярская дочь» – повесть Н. Карамзина (1792).

51

Тарас Скотинин – персонаж комедии Д. Фонвизина «Недоросль».

52

Mais laissez-moi donc, monsieur; mais êtes-vous fou? – Позвольте мне идти, месье, в своем ли вы уме? (*франц.*)

53

Мцыри – на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде «послушника». (*Прим. М. Ю. Лермонтова.)*

54

Рассказанный случай был известен в Орле очень многим. Я слыхал об этом от моей бабушки Алферьевой и от известного своею непогрешительною правдивостью старика, купца Ивана Ив. Андросова, который сам видел, «как псы духовенство рвали», а спасся от графа только тем, что «взял греха на душу». Когда граф его велел привести и спросил: «Тебе жаль их?», Андросов отвечал: «Никак нет, ваше сиятельство, так им и надо: пусть не шляются». За это его Каменский помиловал.

Невинность *(франц.)*.

Так народ называет пробуждение природы весной. *(Прим. авт.)*

57

Политическая и литературная газета (1863–1870), орган реакционно-дворянской оппозиции 60-х годов.

То есть, согласно библейским сказаниям, в раю.

59

Согласно Положениям 19 февраля, освобожденные от крепостной зависимости крестьяне были обязаны временно, до заключения с помещиком соглашения о выкупе земли, работать на него.

60

Государственная монополия на продажу, королевское право на получение доходов.

61

Бирюком называется в Орловской губернии человек одинокий и угрюмый. *(Прим. авт.)*

62

«Верхом» называется в Орловской губернии овраг. *(Прим. авт.)*

63

«Притынным» называется всякое место, куда охотно сходятся, всякое приютное место. *(Прим. авт.)*

Циркают ястреба, когда они чего-нибудь испугаются. *(Прим. авт.)*

65

Орловцы называют глаза гляделками, так же как рот едалом. *(Прим. авт.)*

Лирический тенор *(итал., франц.)*.

67

«Полехами» называются обитатели Южного Полесья, длинной лесной полосы, начинающейся на границе Болховского и Жиздринского уездов. Они отличаются многими особенностями в образе жизни, нравах и языке. «Заворотнями» же их зовут за подозрительный и тугой нрав. *(Прим. авт.)*

Полехи прибавляют почти к каждому слову восклицания: «га!» и «баде». «Паняй» вместо погоняй. *(Прим. авт.)*